prose\_contemporary

Аффинити Конар. Чужекровка

Впервые на русском – один из самых ярких романов 2016 года, «Книга года» по версии New York Times. По историческому размаху и лиричности «Чужекровку» сравнивали с романом Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет», а по психологической напряженности – с «Комнатой» Эммы Донохью.

Итак, познакомьтесь с сестрами-близнецами Перль и Стасей.

Перль Заморска отвечает за грустное, хорошее, прошлое.

Стася Заморска должна взять на себя смешное, плохое, будущее.

Осенью 1944 года сестры вместе с матерью и дедом попадают в Освенцим. В аду концлагеря двенадцатилетние девочки находят спасение в тайном языке и секретных играх, в удивительном запасе внутренних сил. Став подопытными доктора Менгеле в лагерном блоке, именуемом «Зверинец», они получают определенные привилегии, но испытывают неведомые другим ужасы. Даже самая жестокая рука судьбы оказывается бессильна разлучить близнецов…1.0 – создание fb2 – (nys23)

Аффинити Конар. Чужекровка

© Е. Петрова, перевод, 2017

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

Роман-парадокс… прекрасный рассказ о самых чудовищных преступлениях; глубокое исследование воспоминаний каким-то чудом обретает здесь сказочную легкость. Это история взросления детей, которым не дозволено взрослеть. Если ваша читательская душа выдержит испытание их судьбой, вы будете вознаграждены знакомством с одной из наиболее щемящих, сильных и талантливых книг нынешнего года.

В этом романе завораживает умение А. Конар при изображении того ада, которым был Освенцим, показывать жизнестойкость многих узников, их способность держаться за надежду и доброту перед лицом тяжелейших страданий – сохранять, как говорил Эли Визель, человечность «в бесчеловечной вселенной».

Конар стремительно, неустрашимо ведет нас от этого знакомого пейзажа в чудовищный мир «Зверинца», не упуская из виду особую связующую нить между девочками-близнецами… Конар приоткрывает зверства Менгеле постепенно и фрагментарно. Стася видит тысячи человеческих глаз, приколотых булавками к стене его кабинета, – материал его излюбленного эксперимента по изменению любого цвета глаз в предпочтительный арийский голубой. Конар выстраивает многоплановый сюжет из хаоса послевоенного пейзажа… Поразительно и трогательно, что кто-то из этих жертв сумел выжить; Конар мудро ставит во главу угла не чудовищный садизм Менгеле, не забывавшего наводить глянец на свои черные штиблеты, а самих детей.

Не помню, когда мною было пролито столько слез над литературным произведением. Роман, безусловно, заденет чувства тех, кто до сих пор твердит о недопустимости облекать рассказы о холокосте в форму художественного вымысла. Но те читатели, которые попадут под обаяние исключительно тонкой манеры письма Конар, скорее всего, сочтут эту книгу незабываемой.

Триумфальный дебютный роман… В самом, по-видимому, темном из миров эта книга показывает нам проблески необыкновенной надежды и даже красоты.

Читатели, которым достанет смелости приступить к этому тяжелому сюжету, будут вознаграждены необычайно мощной, прекрасной, незабываемой историей.

В этом романе, сбор материалов для которого занял у автора несколько лет, Аффинити Конар сплетает невероятно эмоциональную ткань повествования о двух сестрах, вовлеченных в страшные опыты доктора Йозефа Менгеле… Конар не дрогнула перед изображением экспериментов Менгеле. Лучики света в этом мраке слабы, но настойчивы, а невыразимые ужасы оттеняет совершенно особое изящество… Притом что роман Конар представляет собой художественный вымысел, ее глубокое знакомство с историческими фигурами и материалами способствовало формированию ключевых образов и эпизодов. Ее манера письма отличается заостренностью и вместе с тем поразительным ритмом, зачастую прекрасным и поэтичным. Невзирая на трагические обстоятельства, близнецы сохраняют свойственное двенадцатилетним сочетание наивности и крепнущего сознания. Их игры, воспоминания и фантазии заставляют Перль и Стасю идти вперед, помогают найти друга и заново принять мир.

Действие этого романа разворачивается преимущественно в Освенциме, и главным образом в «Зверинце» Йозефа Менгеле, где пресловутый врач-нацист ставит чудовищные эксперименты над «нежелательными» близнецами и другими подопытными. События, описанные в романе, показаны через призму детского восприятия; к чести Конар следует сказать, что она мастерски соединяет опасности, подстерегающие сестер, с трагедией геноцида.

Масштабный, поразительный дебют, обязательный к прочтению.

Светоносная книга.

Потрясающе, многопланово, увлекательно, сильно, щемяще и возвышенно… Благородная дань неистребимости человеческого сострадания… Эта книга поистине достойна – редкий случай – избитых хвалебных эпитетов, возвращая затертым словам первозданный смысл.

Сумрачная, лиричная история.

Отважно-прекрасная вещь.

Еще не слышали об Аффинити Конар? О ней услышат все.

Поистине самобытный рассказ об ужасах холокоста и жизни после него.

Роман-наваждение.

Это не легкое чтение, но экспрессия повествования, сильные характеры и завораживающая проза не позволяют читателю отложить книгу Аффинити Конар… Перль и Стася – стойкие, обаятельные героини, которые запомнятся читателям этой саги.

Основанный на обширных документальных свидетельствах о холокосте, щемящий, но светлый дебютный роман Аффинити Конар показывает хождение по мукам, выпавшее на долю еврейских близнецов, которые оказались во власти жизнерадостного социопата, требующего, чтобы они звали его Дядя Доктор. Эстетические достижения Конар не способны сделать мир после Освенцима прежним, но они высвечивают этот мир – трагически, блистательно.

Ни один зверинец не основывался на столь дьявольских принципах, как тот, который создал Йозеф Менгеле для содержания близнецов, служивших ему парными подопытными. Менгеле отбирал их из числа узников Освенцима для тайных сравнительных экспериментов. И все же в документальных свидетельствах бывших узников этого чудовищного «Зверинца» Аффинити Конар черпает вдохновение для создания невероятно пронзительного – и небывало оптимистичного – художественного повествования. Дочери врача-еврея, вырванные из привычной жизни нацистскими нелюдями, двенадцатилетние двойняшки Стася и Перль оказываются среди освенцимских подопытных изувера Менгеле – полного антипода их отца. Сами ставшие жертвами Менгеле и одновременно свидетельницами истязаний других узников, Стася и Перль назло всем смертям поддерживают друг дружку своими жизнеутверждающими играми.

Незабываемое путешествие духа.

Сестры Стася и Перль, как водится у наделенных богатым воображением близнецов, привыкли жить увлекательной внутренней жизнью. Но в Освенциме, в «Зверинце» Йозефа Менгеле, эта внутренняя жизнь становится основой для их выживания. Читателям, которые спускаются в глубины отчаяния, в пучины холокоста, увиденные глазами девочек-близнецов, защитой служит детская невинность и вместе с тем воспитанность, игривая насмешливость, которая не отворачивается от этого кошмара, но осмысливает его, черпая силу и жизнестойкость. Конар добивается почти невозможного: ее роман одновременно ранит душу и дарит вдохновение.

Роман, озаглавленный в подлиннике «Мишлинг», что означает «Человек смешанной крови» (хотя более подходящим могло бы стать заглавие «Цвиллинге», то есть «Близнецы»), обжигает читательскую аудиторию и углубляет понимание холокоста. Уже по одной этой причине, а также в силу поразительного, самобытного подхода к материалу можно настоятельно рекомендовать читателям эту историю, которую просто невозможно было бы воспринять в прямолинейном изложении вследствие ее трагизма.

Лишенный сентиментальности захватывающий роман Аффинити Конар исследует мир детей, ставших подопытными врача-нациста Йозефа Менгеле в концлагере Освенцим… У Конар весома каждая фраза; к ее чести следует сказать, что девочки – главные героини романа – не изображаются исключительно жертвами: у них есть и свои недостатки, и запоминающиеся черты характера, и жажда жизни. Это жестокое и прекрасное произведение.

Роман Аффинити Конар «Чужекровка» – это пронзительная, виртуозно выстроенная, исполненная оптимизма история двух девочек-близнецов. Яркая, трогательная, жгучая проза; в ней есть мощь, подобная той, какую мы находим в произведениях лучших писателей прошлого.

Феноменальное произведение: тревожное и душераздирающее, глубоко личное и эпическое. Аффинити Конар – писатель, исполненный мудрости и сострадания, наделенный огромным талантом. До боли прекрасный роман, который будет долго-долго жить у меня в душе.

Читать этот роман – все равно что рассматривать изображения, которые принес нам космический телескоп «Хаббл»: мы изучаем ночное небо, которое якобы прекрасно знаем, – и видим нечто такое, о чем даже не подозревали. В произведении Аффинити Конар есть первозданная красота.

Этот роман, над которым довлеет история и непознанная власть родственных связей, становится приемлемым – и, более того, необходимым – чтением благодаря зримому присутствию безграничного творческого воображения. Конар создала потрясающее, тревожное произведение искусства.

Книга Аффинити Конар перенесла меня в другой мир. Мир этот, конечно же, часть нашей истории, но притом что повествование, по сути, является вымыслом, чудо писательского мастерства заключается в том, что Аффинити Конар дает нам возможность открыть для себя этот мир заново. Соберитесь с духом – ничего похожего вы еще не читали.

Посвящается Филипу

Посвящается Коко

Часть первая

Стася

Глава первая. Из мира в мир

Нас когда-то сотворили. Мою сестру-двойняшку Перль и меня. Точнее, вначале образовалась Перль, а я уже отделилась от нее. Она внедрилась в стенку материнского чрева; я скопировала ее генотип. На протяжении восьми месяцев мы с ней, две розовые варежки на маминой слизистой оболочке, купались в амниотической метели. Я и помыслить не могла, что существует нечто более величественное, чем это внутриутробное пространство, но, когда у каждой из нас мозг защитила прочная, как слоновая кость, оболочка черепа и полностью сформировалась селезенка, Перль запросилась наружу, в большой мир. И с настырностью, присущей новорожденным, выскочила из мамы.

Даром что недоношенная, Перль была горазда на всякие затеи. Я решила, что она задумала очередную проделку, но вскоре вернется и поднимет меня на смех. Однако Перль не появлялась, и я стала задыхаться. Вам когда-нибудь случалось потерять лучшую часть себя, которая уплыла в неизвестном направлении, чтобы осесть неведомо где? Если да, то вы, безусловно, понимаете опасности такого положения. Вслед за перебоями дыхания стало отказывать сердце, а мозг охватила нестерпимая горячка. Мне, розовой крохе, открылась истина: без Перль я обречена быть никчемным человеческим обломком, неспособным любить.

Вот почему я ринулась вслед за сестренкой и не сопротивлялась, когда акушерские руки тащили меня наружу, шлепали, поднимали к свету. Заметьте, я так и не заплакала во время этого непрошеного переселения. Даже когда наши родители отказались назвать меня в точности как сестренку: Перль.

Вместо этого меня нарекли Стасей. Мы с Перль, явившись на свет, вошли в лоно семьи – в мир музыки, книг и невероятных, прекрасных открытий. И похожи были во всем, вплоть до того, что любили, вооружившись биноклями, бросать из окна на мостовую стеклянные шарики, а потом следить, как они будут прыгать под горку и далеко ли укатятся волею своих коротких судеб.

Этот благоговейный мир тоже закончился. Почти все миры заканчиваются.

Только я вам вот что скажу: мы познали еще один мир. Говорят, что этот мир повлиял на нас в наибольшей мере. Должна сказать, это заблуждение, но до поры до времени позвольте ограничиться тем, что другой мир мы открыли для себя на двенадцатом году жизни, когда жались друг к дружке в заднем углу вагона-скотовоза.

Во время поездки длиной в четверо суток мы обвели вокруг пальца смерть, потому что слушались маму и зайде. Чтобы остаться в живых, передавали друг дружке луковицу и лизали желтую шелуху. Развлекали себя игрой в «живую природу» – изобретение зайде: один (кто-нибудь один, как в шараде) изображает любое растение или животное, а другие называют вид, род, семейство и так далее, вплоть до великолепия обширного царства.

Какую только живность не напридумывали мы вчетвером в той теплушке: от медведя до улитки и обратно (зайде надтреснутым от жажды голосом требовал, чтобы мы наилучшим, сверхчеловеческим образом организовывали свою вселенную), и когда поезд-скотовоз наконец закончил путь, оборвалась и моя шарада. Если правильно помню, я настойчиво разыгрывала перед мамой амебу. Впрочем, это мог быть и совсем другой живой организм: амеба засела в голове только потому, что сама я в тот миг ощущала себя такой же ничтожной, прозрачной и беспомощной. Но утверждать не стану.

Когда я уже собиралась признать свое поражение, дверь скотовозки отъехала в сторону.

И в вагон хлынул до того резкий свет, что мы выронили луковицу, которая пахучей, надкушенной луной покатилась по сходням и замерла у ног конвоира. Того перекосило – наверное, от брезгливости: он расчихался, зажимая ноздри платком, а когда умолк, занес ботинок – и крошечную сферу заволокло непроглядной тенью. Раздавленная подошвой луковица всхлипнула и залилась горькими луковыми слезами. Конвоир стал приближаться, и мы шмыгнули назад, чтобы спрятаться за широкополым дедовым пальто. Уже переросшие своего зайде, от страха мы скукожились и укрылись в черных складках за сухощавой стариковской фигуркой, превратив ее в шишковатое, многоногое существо. В укрытии мы зажмурились. А потом услышали какие-то звуки – стук, шарканье: ботинки конвоира оказались прямо перед нами.

– Что еще за насекомое? – обратился он к зайде и прошелся жердью по девчоночьим ногам, торчавшим из-под пальто.

Коленки обожгло болью. Дедушкиным ногам тоже досталось.

– Шестиногий? Паук, что ли?

Ясное дело: конвоир не имел никакого представления о систематике живой природы. Он уже допустил две ошибки. Но никто не стал ему растолковывать, что паук вовсе не насекомое и что ног у него, кстати, восемь. Обычно зайде играючи, нараспев, с удовольствием исправлял любые погрешности: во всем, что касалось фактов, он стремился к точности. Но тут не место было кичиться доскональным знанием всяких ползучих тварей: не ровен час, тебя бы к ним и приравняли. У нас хватило ума не выставлять дедушку паукообразным.

– Я кого спрашиваю? – не отставал конвоир, вторично проходясь жердью по нашим ногам. – Ты кто такой?

Зайде ответил ему по-немецки. Имя – Тадеуш Заморски. Возраст – шестьдесят пять лет. Польский еврей. На этом он остановился, как будто исчерпал все необходимые сведения.

А нас так и тянуло продолжить вместо него, добавить подробности: зайде раньше служил профессором биологии. Не одно десятилетие преподавал свой предмет в университетах, но при этом был специалистом в самых разных областях. Захочешь постичь глубинный смысл поэзии – спроси зайде. Захочешь научиться ходить на руках или отыскивать в небе нужную звезду – он покажет, как это делается. С ним вместе мы как-то наблюдали радугу сплошь красного цвета, соединившую море и горную вершину; впоследствии зайде частенько произносил за нее тост, восклицая со слезами на глазах: «За невыразимую красоту!» Он так любил говорить здравицы, что делал это по любому поводу, к месту и не к месту. «Да здравствует утреннее купание!» «Да здравствуют липы у ворот!» А в последние годы его излюбленный тост звучал так: «За тот день, когда мой сын, целый и невредимый, вернется домой!»

Но как ни чесались у нас языки, конвоиру мы не ответили: подробности застревали в горле, а глаза были на мокром месте от близости погибшей луковицы. Слезы – это из-за лука, твердили мы самим себе, смахивая влагу, чтобы сквозь прорехи в дедовом пальто следить за происходящим.

Каждая прореха обрамляла пятерку людей: троих мальчиков, их мать и человека в белом халате, который, занеся авторучку, стоял с небольшим блокнотом. Нас более всего заинтриговали мальчики: до той поры нам не доводилось видеть тройняшек. В Лодзи у нас были знакомые девочки-близняшки, но тройня – это уже из области преданий. Мальчишки, хотя и производили впечатление своим числом, намного уступали нам в сходстве. У всех троих были черные глаза и кудряшки, жилистые тела, но повадки разные: один щурился от солнца, двое других мрачно хмурились. Сходство стало заметным лишь тогда, когда мужчина в белом халате наделил всю троицу конфетами.

Мама тройняшек отличалась от других матерей, ехавших в скотовозке: ее горе было тщательно запрятано внутрь, а сама она замерла в неподвижности, как остановившиеся часы. Одна рука в какой-то постоянной нерешительности парила над головами сыновей, будто лишилась права к ним прикасаться. Человек в белом халате не замечал этой осторожности.

Одним своим видом он внушал страх: сверкающие черные штиблеты и черные волосы такого же блеска; широченные рукава-крылья, которые бились и трепетали, когда он поднимал руку, загораживая добрую часть горизонта. Видный собой, прямо кинозвезда, он тяготел к лицедейству; на физиономии у него играла напускная приветливость, как будто объявлявшая всем и каждому о его благих намерениях.

Мать тройняшек и мужчина в белом халате коротко побеседовали. Судя по всему, без враждебности, хотя разговаривал большей частью мужчина. Мы сгорали от желания подслушать, но нам, полагаю, хватило того, что последовало: женщина провела рукой над черноволосыми головами тройняшек, а потом отвернулась, доверив сыновей человеку в белом халате.

Это врач, только и сказала она, отходя неверным шагом. С ним вы в безопасности, заверила она сыновей – и больше не оглядывалась.

От ее слов наша мама тихонько пискнула и всхлипнула, а потом потянулась к руке конвоира. Такая дерзость нас поразила. Мы привыкли видеть маму робкой, неуверенной: она смущалась, когда делала заказ в мясной лавке, и старалась не сталкиваться с домработницей. Можно было подумать, особенно после исчезновения нашего папы, будто в жилах у нее не кровь, а какой-то студень, дрожащий и податливый. В скотовозке она приводила себя в чувство единственным способом: рисовала на деревянной стенке цветок мака. Пестик, лепесток, тычинка – мама выводила их с необычайной сосредоточенностью и, как только останавливалась, напрочь теряла присутствие духа. Но на этих сходнях в ней проснулась небывалая твердость, какая несвойственна измученным и голодным. Не музыка ли способствовала ее преображению? Мама всегда любила музыку, а на станции звучали бравурные мелодии; они проникали к нам в скотовозку и с подозрительной веселостью манили наружу. Со временем до нас дошла вся глубина этого коварства; мы стали бояться праздничных мотивов, суливших только страдания. Оркестранты поневоле старались обмануть каждого вновь прибывшего; они, музыканты, вынужденно использовали свое дарование как ловушку для доверчивых, убеждали, что тех привезли в такое место, где ценятся человечность и красота. Музыка… ею окрылялся всяк сюда входящий; она плыла рядом и залетала в ворота. Не потому ли так осмелела наша мама? Этого я уже никогда не узнаю. Но когда она заговорила, я преисполнилась гордости за ее мужество.

– Здесь не обижают… двойняшек? – спросила она конвоира.

Помотав головой, тот повернулся к доктору, который в пыли присел на корточки, чтобы при разговоре заглядывать мальчикам в глаза. Издали казалось, что у них идет самая задушевная беседа.

– Zwillinge! – выкрикнул конвоир. – Близнецы!

Доктор оставил тройняшек на попечение какой-то надсмотрщицы, а сам широким шагом заспешил в нашу сторону, вздымая пыль начищенными штиблетами. С мамой он заговорил обходительно, держа ее за руку:

– У вас особенные дети? – Смотрел он, как нам казалось, дружелюбно.

Мама, переминавшаяся с ноги на ногу, вдруг как-то съежилась. Попыталась высвободить руку, но затянутые в перчатки докторские пальцы держали цепко и даже начали поглаживать мамину ладонь, словно исцеляя мнимую рану.

– Всего лишь двойня, а не тройняшки, – извиняющимся тоном ответила мама. – Надеюсь, это тоже неплохо.

Доктор громко, вызывающе хохотнул, и его смех проник в недра дедушкиного пальто. Когда он умолк, мы вздохнули с облегчением и стали слушать, как мама расписывает наши достоинства.

– Обе немного владеют немецким. Отец с ними занимался. В декабре им исполнится тринадцать. Читают запоем. Перль обожает музыку… сообразительная, практичная, занимается танцами. А Стася… Стася у меня… – тут мама сделала паузу, словно не зная, как меня описать, а потом закончила: – наделена богатым воображением.

Стоя на платформе, доктор с интересом выслушал эти сведения и жестом попросил нас спуститься к нему.

Мы колебались. В душных складках пальто нам было как-то спокойнее. Снаружи лютовал серый, колючий ветер, который не давал забыть о наших бедах и приносил с собой запах гари; автоматы отбрасывали тени; исходя слюной, лаяли и рычали собаки-убийцы. Нам хотелось зарыться поглубже, но доктор сам распахнул на зайде пальто. Мы зажмурились от солнечного света. У одной вырвался сердитый крик. Наверно, у Перль. Но, скорее, у меня.

Как можно допустить, поразился доктор, чтобы такие милые личики искажались кислыми гримасами? Он выдернул нас вперед, развернул к себе, а потом велел стать спиной к спине, чтобы оценить совпадение роста.

– Улыбайтесь! – распорядился он.

С какой стати мы повиновались такому приказу? Думаю, ради мамы. Это для нее мы растянули губы, хотя она в панике уцепилась за дедушкин локоть. Со лба у нее потекли две струйки пота. С того момента, когда нас загнали в скотовозку, я избегала смотреть на маму. Вместо этого я смотрела на маков цвет, пристально изучая хрупкий венчик. А мамино лицо стало каким-то неузнаваемым, отчего у меня открылись глаза на произошедшую с ней перемену: все еще красивая, мама превратилась в изнуренную бессонницей, павшую духом соломенную вдову. Прежде аккуратная, не в пример многим, она махнула на себя рукой: на запыленных щеках виднелись потеки, кружевной воротничок обвис. Оттого что она нервно кусала губы, в уголках рта засохли тускло-гранатовые капли крови.

– Полукровки? – предположил он. – Эти льняные волосы!

Мама пригладила свои черные локоны, словно устыдившись их прелести, и помотала головой.

– Мой муж… он был светловолосым, – выдавила она.

Только так мама и отвечала всякий раз, когда незнакомцы, видя наш цвет волос, заявляли, что мы – полукровки. С течением времени каждой из нас все чаще бросали в лицо это слово: «мишлинг»; потому-то зайде и придумал для нас игру в «живую природу». Не думайте об этих дурацких Нюрнбергских законах, твердил он. Не слушайте досужие разговоры о чистоте расы, генетическом скрещивании, четвертьевреях и прочих неарийцах, о нелепых, омерзительных проверках, которые имеют целью разделить наше общество по принципу капли крови, в зависимости от того, с кем ты состоишь в браке и где молишься Богу. Как услышите такие слова, говорил зайде, вспоминайте о разнообразии живой природы. Благоговейте перед нею и крепитесь.

В тот миг, стоя перед облаченным в белый халат доктором, я поняла, что теперь нам трудно будет следовать этому совету, так как придуманные дедушкой игры здесь не в почете.

– Удивительная штука – гены, правда? – вопрошал доктор.

Но мама даже не пыталась переключиться на другую тему.

– Если вы их заберете, – она не смотрела в нашу сторону, – когда мы с ними увидимся?

– В Шаббат, – пообещал доктор.

А затем склонился к нам и стал восхищаться: как, мол, его радует, что мы владеем немецким, как его радует, что мы светленькие. Однако его не обрадовало, что у нас карие глаза, хотя от этого, бросил он конвоиру, может быть и некоторый прок… Нагнувшись еще ниже, чтобы нас рассмотреть, он протянул руку в перчатке и погладил по голове мою сестру:

– Значит, ты – Перль? – Рука легко скользила по ее волосам, будто в силу многолетней привычки.

– Нет, она не Перль, – вмешалась я и сделала шаг вперед, чтобы загородить сестру, но мама оттащила меня в сторону и сказала доктору, что на самом деле он не ошибся.

– Да они, как видно, плутовки? – рассмеялся доктор. – Откройте секрет: как вы их различаете?

– Перль не такая вертушка. – Вот и все, что ответила мама.

Я была благодарна, что она не стала перечислять наши особые приметы. У Перль в волосах синяя заколка. У меня красная. Перль говорит плавно. Я – торопливо, отрывисто, с остановками. Кожей Перль бледная, словно клецка. А я веснушчатая, рябая. Перль – стопроцентная девочка. А я, хоть и стремилась превратиться в стопроцентную Перль, все же оставалась собой.

Доктор наклонился ко мне, и мы оказались лицом к лицу.

– Зачем подвираешь? – спросил он. И опять хохотнул, но как-то даже по-родственному.

Если начистоту, можно было бы ответить, что Перль (это мое личное мнение) слабее меня и я, выдав себя за сестру, смогу ее защитить. Но с языка слетела малоубедительная полуправда:

– Иногда я и сама путаюсь.

А дальше не помню. Как же мне хочется повернуть мысли вспять, пробиться сквозь запах, сквозь стук шагов, сквозь чемоданы – хотя бы к какому-то подобию прощания. Потому что мы не смотрели, как наши родные уходят в небытие, не оглянулись, когда они провожали нас взглядом, не распознали миг потери. Если бы только мы увидели, как они прячут лица: контур щеки, блеск влаги в глазах! Никто из близких никогда не прятал от нас лицо, и в тот последний раз они бы этого не допустили. Но почему же мы не сохранили воспоминания об их спинах, пусть об одних только спинах в момент ухода, хотя бы это? Плечо; складку габардинового пальто? Руку зайде, тяжело свисавшую вдоль тела… мамину косу, трепетавшую на ветру!

Но то место у нас в голове, где должны были запечатлеться наши родные, занял незнакомец в белом халате: Йозеф Менгеле, тот самый Менгеле, который впоследствии много лет скрывался под другими именами: Хельмут Грегор, Г. Хельмут, Фриц Ульманн, Фриц Холльман, Хосе Менгеле, Петер Хохбиклер, Эрнст Себастьян Альвес, Хосе Аспиаси, Ларс Балльтрём, Фридрих Эдлер фон Брайтенбах, Фриц Фишер, Карл Гойске, Людвиг Грегор, Станислав Проски, Фаусто Риндон, Фаусто Рондон, Грегор Шкластро, Хайнц Штоберт, доктор Энрике Волльман.

Этот человек, впоследствии захоронивший свои смертоносные деяния под кучей чужих имен, представился нам как Дядя Доктор. Раз за разом он заставлял нас твердить это прозвание вслух. А когда наконец убедился, что мы произносим его без запинки, и отстал, наши родные уже исчезли.

Увидев пустое место, где только что стояли мама и зайде, я все поняла. У меня подогнулись коленки, потому что на моих глазах в этом мире зарождался совершенно иной порядок живой природы. Тогда я еще не знала, к какому виду меня причислят, но конвоир не дал мне возможности поразмыслить: он стал тащить меня за локоть, но Перль пообещала ему, что поддержит сестренку, обняла меня за пояс, и нас вместе с тройняшками повели по сходням, по пыльной дорожке, мимо бани, в сторону крематориев; шагая в неведомую даль, где перед нами вставала смерть, мы увидели подводу с горой почерневших тел, и одно вытянуло руку, хотело за что-нибудь ухватиться, как будто в воздухе маячил поручень, видимый только умирающим. Губы дергались. Мы видели, как болтается и бьется розовый язык. Уже не властный над словами.

Я знала, как много в жизни значат слова. Если поделиться с этим телом словами, подумала я, оно воспрянет.

Глупость? Недомыслие? Неужели подобная идея пришла бы мне в голову даже вдали от пахнущего гарью ветра и белокрылых докторов?

Вопросы резонные. Я часто к ним возвращаюсь, но отвечать никогда не пробовала. Ответы – не мой удел.

Знаю одно: при виде этого тела я не нашла собственных слов. Мне лишь вспомнилась одна песенка, которую крутили на контрабандном патефоне в подвале гетто. Когда я ее слышала, мне всегда становилось легче. Вот я и решила испытать ее слова.

– «Хочешь долететь до звезды?» – пропела я.

Ни звука, ни шевеления. Неужели мой писклявый голос все испортил? Я сделала вторую попытку.

«Лунный свет достать из воды?»

Понимаю, это были жалкие потуги, но я всегда верила, что мир делается лучше от каждого доброго поступка. А когда доброта уходит, изобретаются новые, непреложные порядки и системы, и в тот миг – то ли по глупости, то ли по недомыслию – я уверовала, что это тело оживет, если вдохнет слово. Но в этом куплете, как видно, содержались совсем неподходящие слова. Ни одно из них не могло расшевелить замкнутую в теле жизнь, не находило сил ее восстановить. Я стала искать другое слово, подходящее, чтобы им поделиться, – должно же где-то быть нужное слово, думала я, – но конвоир не стал ждать. Он оттащил меня и погнал нас дальше, чтобы безотлагательно запихнуть под душ, на оформление и нумерацию, прежде чем бросить в «Зверинец» Менгеле.

Освенцим создавался для изоляции евреев. А Биркенау создавался для удобства их уничтожения. От одного круга ада до другого было рукой подать. Для чего создавался здешний «Зверинец», я не знала, но могла поклясться, что мы с Перль не будем сидеть в клетке.

Блоки «Зверинца» когда-то служили конюшнями, а теперь предназначались для двойняшек, тройняшек, пятерняшек. Сотни и сотни таких, как мы, теснились на койках – даже не на койках, а на шконках – в щелях, куда едва вжималось туловище. Нары высились ярусами от пола до потолка, и на каждую такую шконку запихивали троих, а то и четверых, так что трудно было разобрать, где заканчивается твое тело и начинается чужое.

Куда ни глянь – везде были копии, дубликаты. Сплошь девочки. И печальные, и совсем крохи, и деревенские, и городские – эти, вполне возможно, выросли по соседству с нами. Некоторые птенцами застыли на своих матрасах, набитых прелой соломенной трухой, и уставились на нас. Проходя мимо, я видела избранных – тех, кого обрекли на истязания, а рядом сидели их половинки, целые и невредимые. Считай, в каждой паре у одной из близняшек была скрюченная спина или покалеченная нога, у кого-то лицо пересекал шрам, глазницу закрывала черная повязка, на коленях лежал костыль.

Как только мы со Стасей забрались к себе на шконку, к нам начали спускаться ходячие. Прижимая к груди соломенные матрасы и ковыляя по шатким доскам стойла, они оценивали степень нашего сходства. От нас потребовали рассказа о себе.

Мы объяснили, что привезли нас из Лодзи. Сперва у нашей семьи был там свой дом, затем подвал в гетто. У нас есть дедушка, есть мама. Раньше и папа был. А у зайде есть старенький спаниель, который, если ткнуть в него пальцем, притворяется мертвым, но очень быстро оживает. А наш папа – вы о нем не слышали? – был врачом и с такой готовностью помогал другим, что однажды ночью исчез: отправился по вызову к больному ребенку и не вернулся. Конечно, мы по нему скучаем, да так сильно, что эта ноша даже для двоих тяжела. А чего мы боимся, так это микробов, историй с несчастливым концом и когда мама плачет. А любим мы вот что: рояль, Джуди Гарленд и когда мама не так горько плачет. Но сами-то мы в итоге кто такие? Сразу и не скажешь, разве что одна из нас отличная танцовщица, а вторая и рада бы чем-нибудь отличиться, да отличается только своим любопытством. Это про меня.

Удовлетворенные этими сведениями, слушательницы наперебой стали нас просвещать.

– Здесь кормежка получше, – начала бледная, почти прозрачная девочка по имени Рахиль.

– Только некошерная, все нутро разъедает, – подхватила ее половинка, столь же прозрачная.

– Нам головы не бреют, – отметила Шарон, предъявляя свою косичку.

– Пока вши не завелись, – добавила ее обритая наголо сестра.

– И в своей одежде разрешают ходить, – продолжила девочка из России.

– Только крест на спине ставят, – закончила ее двойняшка.

Повернувшись спиной, она показала намалеванный красной краской прямо на платье крест, но мне доказательств не требовалось. У меня между лопаток был такой же.

Тут разговоры вдруг смолкли; всех накрыла непрошеная тишина, повисшая тучей на стропилах «Зверинца». Многочисленные близнецы стали испытующе переглядываться; есть кое-что поважнее, говорили их лица, чем кормежка и одежда. Потом с самого нижнего яруса донесся тонкий голосок. Мы вытянули шеи, но эта девочка в обнимку с сестренкой вжалась в кирпичную стену. Лица ее мы так и не увидели, но сказанные ею слова запомнились навсегда.

– Наших родных не убивают, – объявила эта безвестная невидимка.

Все девочки одобрительно закивали; мы с Перль, захваченные новым всплеском разговора, ликовали вместе со всеми, что наши близкие, в отличие от многих, останутся в живых.

У меня на языке вертелся очевидный вопрос, но высовываться не хотелось, и я ущипнула Перль, чтобы она спросила за двоих:

– А почему нас выделяют из всех? – К концу фразы голос ее совсем затих.

Ответы посыпались с разных сторон – что-то насчет предназначения и величия, чистоты, красоты и пользы. Ни одного осмысленного слова мы не услышали.

Не успела я пораскинуть мозгами, как в барак вошла грузная блоковая. За глаза все звали ее Кобылой; она смахивала на необъятный шкаф с хохолком и при любых кажущихся признаках нашего неповиновения впадала в ярость, топала и раздувала ноздри. Впрочем, когда ей показывали нас с Перль, мы увидели только голову, которая в саване темноты просунулась в дверь и возмутилась от наших вопросов.

– Почему про нас говорят «Зверинец»? – спросила я. – Кто это придумал?

Кобыла пожала плечами:

– Разве не ясно?

Я сказала, что нет. В зоопарках, о которых читал нам дедушка, радеют о сохранении видов и показывают огромное разнообразие живой природы. А здесь радеют только о составлении зловещей коллекции.

– Так решил доктор Менгеле, – отрезала Кобыла. – Рассусоливать никто не будет. А ну спать! Пользуйтесь, коль дозволено. И мне отдохнуть дайте!

Если бы только мы могли уснуть. Такого черного мрака я еще не видела; от густой вони закладывало нос. На нижних нарах кто-то стонал, за дверями лаяли собаки, а мой живот вторил им сердитым урчаньем. Я пыталась занять себя словесными играми, но доносившиеся снаружи крики охранников сбивали меня с алфавита. Перль играть со мной отказывалась: чтобы оградить себя от моих приглушенных вопросов, она водила кончиками пальцев по серебристой паутине, украшавшей наш угол.

– Во что ты бы согласилась превратиться: в часы, сделанные из косточек руками Бога, – спрашивала я, – или в часы, сделанные из душевных струн Бинга Кросби?

– Я не верю в Бинга Кросби.

– Я тоже. Но все-таки: во что бы ты согласилась…

– Да не хочу я превращаться в часы! У меня что, другого выбора нет?

Мне хотелось возразить, что мы, как живые организмы, как человекоподобные и предположительно живые существа, порой вынуждены сближаться с неодушевленными предметами, чтобы только уцелеть; нам приходится хранить себя в укромном месте и дожидаться безопасной минуты для ремонта. Но я решила продолжить:

– Кем бы ты хотела быть: ключом от комнаты, в которой наше спасение, или оружием, которое уничтожит наших врагов?

– Я хочу быть обычной девочкой, – тупо отвечала Перль. – Как раньше.

Тут бы мне возразить, что игры как раз и дадут ей возможность снова почувствовать себя обычной девочкой, но даже у меня не было в этом уверенности. Номера, которыми пометили нас фашисты, затушевали нашу жизнь, эти номера стояли у меня перед глазами даже в темноте, и что еще хуже – их не получалось вообразить чем-либо менее долговечным, суровым или уныло-синим. Мои цифры получились смазанными, нечеткими – я брыкалась и плевалась; меня держали, – но все равно получились цифры. Перль тоже пронумеровали, и ее цифры сделались для меня еще ненавистнее моих собственных: они подчеркивали нашу отдельность, а двух отдельных людей запросто можно разлучить.

Я пообещала Перль, что при первой же возможности исправлю наши татуировки на одинаковые, но она только вздохнула, как водится между сестрами в минуты полного непонимания:

– Хватит болтать. Ты понятия не имеешь, как делается татуировка.

Уж как-нибудь справлюсь, ответила я. Меня один морячок научил, еще в Гданьске. Я ему на левом бицепсе якорь выколола.

Естественно, это была ложь. Точнее, полуложь: я видела, как делали подобную наколку. Когда во время каникул мы жили на взморье, я заглядывала в серые недра тату-салона, где по стенам висели контуры ласточек и кораблей, а Перль, не теряя времени, нашла себе мальчика, который на пирсе держал ее за руку возле обросшей ракушками лодки. Так и получилось, что моя сестра причастилась таинства плоти, то бишь своей ладони в чужой, а я свела близкое знакомство с иголками, настолько тонкими, что на острие каждой мог уместиться разве что сон.

– Когда-нибудь опять сделаю нас одинаковыми, – упорствовала я. – Всего-то потребуется одна иголка и чуть-чуть красителя. Раз мы здесь на особом положении, наверняка есть способ это заполучить.

Нахмурившись, Перль демонстративно повернулась спиной – нары откликнулись стоном – и заехала локтем мне в ребра. Это вышло нечаянно – она не собиралась делать мне больно, хотя бы потому, что тем самым навредила бы и себе самой. В том-то вся штука: боль не может достаться только одной из близняшек. Мы волей-неволей делили все плохое поровну, и я поняла, что в таком месте, как это, нужно искать новый способ делить страдания, покуда они не начали множиться.

Когда на меня снизошло это понимание, одна девочка в другой стороне барака нашла свет – драгоценную книжечку спичек, и решила, что их как раз хватит, чтобы устроить шествие теней и развлечь зрительниц-близняшек. Поэтому мы отходили ко сну в компании теневых фигурок, движущихся по стенке парами, бок о бок, как будто к незримому ковчегу, где, если повезет, можно найти убежище. Как же много от нашего мира было заключено в этих тенях! Фигурки летели, ползли, крались в сторону ковчега. Ни одну живую тварь не прогнали за ее малость. Искала, куда бы присосаться, пиявка, степенно вышагивала сороконожка, пел сверчок. Обитатели болот, гор и пустынь ныряли, вертелись, искали пищу. А я их распознавала, пару за парой, и утешалась своими познаниями. Но шествие все длилось, пламя слабело, и тени поддавались недугам. На спинах вырастали горбы, отваливались конечности, хребты растворялись. Теряя свой облик, живые твари становились чудищами. И не узнавали самих себя.

И все же, пока горел огонек, тени не умирали. А это уже кое-что, правда?

Перль

Глава вторая. Цуганги, или Пришлые

Стася этого не знала, но мы всегда, с самого начала, представляли собой нечто большее, чем просто нас двоих. Я была всего на десять минут старше, однако этого оказалось достаточно, чтобы понять, насколько мы разные.

Но в «Зверинце» у Менгеле мы стали уж слишком разными.

К примеру: в тот первый вечер Стасю успокоило шествие теней, а мне только разбередило душу. Потому что эти спички высветили совсем другое зрелище, сопровождаемое предсмертной лихорадкой. Стася не рассказывала про умирающую девочку?

На шконке мы оказались не одни. К нам на соломенный матрас втиснули третью девочку; с почерневшим языком, в лихорадке, эта худышка, свернувшись калачиком, прильнула щекой к моему плечу. В этом прикосновении не было и намека на нежность: просто в ту ночь на шконках не нашлось свободного места даже на палец, но впоследствии мне хотелось верить, что этой безымянной девочке-одиночке рядом со мной стало хоть немного легче. Я убедила себя, что она не от тесноты прижималась ко мне щекой.

Когда озноб прекратился, одиннадцатилетние близняшки Степановы, Эсфирь и Серафима, лежавшие прямо под нами, впрыгнули к нам на матрас и раздели малышку догола. Управились они с такой пугающей ловкостью, будто всю жизнь только и делали, что раздевали покойных. Эсфирь с радостью набросила на плечи кофту; Серафима влезла в шерстяную юбку. Мое неодобрение, наверно, выглядело слишком явным, потому как Эсфирь, чтобы не нарываться на ссору, решила откупиться от меня чулками мертвой девочки, сунув засаленные комки прямо мне под нос.

Я только отмахнулась, и тогда она, бывалая, из «стареньких», бросила мне в лицо колкое словечко, которым обзывали новеньких, «пришлых».

– Цуганг! – прошипела она.

Если бы не подавленность зрелищем смерти, я, наверно, не полезла бы за словом в карман, но в тот миг мне было все равно. Степановы заговорщически переглянулись, а потом Серафима подмигнула в мою сторону, как бы давая понять, что сейчас мне окажут большую услугу. Без единого слова они вдвоем взялись за голову мертвой девочки и стали тянуть щуплое тельце из нашей шконки.

– Пусть остается. – Я положила руку на еще не остывшую грудь.

– Она ж померла, – возразили сестры. – Видишь, изо рта струйка вытекла? Значит, померла!

– И что из этого? Ей ведь нужно где-то лежать.

– По закону нельзя, цуганг.

– По какому еще закону?

Сестры были так заняты спуском по лесенке и сбросом тела, что не ответили; движения их освещал все тот же слабый свет, из которого только что рождались животные-тени. По мне, лучше бы в бараке наступила непроглядная мгла. Потому как я заметила, что у той девочки, когда ее труп летел на пол мимо лестничных перекладин, раскрылись глаза. Все лежавшие на шконках отвернулись, чтобы не видеть этого исхода, но я заметила, как девочкины волосы веером накрыли порог, когда ее вытаскивали за дверь, и, провожая взглядом покойную, постаралась запомнить, какие у нее были глаза.

Вроде бы карие, как у меня, но поручиться не могу – знакомство наше оказалось слишком кратким.

Зато в память врезалась сноровка тех сестер. Вернувшись в барак, они на пороге похлопали в ладошки, чтобы отряхнуть сажу. Серафима покружилась в новой юбке, Эсфирь начала ощипывать катышки с похищенной кофты. Эти новые приобретения их взбодрили. Серафима подплыла к Стасе и швырнула ей какой-то комок.

– Держи чулки, – переплюнула она через губу. – И нечего тут нос задирать.

Стася разглядела упавшие ей на колени чулки, влажные, жалкие. Я посоветовала ей вернуть их, но Стася никогда не слушала советов, даже моих. К вящей радости Серафимы, моя сестра натянула чулки на пальцы вместо варежек.

– Надо ж было додуматься, – одобрила Серафима, прежде чем улечься к сестре на самые нижние нары.

Зашуршала прелая солома, и эти две стервятницы, как пить дать, начали планировать следующее мародерство.

Чтобы выжить, здесь каждый шаг планировали наперед. Я это заметила. И поняла, что нам со Стасей придется распределить между собой житейские обязанности. Разделение труда обычно происходило у нас само собой, а потому в предрассветной мгле мы легко договорились о самом насущном: Стася берет на себя смешное, будущее, плохое. Я беру на себя грустное, прошлое, хорошее.

Кое в чем эти сферы пересекались, но нам уже случалось договариваться о подобных перехлестах. Мне казалось, дело было решено по справедливости, но Стасю охватили дурные предчувствия.

– У тебя задачи труднее, – сказала она. – Давай поменяемся. Я возьму прошлое, а ты – будущее. Будущее надежду дает.

Да ладно, пусть остается, как решили, сказала я. Забирай себе будущее. Я возьму смешное, а ты – будущее. Для равновесия. А сама подумала: сколько лет мы старались согласовывать каждое движение. В раннем детстве приучали себя делать одинаковое количество шагов за день, произносить одинаковое количество слов, одинаково улыбаться. От этих воспоминаний я мало-помалу успокаивалась, но, как только начала приходить в себя, Кобыла вернула нас в пучину страха. Холодная, деловитая, отталкивающая фигура в балахоне цвета овсяной каши протискивалась через барак, держа на руках всю ту же умершую девочку, но уже перепачканную грязью. Без единого слова Кобыла поднесла ее к нашей шконке и втиснула рядом со мной, а потом сложила холодные ручонки на впалой груди и скрестила девочкины лодыжки. Трудилась она сосредоточенно, высунув кончик языка, будто составляла цветочную композицию к приезду дорогих гостей, а под конец спросила:

– Кто это сделал?

Мертвая девочка незрячими глазами смотрела на потолочные балки.

Никто не ответил, но Кобыла и не ждала ответов; она использовала эту возможность, как любую другую, чтобы нас приструнить.

– Советую вам, дети, найти себе забаву получше, чем оттаскивать трупы к уборной. Всем известно, что в «Зверинце», как постановил доктор Менгеле, вас каждое утро пересчитывают по головам. Если только этого трупа снова не окажется на месте…

Оставив угрозы висеть в воздухе, чтобы посильнее нас запугать, Кобыла сочла свою миссию выполненной и, в развевающемся балахоне цвета овсянки, устремилась к выходу. Замедлила шаг она лишь для того, чтобы отобрать спички у той девочки, которая вчера устроила шествие теней. И вновь наступила темнота, но не столь непроглядная, чтобы заслонить зрелище смерти у нас под боком.

– У нее даже сейчас голодный вид, – заметила Стася и сквозь чулок провела пальцем по девочкиной неподвижной щеке. – Как по-твоему, она еще сохраняет чувствительность?

– Нет, откуда у покойников чувствительность? – ответила я.

Но полной уверенности у меня не было. Если и существовало такое место, где истязали даже мертвых, так это «Зверинец».

Сняв с рук чулки, Стася попыталась натянуть их девочке на ноги. Сначала на левую ногу, потом на правую. Один чулок дошел только до середины голени, а другой легко скользнул выше колена. Сокрушаясь от такой неаккуратности, Стася начала поддергивать шерстяной трикотаж, и мне пришлось ей указать, что чулки эти от разных пар: как ни дергай, одинаково не натянешь. И что-либо исправить здесь невозможно; остается довольствоваться тем, чем есть.

– Пожалуйста, – зашептала я Стасе, которая от старания только проделала в одном чулке новую дыру, – оставь мне прошлое, а вдобавок и настоящее. Не хочу я разбираться с будущим.

Так мне досталась роль хранительницы времени и памяти. С той поры вести счет дням стало моей личной обязанностью.

сентября 1944 г.

В прошлой жизни все переговоры за нас обеих вела я. У меня был открытый характер, я выработала надежные способы избегать неприятностей и находить приемлемые решения как с ровесниками, так и со взрослыми. Эта роль меня устраивала. Я со всеми была в друзьях и по-честному отстаивала наши интересы.

Прошло совсем немного времени – и мы поняли, что к здешним условиям Стася приспособлена лучше. В ней появилась какая-то бесшабашность. Улыбаясь, она стискивала зубы; научилась ходить не по-девчоночьи, а вразвалочку, на манер киношного ковбоя или героя комиксов.

В то первое утро она не закрывала рта. Забрасывала вопросами всех, кого только можно, чтобы нам с ней поскорее приноровиться к лагерной жизни. Первым подвергся ее атаке взрослый человек, который представился нам как Zwillingesvater – Отец Близнецов. От него не укрылось наше недоумение, но он не стал ничего объяснять, а только сказал, что все дети зовут его именно так; в «Зверинце», как нам предстояло выяснить, было принято давать человеку новое имя и новое сознание; даже взрослые не составляли исключения из этого правила.

– Когда мы увидимся с родными? – спрашивала Стася, пока Отец Близнецов, сидя на перевернутом ящике, подробно записывал для Менгеле все наши данные.

Мы примостились рядом, за мальчишеским блоком; у наших ног в грязи лежал бесхозный глобус. Путешествиям этой реликвии, обычно хранившейся на складе, отчаянно завидовали все: глобус перемещался из одного конца лагеря в другой, а мы были привязаны к «Зверинцу». Один мальчишка, по имени Петер Абрахам, которого Менгеле прозвал Интеллигент и назначил своим посыльным, украдкой подбирал этот небольшой глобус, прятал под пальто и ковылял, как будто на сносях, от одного блока к другому. Глобус нужно было забирать с утра пораньше, а вечером кто-нибудь из блоковых украдкой относил его назад. Таким образом этот маленький мир переходил из рук в руки и со временем изрядно поистрепался. На его поверхности зияли дырки, границы стерлись, целые страны исчезли полностью. Тем не менее глобус оставался глобусом и приносил немалую пользу, потому что во время таких вот допросов можно было рассматривать земной шар, а не лицо Отца Близнецов, хотя оно, как мне думалось, выглядело таким же потрепанным и унылым.

– Встречи с родными – по праздникам, – отвечал терпеливый Цвиллингефатер. – Во всяком случае, так говорит Менгеле.

Отец Близнецов в свои двадцать девять лет был ветераном чешской армии. Его отличала военная выправка, но была в нем какая-то изнуренность, которую только усугубляли его подопечные. Оценив его военное прошлое и свободное владение немецким, Менгеле поставил его воспитателем в мальчишеский барак и учетчиком всех поступающих близнецов; сделанные им записи потом отсылались на кафедру генетики Берлинского института имени кайзера Вильгельма.

Поручив Отцу Близнецов эту должность, Менгеле, наверно, совершил единственное в жизни доброе дело. Мальчишки души не чаяли в своем блоковом, смотрели на него как на идола, когда он давал им уроки – преимущественно немецкого и географии, а то и гонял с ними тряпичный мячик на футбольном поле, выкраивая редкие минуты для игры.

Среди близнецов-узников «Зверинца» были даже новорожденные; для обеспечения надлежащего развития младенцев их матерям разрешалось жить вместе с ними. Женщины заискивали перед Отцом Близнецов, твердили, что из него когда-нибудь получится прекрасный глава семьи, но он только содрогался от этих похвал и продолжал изобретательно и мягко выполнять свою работу. Мы, девочки, завидовали, что у мальчишек есть такой союзник: нами командовала Кобыла, а из нее невозможно было вытянуть никакие сведения о нашем местонахождении. От других девочек, соседок по бараку, мы узнали, что примерно за месяц до нашего появления менгелевский «Зверинец» перебазировался из первоначального расположения в бывший цыганский блок. Цыган в живых не осталось: они все до единого были уничтожены; их истребление рассматривалось как необходимая мера, поскольку лагерное начальство ужасалось: цыган, дескать, так и косят болезни и голод. Рацион – как у всех, но взрослые, сомнений нет, объедают детей. Цыгане готовы грязью зарасти – им лишь бы петь и плясать. Единственный способ справиться с таким народом – извести его под корень.

Ходили слухи, будто Менгеле пытался этому помешать. Правда ли это – никто не знал. Нам было известно лишь одно: цыган умертвили газом, а на их место пригнали нас, освенцимских близнецов. Прямо перед нашим новым жилищем находился пустырь, куда немцы свозили мертвых и умирающих. С чудовищной регулярностью пустырь покрывался телами и вновь расчищался. И все это – у нас на глазах.

А за четырехметровыми ограждениями, стоявшими под электрическим током, виднелись поля и березы. На ближайшем поле мы видели женщин-узниц: если девочки замечали там своих матерей, через ограду летели куски хлеба; оставалось только надеяться, что хлеб не полетит к нам обратно: ведь мы получали усиленное питание. По вторникам и четвергам нас водили в лаборатории, находившиеся в двухэтажном кирпичном доме, а больше, считай, мы ничего и не видели.

Если по какой-то причине нас срывали с места и куда-нибудь перевозили, нам представлялась возможность узнать об Освенциме побольше, но та часть лагеря, которая носила название «Канада», была скрыта от наших глаз: там тянулись пакгаузы, ломившиеся от награбленного, потому-то заключенные и дали ей название страны, которая воплощала для них благополучие и роскошь. В строениях «Канады» штабелями лежало и бывшее наше имущество: очки, пальто, инструменты, чемоданы, даже наши зубы и волосы – словом, все, что считается необходимым для сохранения человеческого облика. Баню, где догола раздевали узников, мы не видели, как не видели и так называемую душевую – побеленный деревенский домик по левую руку от бани. Не видели мы и роскошно отделанный штаб СС, где устраивались гулянки, куда приводили женщин из «Пуффа», чтобы те танцевали с эсэсовцами и сидели у них на коленях. Ничего этого мы не видели, а потому считали, что уже знаем худшее. Мы не могли вообразить, как необъятны бывают истязания, как изощренны и целенаправленны, как они вырывают людей из семьи одного за другим или единым подлым ударом показывают всем и каждому лик смерти.

На второй день Отец Близнецов сохранял всю ту же деловитость и твердость, с которой начинал бумажную волокиту с вопросниками, но временами колебался: он взвешивал значение каждого ответа в отдельности и его возможные последствия для нашей лагерной жизни. Я наблюдала, как медлит его рука, прежде чем поставить в нужной графе неуверенный крестик.

– А теперь скажите, – спрашивал он, – которая из вас появилась на свет первой?

– Разве это важно? – Стася терпеть не могла такую въедливость.

– Для доктора важно все. Мы с моей сестрой Магдой не знаем, кто родился первым. Но всегда говорим, что я старше, просто чтобы его не сердить. Так что ответь мне, Перль: которая из вас была первой?

– Я, – вырвалось у меня.

Пока мы с Отцом Близнецов уточняли подробности, Стася начала атаковать вопросами доктора Мири – та ждала, когда можно будет взять заполненные бланки и отнести в лабораторию.

Доктор Мири была настоящей красавицей, о ней с удовольствие говорили «как лилия» – цветок торжественный и чуткий. В ней угадывалось отдаленное сходство с нашей мамой: темные волосы, большие глаза, красиво изогнутые губы, но внешность у нее была скорее кукольной, а изменчивое выражение лица зачастую казалось мне чужеродным, каким-то далеким, отсутствующим. Пробегавшие по ее лицу тени могли бы играть на лице женщины, которая погрузилась в глубину и снизу наблюдает за водной рябью.

Но было нечто еще более поразительное, чем красота доктора Мири сама по себе, а именно тот факт, что Менгеле позволил ей сохранить свою красоту. Красавиц, попадавшихся на глаза Менгеле, обычно ждали разительные перемены: он не мог позволить себе восхищения. Для них были уготованы два пути: путь Иби и путь Орли. Кого ждал путь Орли, те, прибывая в лагерь красавицами, уже назавтра представали совсем в другом обличье: Менгеле вспучивал им животы и, вызывая отеки, превращал ноги в сардельки или же делал их лица похожими на восковые маски, обезображенные язвами. Кого ждал путь Иби, тех отправляли в «Пуфф», где заставляли свешиваться из окон, трепетать диковинными яркими птицами и слушать, как мадам торгуется об их цене с постучавшими в дверь мужчинами. Путь Мири – путь доктора-еврейки, уважаемой самим Менгеле, – был огромной редкостью.

Орли с Иби приходились сестрами доктору Мири. Она с ними почти не виделась. Чтобы заставить доктора Мири расплакаться, достаточно было упомянуть Иби и Орли. Время от времени этим пользовался Менгеле, если находил ее работу в лаборатории неудовлетворительной или вынуждал делать что-нибудь невыносимое. В будущем мне предстояло не раз наблюдать такие сцены, но в тот день я видела только доктора Мири, стоявшую в ожидании наших опросных листов.

– Когда нас отпустят? – спросила ее Стася.

В воздухе повисла пауза.

– Определенные планы на этот счет есть, – выговорила наконец доктор Мири, переглянувшись с Отцом Близнецов, как это делают взрослые, когда перед ними встают извечные щекотливые вопросы, на которые нет ответов. – Мы их прорабатываем, но пока неизвестно…

Она была избавлена от необходимости продолжать: на пороге появилась женщина с парой свертков, запеленатых в серые тряпки; младенцев она держала личиками назад.

Матерям новорожденных иногда позволялось жить в «Зверинце» и нянчить детей. В числе таких матерей была и Клотильда. Клотильду знали все, потому что ее муж убил эсэсовца: выхватив у охранника пистолет, он сделал роковой выстрел и тем самым разжег искру бунта. Беспорядки стоили жизни еще троим нацистам, после чего лагерное командование согнало всех узников смотреть, как повесят зачинщика. Но итогом этой казни стало не устрашение остальных, а рождение легенды. Ореол героя перейдет к его детям, с гордостью заявляла Клотильда, но слава отца, как видно, нисколько не утешала младенцев. Те скулили и брыкались в засаленных пеленках, будто негодуя против насильственной смерти главы семьи.

Подскочив к молодой матери, Стася попыталась разглядеть маленькие свертки. Я испугалась, как бы она не попросила их подержать – моя сестра частенько переоценивала свои возможности, – но, к счастью, она только сыпала вопросами.

– Какое здесь питание? – спросила она Клотильду, которая передала одного ребенка доктору Мири, чтобы та полюбовалась.

Я заметила, как напряглась доктор Мири при виде этого малыша, но Клотильда, судя по всему, оставалась в блаженном неведении; назидательно-горьким тоном она начала отвечать:

– Баланда, которую даже похлебкой не назовешь!

– Какая еще баланда? Что в ней плавает?

– Сегодня? Вареные корешки. Завтра? Вареные корешки. А послезавтра? Вареные корешки с заправкой из ничего. Довольна?

– Везет же некоторым. – Стася кивком указала на младенцев. – Твоим детям хорошо: им такой супчик не грозит.

– Молись, чтобы хуже не было, – поучала Клотильда. – А если твои молитвы не будут услышаны и к тебе вернутся, их и жуй. Глядишь, молитвой и насытишься.

От нелепости таких советов даже младенцы перешли от нытья к оглушительным крикам.

– Мы не молимся, – сообщила ей Стася, перекрывая детские вопли.

С осени тридцать девятого мы действительно перестали молиться. Двенадцатого ноября. Как и во многих семьях, причиной отказа от молитвы стало исчезновение родного человека. Впрочем, если честно, пару недель наши молитвы были особенно истовыми, а затем, с первой оттепелью, пошли на убыль. Когда во дворе засинели первые колокольчики, молитвы иссякли.

Я не собиралась делиться этим с Клотильдой, которая презрительно вздернула брови. Оглядев детские головки, она укрыла их своим платком, будто надеясь оградить от нашего безверия.

– Оголодаете – по-другому запоете, – пробормотала она себе под нос и быстро заговорила по-чешски с Отцом Близнецов.

Этого языка мы не знали, но из-за резких окончаний слов и прерывистой манеры речи у меня создалось впечатление, что каждый советовал другому знать свое место. Перепалка нарастала, и доктор Мири, у которой на лице отразилась растерянность, смешанная со страхом, почти как у маленькой девочки – свидетельницы родительской склоки, вклинилась между спорщиками и обратилась к нам с сестрой.

– Знаете что, – голос ее звучал мягко, хотя ей пришлось перекрикивать двоих, – вместо молитвы, наверное, можно загадывать желания. Вы ведь загадываете желания, правда? В этом никто не сможет вам помешать.

Говорила она так ровно, так заученно, что до меня дошло: в обязанности доктора Мири входит улаживание подобных конфликтов. Сейчас ей это удалось. Клотильда плюнула на пол, признав свое поражение в споре, а Отец Близнецов, едва заметно улыбнувшись такому изобретательному миротворчеству, вернулся к опросу.

– Домашний адрес? – уточнил он. – Другие братья или сестры есть? Ваши родители – оба польские евреи, правильно? Роды естественные? Или кесарево? Осложнения были?

Мы слышали, как царапало по бумаге перо, когда он сортировал подробности наших ответов, но потом, уже в самом конце, мимо нас под лай собак промаршировала, вздымая пыль, рота охранников, и Отец Близнецов швырнул авторучку на землю, да с такой силой, что мы даже вздрогнули. Младенцы заревели еще громче. Блоковой зарылся лицом в ладони; казалось, он уснул навеки, решил проститься с этой жизнью, вот и все. Нас уже просветили, что здесь такое случается. Мы с минуту глазели на рано поседевшую макушку, но тут Отец Близнецов ожил, поднял голову и встретился с нами взглядом.

– Виноват, – проговорил он со слабой улыбкой. – Чернила кончились. Все в порядке. Постоянно чернила кончаются. Постоянно… – Мы подумали, что ему вот-вот опять станет плохо, но нет: так же внезапно, как и в первый раз, он выпрямил спину, а потом широко улыбнулся и махнул рукой. – Бегите на построение.

Мы послушно развернулись, но он остановил нас жестом. Внимательно посмотрел нам в глаза. Нетрудно было понять: сейчас он скажет нечто такое, что многократно повторял детям, которые умели слушать.

– Вот вам первое домашнее задание: учите имена остальных девочек. Повторяйте друг дружке вслух. Когда поступит новенькая, запомните имя. Когда кто-нибудь нас покинет, запомните имя.

Я обещала постараться. Стася тоже. А потом она спросила: его-то на самом деле как зовут?

Отец Близнецов принялся разглядывать заполненные бланки. Можно было подумать, он впервые видит аккуратно зафиксированные собственной рукой ответы, как будто эти чернильные крестики, проставленные в нужных графах, перечеркнули его самого. Когда мы, так и не дождавшись отклика, уже решили уйти, блоковой поднял взгляд.

– Когда-то я носил имя Цви Зингер, – ответил он. – Только это уже не важно.

На заре, с первыми проблесками света, все выстроились на перекличку, и мы едва не зажимали носы от запахов пепла и немытых тел. Затяжная сентябрьская жара накатывала волнами, обволакивая нас пылью. На той перекличке я впервые увидела всех подопытных Менгеле разом: среди них были двойни, тройни и, далее, лилипуты, калеки, евреи с арийской, а значит, любопытной, с его точки зрения, внешностью. Если одни разглядывали нас с бесхитростным любопытством, то другие – с явной настороженностью, и я невольно подумала: сколько же должно пройти времени, чтобы мы больше не считались «пришлыми». Подозрительные взгляды сверлили нас и во время завтрака, когда мы вгрызались в каменные хлебные горбушки, запивая их бурым пойлом, именуемым «кофе». Почти всю свою пайку хлеба я отдала Стасе. Но бурую жижу выпила до капли, хотя это была мерзкая кислятина, сваренная, как выразилась моя сестра, в худом башмаке на мутной реке. Отхлебнув этого напитка, Стася закашлялась, и у нее изо рта вылетела длинная струйка. К сожалению, точно на этом расстоянии оказались Рабиновичи: они стояли в очереди на раздачу, и Стасин плевок нанес оскорбление старшему брату, угодив прямо на лацкан его сюртука.

Рабиновичи были из числа лилипутов. В лагере они жили своим кланом во главе с патриархом-капельмейстером; все ходили в шелках и бархате – в своих вычурных цирковых костюмах, отделанных золотым позументом, кружевом и бахромой. У всех женщин были высокие пышные прически, у мужчин – волнистые бороды, которые при ходьбе развевались, наподобие хоругвей. Это зрелище вызывало только неловкость. Я против них ничего не имела, но вполне могла понять, за что их не любят. Во-первых, где это видано, чтобы в Освенциме не разлучали целую семью? А во-вторых, они ставили себя выше всех, потому что пользовались особым расположением Менгеле. Подумать только: им предоставили отдельную просторную палату лазарета, где множились недосягаемые предметы роскоши: столы с ажурными скатерками, розовые тюлевые занавески на окне. Большой чайный сервиз с рисунком вербы. Обитое велюром креслице, рассчитанное будто на ягненка. Менгеле подарил им даже радиоприемник, доверив его Мирко, старшему из братьев. Если по радио звучала музыка, Мирко неизменно подтягивал, даже когда текста и не предполагалось; слова он сочинял на ходу, просто чтобы подпевать. Именно в этого лилипута и угодил Стасин плевок.

– Соображай, в кого плюешься, цуганг, – обращаясь к нам обеим, процедил Мирко.

Я с извинениями бросилась к нему, чтобы стереть этот сгусток, но Мирко отшатнулся, как будто вдвойне оскорбленный моим рвением, и смахнул плевок полями своей шляпы. Стася, бледная как мел, замерла с вытаращенными глазами. Зрачки расширились до предела, вбирая в себя это чудо. Нескрываемое изумление моей сестры уже граничило с наглостью.

– Чего уставилась, никогда таких, как я, не видала? – взвился Мирко.

– Ну почему же, видали мы таких, и не раз, – солгала Стася. – Нас постоянно в театр водили. На представления. Однажды гастролеры приехали – целая труппа таких, как вы.

Я нередко гадала, откуда берутся ее выдумки. Они получались естественными, как вторая натура. Меня, надо признаться, это иногда коробило, но сестра умела расположить к себе людей такого склада: враждебность Мирко тут же улетучилась. Кулаки сами собой разжались, отвращение как рукой сняло, и я увидела, насколько красиво его лицо. Такие черты бывают у молоденькой читательницы любовных романов, устремившейся мечтами к вымышленному герою. Не сомневаюсь, что Мирко сознательно использовал власть своей внешности: предоставив мне краснеть от неких глубинных ощущений, он галантно развернулся к Стасе:

– Вы не похожи на эстеток. Но думаю, посещать театры не вредно даже таким юным особам. А у вас у самих есть какие-нибудь таланты?

– Моя сестра – танцовщица, – сообщила Стася и при этом, совершив свою обычную оплошность, указала на себя.

Я схватила ее за руку и перевела жест в свою сторону.

– Вот как? – Мирко внимательно посмотрел на меня одну. – И где же ты выступала? Предлагаю скооперироваться. Доктор обожает эстрадные номера. На его приватных вечеринках мы развлекаем гостей. К примеру, Фершуера. Вы с ним еще не знакомы? Фершуер – учитель доктора. Да-да, у Менгеле тоже есть учитель. Если ты способная танцовщица, тебя, наверное, можно кое-чему научить? – Он экспромтом показал искрометный пируэт и закончил гордым поклоном. – Я потомственный танцовщик. У меня бабушка была из больших, как вы. Где только наши не выступали: перед королями, перед королевами. Конферанс умеем вести. Хотите, анекдот расскажу? Нет, честно, хотите? Вы на какую тему предпочитаете?

Не успели мы ответить, как на этого миниатюрного парня обрушилась в своей бесцветной, раскаленной злобе самая бледная девушка из всех, кого нам только доводилось встречать; белые волосы зимней пургой разметались у нее по спине. Она спикировала на Мирко и принялась его лупить, норовя при этом отдавить ему крошечные ноги. Мирко взвыл. А эта бледная и спрашивает: кто, мол, он такой, чтобы заноситься перед нормальными людьми (то есть такими, как мы с сестрой), пусть даже перед хилыми двойняшками, да еще пришлыми. Стася попыталась вступиться: объяснила, что он вовсе нам не досаждает, но уязвленная ангелица была так поглощена карательными мерами, что даже не стала слушать. Она погнала его прочь, наступая на пятки, а напоследок пару раз запустила ему в спину камнями.

– Уродина! Заснешь – берегись! – пригрозил Мирко, прежде чем скрыться за мальчишескими бараками.

– Только подойди, головастик! – прокричала в ответ его мучительница. – Ишь, подговнять мне задумал! Кишка тонка – и не такие, как ты, обламывались! Меня по утрам прямо распирает. Ужалю – мало не покажется. Только тронь меня! Только тронь!

Завершив свою тираду, ангелица победно просияла и начала раздраженно отряхивать от пыли засаленную одежку. Костюм ее составляла обтрепанная, некогда белая шелковая пижама, в которой она, худая и долговязая, напоминала соляной столб. На бледном лице выделялись глаза, обрамленные черными кругами, как у панды. Это могло показаться забавным, если не принимать в расчет, что белки глаз были красными, как розы.

Звали ее Бруна. Вернее, под таким именем она была известна в те годы. Охранники прозвали ее так с издевкой: по-немецки это значит «чернявая». Впрочем, она повернула их темные намерения в свою пользу и носила это имя с присущей только ей альбиносной бравадой.

– Тьфу на них, на карликов, – фыркнула Бруна. – По мне, калеки куда симпатичней, да и великаны тоже. Согласны?

Я уже собралась оспорить это мнение, но тут вмешалась Стася:

– Откуда у тебя такие фингалы?

Бруна гордо показала пальцем на свои лиловые круги:

– Кобыла врезала. За то, что я ее послала. А она первая начала. Был бы тут мой родной город, наша банда живо бы ей рога посшибала. По первому моему зову. А тут у меня банды нету. Скучаю за нашими пацанами. Я в главари не лезла. Но воровка из меня вышла клевая. На месте, можно сказать, не стояла. Вначале по карманам щипала, потом домушницей заделалась. А дальше и до универмагов поднялась! Вот угадайте, какая у меня самая крутая добыча была?

– Дом?

– Как его стыришь-то? Дома не крадут!

– У нас украли, – возразила моя сестра.

– У меня тоже, – призналась Бруна. – А вы не дурочки, хотя и малость с тараканами, верно? Да нет, не дом. Выше забирай – дом не убьешь. Шевелите мозгами! Ни в жизнь не угадаете. Ладно уж, скажу – лебедь! Из одесского зоосада лебедя увела! Прямо из пруда; под пальто заныкала – и ходу. Пальто у меня широченное было, чтоб на дело ходить. Нет, понятно, не такое широкое, чтоб здоровенный лебедь поместился. Этот поменьше других был, молодой видать, щипался, а домой принесла – ему у нас глянулось. Мог бы век со мной кантоваться, да не судьба.

Мы спросили: а зачем красть лебедя? Необычное какое-то преступление, да и выгода от него сомнительная.

– Город штурмом брали. Всю живность убивали, какая только на глаза попадалась. Солдатня наших собак ботинками пинала, да так, чтоб на воздух взлетали. Кое-какую скотину, лошадей к примеру, себе забирали. А что они с кошками делали – язык не поворачивается сказать. Так вот, не могла я допустить, чтоб такая красота от их рук померла. Когда к нам в дом вломились, я враз лебедю шею свернула.

Движением рук она изобразила это зверское деяние. Нам не составило труда вообразить, как она лишила жизни птицу. Мы прямо слышали хруст косточек, видели, как безжизненно поникла лебединая шея. Несомненно, у Бруны и у самой до сих пор остался в ушах этот хруст, а перед глазами – безжизненность. Красные глаза подернулись дымкой, и Бруна торопливо сунула руки в карманы, чтобы отделаться от воспоминаний об этом целенаправленном насилии. Утерев один глаз плечом пижамы, она выдавила улыбку:

– А банда наша… мы за банду говорили. Может, и небольшая, но за своих все горой стояли. Как я за вас.

– Мы тебе отплатим услугой за услугу, – пообещала Стася.

– А то как же, – ответила наша избавительница. – Будете делать все, что я скажу.

От мысли, что мы будем втянуты в преступную деятельность, у нас на лицах, по-видимому, отразилось беспокойство, потому как Бруна, понизив голос до шепота, обняла нас обеих и притянула к себе.

– Только не дрейфить, – проворковала она. – Ничего особо рискового или трудного я вам не поручу. На мокрое дело не отправлю. Но изредка попрошу кой-чего для меня организовать. Потому что вам тут многое с рук сойдет. Двойня как-никак. Можете хоть целую буханку стырить – и ничего вам не будет! Да хоть ведро баланды! Я видала – Капланы, тройняшки, аккурат такое провернули, да еще и пачку маргарина прихватили! Со мной, ясен пень, поделились – это ведь я их уму-разуму научила. Вы хоть знаете, что такое «организовать»? Это по-местному «устроить» или «достать». Организуешь с умом – будешь меняться, заживешь веселей. А иначе со скуки помрешь.

Стася удивилась: когда же тут скучать, если все время нужно быть начеку и готовиться к худшему? Бруна хмыкнула:

– Вот обживетесь тут, будут вас шприцами колоть что ни день – тогда и удивляться перестанете. Перестанете удивляться, когда вас на пленку снимать начнут и физиономии ваши срисовывать, а другие за это время и вовсе физиономий лишатся, да и туловищ заодно. – Вздохнув, она сникла, как будто ее уронили в пыль, но потом с видимым усилием расправила плечи. – Ну вот, просветила вас, а вы меня за это потешайте. Развлечение устраивайте. Фокус какой-нибудь покажите, что ли. Близняшки на фокусы горазды.

– А у тебя разве близняшки нет? – Стася, похоже, удивилась, но нелепость ее вопроса подтвердил гогот Бруны.

– Слепые, что ли? Языки прикусите, не то живо в газовку пойдете.

– Что такое «газовка»? – не поняла Стася.

Наша просветительница вдруг помрачнела и углубилась в себя.

– Да так, ничего, – в конце концов пробормотала Бруна. – Просто не старайтесь выглядеть еще слабее и глупее, чем на самом деле. Ясно? – С достоинством распрямившись, она провела рукой по лицу, чтобы подчеркнуть свою бледность. – Неужели альбиносов никогда не видали? Так вот, полюбуйтесь. Генетическая мутация.

– Значит, в этом ты похожа на него.

Стася махнула рукой в ту сторону, где скрылся Мирко, и мы увидели, как он высунул голову из-за угла мальчишеского барака: наверняка подслушивал наш разговор. Показав язык, он опять спрятался.

– Мутант! Ссунишка! Червяк! – прокричала ему Бруна, а потом обратилась к нам: – Вот еще! Ничего похожего! Я лучше! Но до вас, до близняшек, мне далеко. Вам… если одна из вас ненароком помрет, Менгеле рыдать будет и ногами топать. Вы для него покамест как мебель, товар дорогущий. Вроде как рояль, норковое манто, икра. Вам цены нету! А мы, все остальные, – так, фитюльки, ветошь, консервы.

Когда она завершила свою маленькую лекцию, причем с явным удовольствием, смакуя краткое описание наших грядущих бед, у нее перед носом закружилась черная муха, на которую обрушился новый поток брани.

– Шалава! – заорала Бруна. – Сучка! Гадина! Думаешь, тебе тоже позволено мне жизнь отравлять?

Ринувшись вперед, она погналась за насекомым, прыгнула в одну сторону, в другую, но не удержалась на ногах и белесой кучей рухнула прямо в пыль. Я наклонилась и протянула ей руку, но Бруна оттолкнула меня и как безумная воздела к небу – не к голубому простору, какой был для нас привычен, а к подпаленному серому одеялу – свое лицо в грязных потеках и синяках.

– Вот объясните, – заговорила она, провожая глазами улетающую через забор и дальше в поля муху, – каково это: когда тебя за великую ценность держат?

Я сказала, что еще не разобралась. Солгала, конечно. Это чувство, очень хорошо знакомое, жило во мне до того самого момента, когда от нас увели маму и дедушку; слегка видоизмененное, оно не исчезло до конца даже теперь, потому что Стася ценила меня больше, чем саму себя. Но не хвалиться же этим перед Бруной; она впала в такое неистовство, что уже вся тряслась. Особенно сильно дрожал указательный палец правой руки – Бруна ткнула им в сторону отдаленного здания, которое, как мы потом узнали, служило одной из лабораторий Менгеле.

– Сделай милость: когда разберешься, объясни, а? – выговорила она. – Понять охота.

сентября 1944 г.

Хлеб отшибает память. Это одна из первых истин, которыми поделилась со мной Бруна. В него добавляют большое количество брома. Суточная пайка этих сухарей туманит рассудок. Поскольку мне выпало хранить время и память, почти все свои пайки я отдавала Стасе. Пусть одна из нас, решила я, забудет как можно больше, а я с помощью Бруны найду для себя другие способы поддерживать жизнь.

Бруна звала меня Блошка-Раз, а Стасю – Блошка-Два. Тем самым она как бы застолбила свое право на обеих, но я не возражала: пусть уж лучше нас подомнет под себя Бруна, думалось мне, чем кто-нибудь другой. Она преподала мне массу полезных уроков. Например, как рвать траву на футбольном поле, как готовить из нее суп (просто томить в ковшике, чтобы только никто не видел), как заполучить этот самый ковшик. От Бруны я узнала, как подольститься к поварихе, как пронести на кухню свою добычу, чтобы организовать из нее хоть что-нибудь удобоваримое. Тут картофелина плохо лежит, там луковица завалялась, пара кусков угля, книжечка спичек, ложка. Бруна сшила для меня дерюжный карман, который велела засовывать за пояс юбки, чтобы не светиться. Довольно скоро я наловчилась хранить в этом кармане весь наш мир.

Вот интересно: что подумали бы мама и зайде о наших делишках с Бруной? На воле я бы от страха не подошла к ней на пушечный выстрел, но здесь, где процветало предательство, мы с ней сроднились и вовсю старались отплатить ей душевным теплом. Она обожала наши игры (куда более осмысленные, чем игра «копай могилу», которой забавлялось большинство ребят), жаждала отгадывать загадки, играть в «Гитлер капут» и «живую природу», хотя в систематике живых организмов не смыслила ни бельмеса и называла совершенно дикие причины, почему живое существо стоит превыше всего, приносит пользу и более достойно сохранения.

В свои семнадцать лет Бруна уже три года провела в Освенциме, а до этого ее что ни месяц перебрасывали из одного концлагеря в другой, так что она, по собственному выражению, в лагерных делах собаку съела. Тут, говорила она, жить можно, а в других местах голая земля, бетон только под сторожевыми вышками, а на них пулеметы полукружьями торчат.

– Здесь культурней, – любила повторять Бруна. – Да толку-то?

Эта Бруна постоянно искала, чем бы заняться, причем донимала не только нас. Она вечно бросалась спасать кого-нибудь одного или истязать другого, всюду совала свой нос, всеми помыкала. Могла часами стоять на перевернутой бочке у девчоночьего барака, защищая глаза от солнца козырьком ладони. Подмечала все. Если медсестре требовалось организовать что-нибудь для лазарета, Бруна была тут как тут. Если один из близнецов обижал другого, Бруна истово карала обидчика. Если Отец Близнецов хотел получить определенную книгу, одна Бруна могла ее раздобыть. Если кто-то не выказывал должной любви к социалистическому строю, Бруна тут же вколачивала в него эту любовь.

И все равно ее кипучая натура жаждала большего.

– Тоска, – объявила она на третий день нашей жизни в «Зверинце». – Развлекайте меня, девчонки. Я же учу вас уму-разуму. – Ее красные глаза уставились на меня. – Блошка-Два бахвалилась, что ты чечетку бить умеешь.

– Стася преувеличивает, – возразила я.

– Ну-ка изобрази, – скомандовала Бруна, эффектно спрыгнув с бочки. – Я искусство люблю. Жизнь свою, можно сказать, ему посвятила. Как-то раз кисточку стырила. Билеты на балет. Дюжину фарфоровых статуэток из шикарного магазина вынесла. Меня потом с ними повязали, но вынесла же! Отбыла, конечно, в колонии, раскаялась. Пострадала, одним словом, за искусство, так что вы мне должны потрафить.

Она выжидающе посмотрела на меня, а потом выковыряла из грязи несколько камешков, чтобы выровнять сцену. Я поразилась, что она не запустила ими в первую же проходившую мимо девочку, – все знали, что метательное оружие у нее живо идет в ход, – но сейчас, как видно, мысли ее были заняты другим.

– Давай, Перль. Пляши. Чтоб я чуток развеялась.

– Здесь танцевать не буду, – заупрямилась я. – Не вижу причин отплясывать.

– А ты репетируй на потом, – встряла Стася, и Бруна вытащила еще один камень. – На будущее. Ты не забыла, что за будущее отвечаю я?

– Не буду – и все.

Сложив руки на груди, Бруна прислушивалась к нашему спору. Одно это послужило ей развлечением, но Стася требовала, чтобы я упражнялась, готовясь к мирной жизни, поскольку мои способности, может статься, только и позволят нашей семье прокормиться, в мире, где разрушены города и сосчитаны мертвые, в мире, где отцы не вернулись, а дома не отстроились.

Даже такой довод на меня не подействовал, и она подняла планку. Джуди Гарленд не стала бы ломаться, заявила моя сестра. Джуди стала бы репетировать, превозмогая боль, даже если бы сбила в кровь ноги или маялась желудком, даже невзирая на головокружение и нашествие вшей.

– То – Джуди Гарленд, – запротестовала я.

Моя сестра оставалась непреклонной. Пришлось мне танцевать в пыли под аккомпанемент Стасиного художественного свиста. Свист получился слабенький, прерывистый, с паузами, но, должна признаться, он вернул меня в прошлое, и на миг я получила удовольствие от своего танца, причем такое, о каком и не мечтала в этих застенках, и с радостью танцевала бы час за часом, если бы к моим зрителям не примкнул еще один человек, непрошеный зритель, который вальяжно устроился на ближайшем пне.

Это был Таубе, молодой охранник, известный своим умением подкрадываться к женщине сзади и сворачивать ей шею: даже не охнув, несчастная лишалась жизни. У него были желтые глаза, соломенные волосы и румяные как яблоко щеки, которые при разговоре дергались на вечно каменном лице. При виде Таубе я замерла, но он дал мне знак продолжать, а сам аккуратно закинул ногу на ногу, как будто пришел в кино на долгожданный фильм. Вытащив из кармана плитку шоколада, он принялся как-то манерно отгрызать мелкие кусочки. Даже с расстояния мне были видны полукруглые надкусы и представлялась сладость, которую он смаковал.

– Работай! – приказал он, ощерив потемневшие от шоколада зубы.

Я продолжила танец. Старалась вообразить, что смотрит на меня вовсе не Таубе, а совсем другой зритель.

– Быстрее! – распорядился он.

Пяткой и носком я вздымала пыль. Думала, если ускорять темп и полностью выкладываться, он вообще не отстанет. Но вдруг, к моему облегчению, Таубе гаркнул:

– Хорош!

Я остановилась. Но щеки-яблоки досадливо задергались. Видимо, я не так поняла его команду.

– Да я не тебе! Пляши давай. Я вот этой! – Он указал на Стасю. – Тоже мне свистулька нашлась!

Захлопнув рот, Стася исподволь подняла руки, чтобы зажать уши. Я видела, что ее тревожит стук моих ног по земле. Сестра испытывала то же, что и я: боль, усталость. Дрогнувшим от страха голосом она попросила Таубе дать мне передышку.

– У Перль, однако, талант. Разве нет?

– Еще какой, – выдавила Стася.

Она неотрывно смотрела себе на ноги; я понимала, что у нее дрожат коленки, как и у меня.

Может, мне хватило бы сил продержаться и дольше, но зрелище Стасиных мучений меня подкосило, и я рухнула на землю. Таубе оттолкнул Бруну, которая протянула мне руку, схватил меня за пояс юбки, протащил по пыльной земле и водрузил на пень, а сам отступил назад, чтобы разглядеть с выгодного расстояния, как безделушку на полке, и захлопал. Чувство было такое, будто у него между ладонями болтаются наши сердца, подвешенные на веревочках.

– Девчонки, а вы знаете Зару Леандер? В фильме «Средь шумного бала» снималась, про Чайковского? Лучшая актриса Германии, – заговорил он, прекратив издевательские аплодисменты.

Мы такую не знали, но признаться не решились. Вместо этого мы начали превозносить ее красоту и талант. Растаяв, Таубе осклабился, будто восхваляли не далекую кинозвезду, а его самого.

– Зара – добрая знакомая нашей семьи, она всегда ищет для себя протеже. Я под впечатлением. – Он потрепал меня одним пальцем по щеке. – У тебя отличные ножки, а я слышал, Зара хочет сама поставить музыкальный фильм. Если будешь стараться, то, возможно, достигнешь такого уровня, который позволит мне составить тебе протекцию. Вот был бы подарок судьбы, а?

– Наверное, – решилась я.

– Какая удача, что мы здесь повстречались, – продолжал он. Его физиономия силилась изобразить доброжелательность и восторг. – Пойду звонить фройляйн Леандер. Уверен, она без колебаний сядет на самолет и выдернет тебя отсюда – не пройдет и часа.

От нас ожидался ответ.

– Возможно, – сказала я.

– Возможно? Почему такая вялая реакция? Где убежденность, где решимость? Ты уже должна бежать сломя голову вещички собирать! Чего тянуть-то? Разве не понятно, какое будущее тебя ждет?

Только теперь я заметила, что поблизости стоят трое других охранников, потешаясь над этим спектаклем. Они покатились со смеху, да так, что выронили зажатые в зубах сигареты. От этого гогота, наложившегося на изнеможение от танца, у меня началось удушье. Один из троицы в тревоге бросился ко мне – все знали, что Менгеле сурово расправляется с охранниками, если те не уберегли кого-нибудь из близнецов, – и легонько похлопал меня по спине.

– Будем надеяться, доктор не узнает, – предостерег один из его товарищей.

– Уж и пошутить нельзя. – Таубе пожал плечами. – Евреи любят шутки, а еще больше – анекдоты про самих себя. Вы еще не в курсе?

Властно положив руку мне на плечо, он стал меня трясти, да так, что я прикусила язык.

– Любишь посмеяться, а? Ну-ка, смейся, а я послушаю.

Я не собиралась ему перечить, но даже пикнуть не успела, как рядом со мной хохотнула Бруна. С преувеличенным рвением она стала грубо ржать и фыркать.

– А ты заткнись! – На этот раз физиономия Таубе вся целиком задергалась от омерзения. – Коммунистам смеяться не положено!

Он, Таубе, заглатывал любую наживку. Быстрая на выдумку Бруна захохотала в полный голос и бросилась наутек, а Таубе, как пес, припустил за ней, почуяв новую, более заманчивую дичь. Раскатами своего хохота она уводила его от нас.

Это был самый благородный поступок из всех, которые она совершила в Освенциме, но тот случай навсегда отбил у меня охоту смеяться.

Когда охранники убрались прочь, Стася примостилась рядом со мной. Надела мне туфли, рукавом вытерла мои слезы. Проку от этого не было, она и сама понимала. Рассудив, что меня смогут приободрить только наши старые игры, она пересела, чтобы мы оказались спиной к спине, позвоночником к позвоночнику, поясницей к пояснице. Это была игра из нашего раннего детства. Мы одновременно рисовали первое, что придет в голову, а потом сверяли рисунки, чтобы убедиться в их совпадении.

Найдя палочки, мы стали рисовать на пыльной земле. Сперва изобразили птиц. Сверили. Получилось одинаково. Потом над птицами повисли луна и звезды. Точь-в-точь. Добавились кораблики. Добавились города. Большие и маленькие города, непотревоженные, без гетто. Из городов выходили дороги. Все наши дороги вели в одну сторону.

А потом, нежданно-негаданно, я перестала понимать, куда двигаться дальше и что рисовать. В голове образовалась пустота, но я слышала, как сестра не прерываясь царапает по земле палкой. Пришлось подсмотреть через плечо. К сожалению, движением спины я выдала свои намерения.

– Почему ты жилишь? – напустилась на меня сестра.

– С чего ты взяла, что я жилю?

– Я же чувствую, ты шевельнулась. Подглядела.

Опровергать это обвинение не имело смысла.

– Потому что ты особенная? Да ведь нас уже поменяли местами.

В ее словах была доля истины, но мне не хотелось это признавать.

– Неправда, – возразила я. – Мы все те же. Давай попробуем еще разок.

Мы бы и рады были попробовать сызнова, мы бы пробовали до бесконечности, но, прежде чем у нас появилась возможность попробовать хотя бы раз, невдалеке остановился белый фургон с красным крестом на борту. На подножку спустилась лаборантка Эльма. Ее движения были так изящны и выверены, словно она шествовала по трапу круизного лайнера. Про эту персону нам рассказывали в «Зверинце», но вживую мы увидели ее только теперь.

Стася, проследив за Эльмой, нарисовала в грязи пулю. Я тоже принялась рисовать пули, все быстрее и быстрее. С каждым шагом Эльмы пули множились.

Я старалась на нее не смотреть, а сосредоточиться только на тени, которая падала от нее на наши рисунки, но Эльма не оставила мне выбора. Присев на корточки, она приблизила свою напудренную физиономию едва ли не вплотную к моему лицу и потянула меня за кончик носа, как бесчувственную резиновую куклу. Внешность Эльмы была отмечена хищной резкостью, которая, как позже заметила Стася, выдавала эволюционную способность выслеживать добычу в темноте, но в тот миг, когда лаборантка оказалась так близко, что едва не впивалась в меня зубами, я видела только ее фальшивую красоту: обесцвеченные волосы, взбитый, как меренга, кок и – кровь на снегу – неестественно алый рот.

– Большие девочки, а в грязи копошитесь – не стыдно? – спросила Эльма, для острастки дернув меня за нос.

Мы не знали, как отвечать, но Эльма и не рассчитывала на ответ. Она просто любовалась своей изящной тенью, накрывшей рисунки. Развернувшись под выгодным углом, чтобы охватить общий вид, она полюбовалась собой, а потом наклонилась и стала пристально разглядывать картинки на грязной земле.

– Это что? – Она указала на пули.

– Это слезинки, – ответила Стася.

Склонив голову набок, лаборантка Эльма усмехнулась. Думаю, она поняла, что никакие это не слезинки, а пули. При этом ее, как видно, подкупила наша изобретательность, потому что она даже не сделала нам больно, когда разом вздернула обеих за шиворот и потащила к фургону с красным крестом, как тащат котят к ведру с водой, не получив еще разрешения их утопить.

Стася

Глава третья. Бессмертная Крошка

Хочу, чтобы вы представили себе эти глаза. Сотни застывших глаз. Они смотрят в упор – и не видят, а если встретиться с ними взглядом, возникает такое ощущение, будто небеса стучат прямо в спину, чтобы вы не забывались.

Именно в тот день, когда меня настиг этот взгляд, я изменилась, стала отличаться от Перль.

Но прежде чем рассказывать о глазах, нужно сперва описать его лаборатории. Там были отсеки для забора крови, рентгеновские кабинеты. Один корпус, расположенный возле крематория, мы не видели: в нем хранились трупы. Мирко уверял, что как-то раз, грохнувшись в обморок, и сам туда угодил. А очнувшись, сообразил, что Дядя Доктор делает ему массаж сердца, и понял, что будет жить. Многие думали, что Мирко привирает, но всем недоверчивым он отвечал: «Такое с каждым может случиться!» – а те молились, чтобы с ними такого не произошло.

В лаборатории никто сам не приходил: нас доставляли туда по вторникам и четвергам на шесть часов в день. Там присутствовали не только врачи и медсестры, но и фотографы, и рентгенотехники, и художники с кистями, готовые запечатлеть все наши особенности для последующих медицинских заключений Дяди Доктора. Работа ассистентов медперсонала превращала нас в череду картин, снимков и конторских папок.

Взятый у нас биологический материал окрашивали, наносили на пару предметных стекол, а затем помещали под окуляр микроскопа, где он вращался, подсвечивался и жил своей жизнью.

Поздними вечерами, когда Перль крепко спала и сознанием была далеко от меня, я часто думала об этих крошечных образцах: живы ли в них частицы нас с сестрой. Не противны ли эти частицы сами себе, гадала я. Мне казалось, они должны себя ненавидеть за участие в опытах. Так и хотелось им внушить: с вас какой спрос, вы ведь не по своей воле… вас похитили, принудили, обрекли на муки. Но, спохватившись, я понимала, как ничтожно мое влияние на эти частички: отделенные от меня, они подчинялись только законам природы, науки и велениям того, кто называл себя Дядей. Сделать хоть что-нибудь для их несметного микроскопического множества было мне не по плечу.

В первый раз перед взятием проб нас вела по коридорам именно лаборантка Эльма. Она подгоняла нас тычками пальцев, острые ногти впивались нам в спины; сверху доносилось ее дыхание, а ноздри щекотал парфюмерный аромат, из-за которого Эльма казалась милее, чем на самом деле. Ведя нас мимо череды дверей, она вдруг наступила мне на пятку, я споткнулась и мешком рухнула на пол. А когда подняла взгляд, надо мной высилась доктор Мири.

– Вставай, вставай, – поторопила она.

В спешке доктор Мири протянула мне руку. Рука была в перчатке, но я все же почувствовала ее тепло, испытала радость прикосновения, но потом увидела, что врач раскаивается из-за этого жеста. Отшатнувшись, она спрятала руку в карман. Тогда я решила, что она сожалеет об этом прикосновении из-за того, что любая доброжелательность могла скомпрометировать ее в глазах коллег вроде Эльмы. Лишь годы спустя до меня дошло, что у ее раскаяния были другие истоки: она готовила детей для Дядиных опытов. Можно сказать, настраивала арфу для того, кто перебирает струны ножом, или переплетала книгу для того, кто собирается ее сжечь.

Но тогда, оставаясь, в сущности, пигалицей, которая прячется в полах дедушкиного пальто, но робко притворяется взрослой, понять этого я не могла. Там, в лаборатории, я знала только, что при нас постоянно находятся две женщины, занимавшие непонятные строчки в Систематике Живой Природы. Поскольку их мягкие формы скрывала защитная оболочка, создавалось впечатление, будто обе полностью лишены чувств. В отношении лаборантки Эльмы так оно и было: та словно носила на себе экзоскелет с торчавшими наружу шипами и выростами – этакое идеальное, ухоженное членистоногое. Я считала, что она просто такой уродилась – бесчувственной ко всему, что ее окружало. У доктора Мири панцирь был иного вида: хотя ее покрывали золотые пластины, защищали они плохо и не отражали всех ударов, однако, подобно морской звезде, доктор обладала удивительной способностью к регенерации. При соприкосновении с горем любая частица ее разрасталась втрое, а ткани множились и развивались в совершенную плоть, наделенную особым даром выживания.

– Интересно, скоро я научусь быть такой же? – Я не собиралась произносить этого вслух, но получилось именно так, поскольку Эльма схватила меня за плечо и хорошенько тряхнула.

– Ты обо мне? – рявкнула она.

– Нет, о ней. – Я указала пальцем на доктора Мири; та покраснела.

Улавливая перепады настроения лаборантки Эльмы, доктор исподволь вступалась за нас.

– Просто у нее мечта – стать врачом, как я, – сказала она, красноречивым взглядом требуя ей подыграть. – Так ведь?

Я кивнула и начала перекатываться с пятки на носок, из-за чего сделалась совсем маленькой и трогательной. Уж не знаю почему, но на всех это действовало. Этой уловкой пользовались и Перль, и Ширли Темпл; сработала она и теперь – лаборантка разжала пальцы.

– Ладно уж, – бросила она, тарабаня костяшками пальцев по моей макушке. – Ты, главное, старайся, – глядишь, и выйдет из тебя великий доктор. Тут у нас все возможно, так ведь?

Вы, наверное, не поверите, но от необходимости отвечать на этот дурацкий вопрос меня спасла погода. Мы услышали стук по стеклу, будто тысячи крошечных кулачков забарабанили в распахнутые створки окон. На пол сыпались градины; вокруг, задвигая шпингалеты на рамах, заметались врачи и медсестры. Я представила, что в небе раскрылись мириады моллюсков и выпустили в коридоры лаборатории драгоценные жемчужины – прекрасные, как имя моей сестры.

В этой белой грозовой суматохе про нас все забыли, и тут мое внимание привлекла комната с приоткрытой дверью на расстоянии вытянутой руки. Я сделала шажок вперед, чтобы заглянуть внутрь. Сквозь щель виднелись книжные стеллажи от пола до потолка, и у меня возникло нестерпимое желание стащить хоть какую-нибудь книгу. В книге из лаборатории наверняка содержались рекомендации, как помочь своему организму выжить в здешних условиях, как укрепить его, как избавить от боли. Ни разу еще книги меня не подводили. Выстоять без таких помощников под рукой нечего было и думать.

На цыпочках я подкралась к порогу, легонько надавила на дверную ручку, но влажная от пота ладонь соскользнула – и дверь со скрипом отворилась. Тут подскочила Эльма, в шапочке набекрень, и резко оттащила меня от дверного проема, отчего дверь и вовсе распахнулась настежь. И вот тогда-то я и увидела эти глаза; точнее, глаза увидели меня.

Точнее описать этот обмен взглядами не берусь.

Скажу только, что с противоположной стены на меня взирали ряды глаз. Проколотые сквозь радужку булавками, они крепились над столом в строгом порядке, как дети на перекличке. Все – осенних цветов: зеленые, светло– и темно-карие, желтоватые. С краю застыл один-единственный голубой. Все глаза будто увяли, как увядает некогда живая природа: радужки подернулись чешуйками, которые слегка шевелило сквозняком. Точно в центре каждого глаза поблескивала серебристая булавочная головка.

Будучи совсем еще ребенком, я все же имела представление о жестокости. У жестокости есть предел, цвет и запах. Ее описывают в книгах, показывают в кинохронике, но напрямую она предстала передо мной лишь в тот миг, когда я увидела окровавленного зайде: он вернулся в наше подвальное жилище в гетто, зажимая нос окровавленной тряпкой, и мама, не произнося ни звука, оторвала подол своей ночной рубашки, чтобы сделать ему перевязку. Все это время Перль держала лампу, чтобы посветить маме, а меня так трясло, что я даже не могла помочь. Можно было бы, вероятно, сказать, что на моих глазах вершилась и жестокость над мамой: к нашим дверям пришел охранник, чтобы сообщить об исчезновении отца, но я крепко зажмурилась и не открывала глаз, а Перль все время смотрела прямо перед собой.

Поскольку на все происходящее смотрела только моя сестра, для меня эти картины были вторичны, будто выжжены на моих веках: вот мама упала на пол, вот начищенный ботинок охранника врезался ей в бок. Перль злилась, что я отказываюсь быть активной свидетельницей, и заставляла меня впитывать все без исключения, а когда я молила избавить меня от подобных зрелищ, сестра приказывала мне помалкивать, потому как сама никогда, ни при каких условиях, как бы мне это ни претило, не отводила взгляда, ведь, отворачиваясь, человек, по ее словам, рискует потерять себя настолько, что эта потеря уже будет называться иначе.

Так что да, жестокость я могла себе представить. По крайней мере, в достаточной степени, чтобы сообразить, откуда взялись эти глаза. Я поняла, что их вырвали у людей, достойных увидеть нечто лучшее, чем предсмертные муки. И притом что я не имела понятия, каким может быть самое прекрасное видение на свете, мне захотелось показать его тем несчастным. Пройти весь мир, через моря, через горы, и принести им вещицу, животное, пейзаж, инструмент, человека – что угодно, только бы убедить их в том, что, несмотря на торжество жестокости, красота еще жива и помнит каждого из них. Осознавая тщетность своих мечтаний, я поделилась с глазами тем единственным, что было в моей власти: по щеке у меня скользнула слеза.

– Рассопливилась? – напустилась на меня лаборантка Эльма.

Дверь захлопнулась, но заметить мою слезинку глаза успели.

– Мы никогда не плачем, – сказала я.

– Твоя сестра не плачет, – кивнув белесой головой в сторону Перль, она склонилась к моему лицу, – а ты нюни распустила. Что ты там увидела?

По правде говоря, я не сумела бы описать увиденное. Но знала, что отныне эти глаза будут меня преследовать до конца моих дней – широко раскрытые, немигающие, светящиеся надеждой на другую участь. Знала, что взгляд их будет становиться особенно пристальным от любой вести о рождении малыша, совершении брака или возвращении пропавшего без вести. Я знала, что в минуты отдыха буду пытаться сомкнуть веки, но тонкий промежуток останется навсегда. Полностью закрытые глаза – не наш удел.

– Ничего не видела, – запротестовала я.

После суматохи из-за града Эльма покрылась каплями пота, которые сбегали по лицу и одна за другой падали на пол; тем не менее лаборантка держалась своей обычной тактики.

– Ты явно что-то видела, – заладила она, встряхивая меня за плечо. – Просто хочу убедиться, что мы видели одно и то же. Мне надо знать точно: я не допущу, чтобы ты пугала других детей своими россказнями. Не отпирайся: такие, как ты, любят приврать! Была тут одна девчонка, тоже много болтала о том, что видела… сплошное вранье… и знаешь, что с ней приключилось?

Нет, я не знала – и прямо сказала об этом лаборантке Эльме.

– Сейчас уже в подробностях не помню. Да и как упомнишь? Вас тут много, а я одна. Но заруби себе на носу: всякие бредни до добра не доведут. Соображаешь, к чему я клоню?

Я кивнула. Кивок этот имел двойную цель: с одной стороны, он помог мне заручиться одобрением Эльмы, а с другой – скрыть вторую слезу, скатившуюся по щеке.

– А теперь говори: что ты видела в той комнате?

Подыскивая приемлемый ответ, я так и видела перед собой вереницу глаз на стене: даже пригвожденные к месту, они сохранили свои чудесные цвета и переменчивую оживленность, а покрывшая их пыль походила на цветочную пыльцу. Многие из них, вероятно, проделали долгий путь. Для сохранности их обработали от вредителей. А до этого заманили, поймали, заморили голодом, вынудили подчиниться, а потом, когда в них почти не осталось жизни, поочередно прикололи к стене, как диковинки для подробного изучения.

– Бабочек! – выпалила я. – Я видела бабочек. Только бабочек. Это вовсе не глаза были. Просто бабочки.

– Бабочки?

– Да. Ряды бабочек. Класс насекомых. Отряд чешуекрылые, или лепидоптера.

Эльма приподняла пальцем мой подбородок. Я подумала: сейчас разорвет меня надвое, а она вдруг отстранилась и поправила усталым, надменным тоном:

– Откуда там бабочки? Это жуки. Доктор не один год собирает коллекцию жуков. Понятно?

Я подтвердила, что мне все понятно.

– Там жуки, Стася, и я должна услышать это от тебя. Ты плохо истолковала увиденное. Исправь свою ошибку, чтобы Перль тоже поняла.

– В той комнате – жуки, – обратилась я к сестре, не глядя ей в лицо.

– Нет, не верю.

– Я видела жуков, и больше ничего. Не бабочек. Только жуков. Отряд жесткокрылые, или колеоптера. С двумя парами крыльев.

Эльма удовлетворилась моим ответом, развернулась и легкой походкой зашагала дальше, взбодрившись от учиненного допроса. В конце коридора она распахнула перед нами дверь, за которой нам суждено было измениться навсегда. Легче всего сказать, что таких дверей немало в жизни каждого. Вы тоже могли бы указать: вот она, эта дверь, за которой я влюбилась. Или: за той дверью до меня дошло, что моя личность не ограничивается моей тоской, гордостью, силой. Не хочу показаться высокомерной, напротив – я бы многое отдала, чтобы такие двери оказались по-настоящему важными.

Но в Освенциме я обнаружила, что по-настоящему мы меняемся лишь за той дверью, которая делает нас полностью бесчувственными. Она будто приглашает: Заходи, присядь, тут нет боли, твоих страданий не существует, а твои мытарства? Они лишь чуток реальнее, чем ты сама. Спасайся бесчувствием, советует эта дверь, а если так уж необходимо тебе сохранить чувствительность, то виду не подавай, чтобы не вынести себе приговор.

В том кабинете Эльма приказала нам раздеться. Сшитые нашей мамой платья оказались у нее в руках; она с презрением осмотрела земляничный узор. Один вид этих ягод был ей отвратителен.

– Детский сад, – произнесла она, ткнув красным ногтем в земляничину. – Самим-то неужели нравится быть детьми?

– Нравится, – ответили мы.

Это было последнее слово, которое мы произнесли в один голос. Жаль, что тогда я этого не знала, но меня переполняло желание угодить лаборантке, чья напудренная физиономия выражала очевидное недоверие.

– Занятно. Это почему?

– Мне никогда не хотелось повзрослеть, – объяснила я.

По правде, так и было. Взросление таило в себе риск отдалиться от Перль.

Рот лаборантки Эльмы растянулся в абсолютно прямой улыбке.

– Тогда здесь для вас подходящее место, – заключила она.

Да, как же я тогда не догадалась, на что она намекает? Но было в Эльме нечто такое, отчего у меня внутри все переворачивалось; при ней я теряла способность мыслить. Эльма усадила нас на стулья – металлические спинки оказались ледяными; нас даже зазнобило. Вначале сковало холодом, затем бросило в жар. Перед глазами поплыл туман. Я хорошо знала это ощущение. Оно всегда вызывалось жестокостью. Пока Эльма, отложив подальше наши вещи, раскладывала на подносе измерительные приборы, я убеждала себя, что не так уж она жестока, но образ ее столь прочно укоренился в моем сознании, что даже сила воображения не могла изменить его к лучшему. Она вся состояла из острых углов и непререкаемости. Кто-то усмотрел бы в этом признак сильной личности. Я и сама охотно бы так думала, если бы решила проявить великодушие и незлобивость. Но совершенно очевидно, что основным ее качеством была пустота, настолько необъятная, что граничила с мощью.

Возможно, подумала я, сумей мы к ней подольститься, она подобреет.

– Скажи ей, что она красивая, – шепнула я сестре.

– Сама скажи, если так считаешь.

Лаборантка Эльма словно почувствовала наши душевные потуги найти в ней хорошее, потому что она перешла к противоположной стене и принялась начищать серебряные ножнички, которые блестели под пучком света, падавшего из небольшого квадратного окошка под потолком. Свет, на взгляд раздетых догола девочек, оказался чересчур ярким. Мы скрестили ноги и прикрыли руками соски, изо всех сил сжимая признаки взросления, будто надеялись, что они почувствуют свою неуместность и в одночасье рассосутся сами по себе.

– Они боятся тебя больше, чем ты их, – прошептала я сестре на ухо: нам оставалось только шутить.

Перль захихикала, а следом и я. Наши смешки, естественно, разозлили Эльму. Она с лязгом швырнула ножнички на операционный стол.

– Вы видите, чтобы другие дети смеялись?

Нет, мы этого не видели. Вообще говоря, мы попросту не заметили других детей: странность этого кабинета притупила наше восприятие. Но с подачи Эльмы нам стало ясно, что здесь мы не одни.

В комнате было еще пятеро ребят.

Лино и Артур Аммерлинги, десятилетние близнецы из Галисии, вновь прибывшие, как и мы, а потому презираемые «старенькими». Одна девочка из «стареньких» (Хедва, которая спала через три койки от нас и пользовалась большим уважением в «Зверинце», поскольку прожила там дольше других и не пасовала перед Кобылой) распустила слух, что Аммерлинги – вовсе не близнецы, а только вид делают, чтобы получить все положенные привилегии. По ее словам, Отец Близнецов уже проделывал такие фокусы, подменяя документы, чтобы в статусе близнецов мальчишки могли уцелеть. В доказательство подобного самозванства Хедва приводила их разный цвет волос: Лино, дескать, рыжий, Артур – чернявый. И все-таки они были близнецами. Это бросалось в глаза уже по тому, как они сидели на стульях. С их лиц не сходило одинаковое выражение ужаса. Братья одинаково вздрагивали, когда медсестры замеряли все черты их внешности, не упуская ни одной детали, указывающей на абсолютную схожесть: пересчитывали им ресницы, волоски на бровях, крапинки на радужке, отмечали ямочки на щеках и коленках. Их складывали, вычитали, сопоставляли – человеческие уравнения, которые только поеживались на стульях.

Еще там оказались Маргит и Ленси Кляйн из Венгрии. Шести лет от роду. Всякий раз, когда нам с Перль становилось особенно тоскливо, мы думали об этих девочках, вспоминая свое раннее детство: мы точно так же ходили под ручку, хранили кучу секретов на двоих, а порой вредничали. Они по очереди до блеска расчесывали друг другу волосы пальцами и умели свистеть в травинки. Перед расставанием мать наказала близняшкам непременно повязывать лиловые ленты, чтобы она могла сразу опознать их в толпе, поэтому каждый день они первым делом затягивали банты, которые торчали ушками. Мы смотрели, как медсестры размечают красными чернилами определенные участки их бледной, покрытой мурашками кожи: что-то обводили то тут, то там, словно вычерчивали бассейны алых рек.

Пятый подопытный, стоя в сторонке, сосал большой палец. Лет тринадцати, а может, тридцати пяти или шестидесяти, он выглядел изнуренным человечком без возраста.

Приставленная к нему медсестра со скучающим видом перелистывала его амбулаторную карту. На столе перед ней лежали две папки, две стопки фотографий, два комплекта диаграмм с измерениями, два конверта для рентгеновских снимков. Но мальчик был только один. Мелкий, хилый, субтильный, с неправильным прикусом: верхние клыки неровным забором находили на губу. Пряди белесых волос лезли ему в глаза; он мог фокусировать взгляд только на потолке. На тщедушном тельце причудливым рисунком выступали вены, отчего под тусклыми больничными лампочками его кожа приобретала мертвенный оттенок. Продрогший, измученный, он был почти синюшного цвета.

Я надеялась, что он почувствует мой взгляд и тоже станет на меня глазеть, как свойственно близнецам, но мальчик лишь зашелся кашлем, даже не пытаясь скрыть свой недуг. Нахмурившись, медсестра недовольно покосилась в его сторону, а затем убрала в коробку половину всех документов. Это явно взволновало ее подопечного. Тот пошатнулся от дрожи в коленках и едва не рухнул, но с кладбищенским трепетом уставился на коробку, а затем потянулся, чтобы дотронуться до крышки, однако сестра шлепнула его по руке, он отпрянул, как раненый зверек, и опять сунул в рот большой палец.

Медсестра объявила, что на сегодня они закончили, и, сунув обноски прямо в его впалую грудь, велела одеваться, но он отказался принимать свою одежду, как будто решив, что держать уже нечего, кроме пальца во рту. В ярости сестра швырнула лохмотья ему под ноги и отошла. А он так и остался стоять, голый, синюшный, не подчинявшийся приказам. Повернулся он лишь для того, чтобы кашлянуть в ее сторону; вот тогда-то наши взгляды наконец встретились.

Заметив его дружеский кивок, но не успев ответить тем же, я поспешила отвернуться. Невыносимо было думать о том, что он пережил и какой это был ужас, на который намекал пустой стул рядом с ним.

– Я тебя понимаю, – сказал мальчик пустому стулу. – Но наш отец, будь он здесь, сказал бы: «Как аукнется, так и откликнется». А мама, окажись она здесь, сказала бы… – Тут он снова зашелся кашлем.

Благодаря этому мальчику и пустому стулу рядом с ним я твердо решила, что стану рядовой подопытной свинкой. Пусть я не так умна, как Дядя Доктор, но способна втайне отмечать его манипуляции, учиться медицине и использовать его в своих интересах. У Перль были танцы – ими она займется в будущем, а мне нужны были собственные устремления. В конце концов, когда кончится война, кому-то надо будет заботиться о людях. Кому-то придется находить пропавших и соединять половинки. Почему бы этим не заняться мне?

Я задумала начать практиковаться на этом мальчике. Прежде всего дала ему имя: Пациент Синюшный. Насколько позволяло расстояние, внимательно изучила его особые приметы, но мысли мои прервал резкий свист.

Дядя Доктор. Он двигался пружинистой походкой, в облаке запахов мяты и крахмала. Длинные полы его халата обмахивали все поверхности, встречавшиеся на пути. Я уже знала, что он считает себя мастером художественного свиста, а также прекрасным знатоком гигиены, искусства и литературы. Хотя насвистывал он и впрямь безупречно, звуки эти были напрочь лишены эмоций. Даже сложные переливы звучали монотонно, пусто, бесчувственно.

Я попыталась воспроизвести его невыразительный свист, но все напрасно: из моих вытянутых трубочкой губ вылетали только брызги слюны.

Заметив мою неудачу, Дядя улыбнулся. Человеку со стороны эта усмешка могла бы показаться безобидной, но от одного ее вида я вздрогнула. Ведь мы находились в его лаборатории для экспериментов, отчасти имевших целью выявить наши слабые места и отмерить нам земной срок. Вполне возможно, один из таких опытов предполагал выяснить, насколько хорошо мы свистим. Нацистов отличали глупые и беспощадные представления о том, каким должен быть человек, – уж это я усвоила твердо, а потому не могла недооценивать их выверты.

– У меня хорошо получается свистеть, – заверила я Дядю. – Честное слово. Как раз пару часов назад упражнялась.

Но ему было все равно: пропустив мои слова мимо ушей, он повернулся к одной из ассистенток.

Перль побледнела от страха; я тоже. Конечно, мой промах стал приговором для нас обеих. В защиту я приготовилась перечислить Доктору все наши прочие дарования, но подумала, что не стоит козырять склонностями Перль к игре на пианино, танцам и декламации стихов. Я решила самоутвердиться другим путем.

– «Голубой Дунай», – объявила я на все помещение.

Мой план сработал. Дядя с любопытством обернулся:

– Что ты сказала?

– Так называется вещь, которую вы насвистывали, когда вошли. Вальс. Называется «На прекрасном Голубом Дунае».

Лицо Дяди расплылось в довольной ухмылке. Он даже дернул меня за косичку, почти как школьник.

– Ты разбираешься в музыке?

Под его пронзительным взглядом я поежилась. Можно было подумать, у него нет других подопытных.

– Перль здорово танцует, – сказала я.

– А ты сама, – он указал на меня пальцем, – пианистка?

– Я хочу стать врачом.

– Как я? – уточнил он с улыбкой.

– Как наш папа, – ответила я.

Впервые после исчезновения отца я произнесла это слово – всего четыре буквы, всего два слога, согласные твердые, а звучат мягко, как шаги со ступеньки на песок. Я пыталась придать этому слову новые значения, чтобы стереть старое, чтобы слово «папа» означало траншею, мгновение, библиотечную фальшпанель, за которую можно спрятаться, чтобы никто не нашел. Произнеся это слово, я погрузилась в себя, но Дядя был так польщен, что ничего не заметил; думаю, вместо «как наш папа» ему послышалось «как вы, именно вы, Дядя», потому что он весь просиял, и я узнала этот горделивый взгляд.

– Врачом? Поразительно! – сказал он, обращаясь к медперсоналу. – Смышленая девочка.

Лаборантка Эльма, всем своим видом выражая сомнение, все же кивнула и продолжила обрабатывать инструменты.

Дядя прошел к раковине и стал мыть руки. Поймав свое отражение на поверхности металлического шкафа, он слегка осклабился, а потом заметил выбившуюся прядку и начал старательно расчесываться, как будто укрощение непослушных волосков могло привнести в его мир желанную симметрию.

Добившись требуемого результата, он убрал расческу в футляр, снова засвистел и кивком потребовал у санитара стул. Прежде чем сесть, Доктор прошелся по сиденью носовым платком, с особой брезгливостью оттер какое-то пятнышко, а затем торжественно расположился перед нами. Можно было подумать, он после долгих странствий пришел на семейный сбор и жаждет узнать, как сложилась жизнь его родных, но свою историю предпочитает хранить в тайне. Создавалось ощущение, что с нами ему хочется чувствовать себя непринужденно, поэтому я улыбнулась. Наверняка улыбка вышла не очень теплой, но в ней он увидел попытку его задобрить, а еще – мою слабину.

Он пошлепал нас по коленкам, покрытым синяками после нескольких суток в скотовозке:

– Я тут подумываю устроить концерт. Вы поддержите это начинание, а, девочки?

Мы дружно кивнули.

– Тогда решено! Заказывайте каждая свою любимую мелодию. Или нет, пожалеем музыкантов: пусть дважды сыграют одно и то же!

Он посмеялся собственной шутке. Я тоже посмеялась, чтобы замаскировать свой страх, да и Перль не отставала. В лагере мы уже научились согласовывать свои действия, наши сердца бились в такт, обеспечивая нам защиту. Но мое сердце, видимо, на такт отстало, потому что в следующий миг я, не подумав, ляпнула какую-то глупость в своем духе.

– Говорят, вы сохраняете жизнь семьям близнецов, – выпалила я, опустив голову.

Заметив мою оплошность, Перль пнула ножку моего стула, чтобы я не забыла попросить прощения.

– Не извиняйся, – мягко сказал Дядя, проводя по моей щеке тыльной стороной ладони.

Интересно, говорил ли он так другим, до нас, ведь в его устах эти слова звучали неестественно. Уголок рта слегка дернулся, и Доктор закусил кончик уса. Довольно странная привычка для такого собранного человека, я бы сказала, дурная, ни дать ни взять – жвачное животное, но позже мне стало известно, что у него это свидетельствовало о тщательном выборе слов. Немного подумав, он освободил свой ус и веско произнес:

– Я действительно принимаю участие в судьбе таких семей. Могу ли я что-нибудь сделать для ваших родных?

Мы рассказали ему, что наш зайде, хоть с виду и стар, в душе молод, обладает широким кругозором и пытливым умом. В скотовозке он взял с нас слово сделать две вещи: во-первых, научиться плавать, а во-вторых, выжить и сказать за него тост, предварительно раздобыв большущую бутыль доброго вина. Произнося тост, нужно непременно призвать к уничтожению убийц и пожелать, чтобы все они оказались в миллионе домов с тысячами комнат, в каждой из которых будут сотни кроватей, а под ними – ядовитые змеи, чтобы жалить дьявольские лодыжки; мало этого, у каждой постели будет стоять врач с противоядием, чтобы поддерживать в супостатах жизнь для новых укусов, новых мучений – и так до тех пор, пока змеям не надоест плоть нацистов, а такое невозможно, ибо все знают, что змея никогда не пресытится горечью зла.

В конце этой тирады Перль сверкнула глазами и неловко поерзала, но Дядя хранил полную невозмутимость, как будто вообще ничего не слышал. Пожевав ус, он продолжил задавать вопросы:

– Ваш дедушка любит плавать?

Еще как, подтвердили мы. Зайде плавает и ныряет как рыба.

– Итак, решено. Вообразите, у нас тут есть плавательный бассейн. Я договорюсь, чтобы вашего деда проводили, и предупрежу блоковых.

Я добавила, что зайде понадобятся плавки.

– Ну конечно! Как я мог забыть? Вряд ли он захватил с собой купальные трусы. Разве можно допустить, чтобы дед голым задом распугивал других пловцов, а?

Мысль о голом дедушке не показалась мне смешной, но Дядя захохотал, а я подхватила, хотя Перль явно этого не одобряла. Оставалось надеяться, что мой смех она расценит как тактическую хитрость, ведь я, умолкнув, обратилась к Доктору с новой просьбой.

– Можно попросить еще кое-что? – сказала я. – Для мамы.

– Я слушаю.

– Наша мама… она… – У меня перехватило дыхание, потому что при мысли о маме на меня нахлынула пустота.

– Ну-ну?

– Она владеет и карандашом, и красками. В основном изображает животных и растения. Как бы пишет историю видов – и современных, и вымерших. Это доставляет ей радость.

Я старалась выражаться обтекаемо. Вряд ли маму очень радовало это занятие, но плакала она точно меньше. Мне вспомнился мак на стене скотовозки, нежные лепестки которого служили ей утешением. Но делиться с Дядей такими подробностями явно не стоило. Лицо его грозило вот-вот принять выражение скуки, а торговаться уже не оставалось времени.

– Значит, кисти, – произнес он. – И мольберт. Ну и краски, разумеется.

Мы поблагодарили его, заверив, что мама и зайде будут ему глубоко признательны за такую любезность. Разве что…

– Я знаю, что вы хотите сказать. – Голос его зазвучал торжественно. – Похвально, что вы заботитесь о других, но ваши родные имеют право на льготы, поскольку произвели вас на свет. Ведь вы особенные – близнецы.

– Вот и я говорю, а сестра не верит, – сказала я.

– Теперь она определенно поверит. – Лицо его стало серьезным. – Теперь ты веришь, Перль?

– Верю, – промямлила она.

Но я-то знала, что это слово не выразило всех ее чувств.

Дядя удовлетворенно погладил каждую из нас по голове, а потом запустил руку в стеклянную банку, стоявшую в шкафу, и протянул мне кусочек сахара. Кубик сладости, как маленький блок от снежной хижины… такая редкая удача… я просто не могла съесть его сама. А потому отдала его Перль. Доктор нахмурился, но протянул мне еще один кусочек. Я и его отдала Перль.

– Это для тебя, – сказал он, опустив третий кусочек мне в ладонь и сжав вокруг него мои пальцы. – По медицинским показаниям.

– А можно угостить Пациента Синюшного?

На докторском лице отразилось замешательство, тут же сменившееся раздражением. Поэтому я махнула рукой и отправила кубик сахара в рот. Угодить Доктору, как я начала понимать, было непросто.

После этого Дядя пустился в длительные расспросы, которые затрагивали самые чувствительные для меня темы. Он сказал, что просто хочет побольше узнать о нашем происхождении. Кто мы такие, кто наши родители. Точнее, почему у нас нет отца? Перль чудом выжала из себя какие-то сведения. Во время ее рассказа я беззвучно напевала, чтобы ничего не слышать. Мурлыкала про себя «Голубой Дунай», пока его голубизна не окутала мысли, но даже этой голубизны не хватило, чтобы утопить мою скорбь.

Перль рассказала Дяде, что однажды ночью папа не вернулся после вызова к больному. Мама не хотела его отпускать через весь город, ведь шел комендантский час, а больного ребенка мог бы осмотреть другой врач, живущий по соседству, правда? Неужели Стася и Перль для него на втором месте? Папа так спешил, что даже не заспорил, и второпях забыл зонт. Мы стояли на пороге, мама держала зонт, и все надеялись, что папа за ним вернется. Но в ту ночь он так и не пришел. Мы ждали его день за днем, месяц за месяцем. Мама обратилась к властям, но поначалу они вообще не приняли никаких мер, а позже заявили, что из Вислы достали утопленника, похожего по приметам на папу. Но мама не желала слушать, ей мерещилось, что с ним произошло нечто совсем другое, нечто ужасное; она бы поверила только официальному протоколу.

Но Дядя как раз не верил в бумажную волокиту. Протокол не протокол, но версия с утопленником казалась ему правдоподобной. Он сказал, что среди евреев бушует настоящая эпидемия самоубийств.

– А вас когда-нибудь переполняет уныние? – спросил он, посветив фонариком сначала в рот Перль, потом мне.

– Нет, мы никогда не унываем, – ответила я.

– А ты что скажешь? – Он протянул Перль еще один кусочек сахара, который она тут же засунула в рот, чтобы только не отвечать.

– Перль слишком сильная, чтобы предаваться унынию, – сказала я за нее.

– Ясно.

– Перль до того сильная, что даже боли не чувствует. Смотрите!

В доказательство я ущипнула сестру за руку. Но вместо того чтобы смолчать, мы с ней одновременно вскрикнули. Дядя с интересом наблюдал, но, подозреваю, так и не понял, что же произошло на самом деле. В тот самый миг, когда мои пальцы защипнули кожу Перль, мы обе почувствовали мамину скорбь – она так по нам тосковала, что жизнь стала для нее невыносимой. У нее и мыслей не было о тех благах, которые причитались ей за нас, как ценных подопытных кроликов. Мама сильно ослабла – оставалось только надеяться, что она все же получит краски и кисти, пока не поздно.

Я уже собиралась огорошить Дядю объяснениями срочности этого дела, но он схватил меня за плечо, не дав раскрыть рта. Держал он цепко, по-хозяйски – я пыталась согнуться, чтобы спрятать наготу, но он оторвал меня от стула и повел в дальний угол операционной.

– Перль останется тебя ждать, – сказал он, когда мы, пройдя мимо других детей и медсестер, заходили за ширму.

Там он уложил меня на стальной хирургический стол и включил верхний свет. Мы были одни – только он, я, белоснежные полы его халата и яркий луч света, – но мне все время чудилось еще какое-то присутствие.

Меня буравил пристальный взгляд тех глаз, хотя, понятное дело, ни один не мог соскочить с булавки. Я знала, что глаза эти видят то же, что и я. Через них я наблюдала, как Дядя, словно маг, набирает в шприц какую-то светящуюся жидкость цвета янтаря – застывшей смолы, кусочки которой мы с Перль когда-то собирали на балтийском побережье. Янтарный цвет вернул меня в тот день, незадолго до папиного исчезновения, когда мы взяли лодку и поплыли навстречу волнам, – тут я заставила себя прервать воспоминания, ведь за память и время отвечала Перль, а я чуть не перешла границу прошлого, которое, видимо, мне уже не принадлежало. И это к лучшему. Лежа на столе под слепящей лампой, я понимала, что нахожусь там, где память и время больно ранят, а потому была особенно благодарна сестренке, моей самой бесценной подруге в нашем изменчивом мире, за то, что она взвалила эту ношу на себя.

– Понимаю, о чем ты думаешь, – произнес Дядя, подходя ко мне со шприцем.

Я ответила, что это удивительно, ведь раньше только Перль умела отгадывать мои мысли.

Он улыбнулся своей дежурной улыбкой, но мне уже стало предельно ясно, что мои шутки ему приелись. Поэтому я, напустив на себя умный, сосредоточенный вид, с интересом уставилась на иглу, как подлиза-отличница за первой партой – на учителя.

Доктор постукал ногтем по игле.

– Ты опасаешься, что будет больно. Обещаю: больно не будет. Ну разве что чуть-чуть. Самую малость! Это совсем небольшая плата за ту награду, что ты получишь.

Я спросила, какова же эта награда.

Он шепнул мне на ухо и спросил разрешения. По крайней мере, так мне запомнилось. Вернее, так я вспомнила, когда ко мне вернулась способность мыслить. Хотя, по всей вероятности, никакого разрешения он не спрашивал.

Даже глухое отчаяние может вынудить сердце согласиться. Мое сердце тонуло в отчаянии. Подобное согласие может показаться странным, но там, где жизнь грозит столь резко оборваться, что ты не успеешь спасти своих близких, могла ли я колебаться, когда он предложил вколоть мне эликсир бессмертия?

– Да, – ответила я. – Здорово было бы стать бессмертной, хоть ненадолго.

Тогда Дядя нашел отклик у моей вены, а игла покорно скользнула внутрь, и тут я почувствовала, как мои клетки начинают делиться и атаковать другие клетки, отчего меня облило холодом.

Память у меня застопорилась от смятения и обилия медицинских инструментов на лабораторном столе, но вы, наверное, спросите: Стася, какие ощущения вызвала у тебя инъекция обещанного бессмертия? Оно впилось в твое туловище как стрела или резануло как нож? А может, камнем пролетело сквозь тебя? Или просыпалось солью, отчего израненное сердце свернулось улиткой?

И хотела бы я описать физическое ощущение бессмертия, но почему-то не могу. После того как Доктор ввел иглу, я вообще перестала чувствовать свое тело. Так продолжалось довольно долго. Спрóсите: когда прошла хоть малая часть того онемения? В Варшаве сорок пятого, когда я, слабая, на последнем издыхании, удалялась от сиротского приюта: в длинном носке – облатка с ядом, за спиной – хныканье; подойдя к воротам, я увидела, как слезы почти незнакомого человека смешиваются с дождем.

Но к этому эпизоду мы обратимся позже. А сейчас вернемся к игле. Проводница Дядиных целей, она легко вошла в вену, лишь слегка кольнув. Я могла бы забыться, глядя, как шприц делает свое дело, но вместо этого наблюдала за Дядей. На его лице не дрогнул ни один мускул. Я задумалась: какие же чувства скрывает это натянутое, бесстрастное выражение, но остановила себя, понимая, что ответ обойдется слишком дорого.

Влив мне янтарную жидкость, Дядя вытащил иглу. Клочком ваты он прижал место укола, где выступила кровавая капля солнца.

– На тебе лица нет. Как ты себя чувствуешь?

Как изменница, хотела сказать я. Как будто предала все хорошее, все настоящее. Как будто избежала смерти, повернувшись к жизни спиной. Все клетки моего тела плакали, но не обо мне, а о тех, кого я потеряла и еще потеряю, а сама, вообще не имея права на существование в мире Доктора, останусь тут… Дядя прервал мои мысли, щелкая пальцами у меня перед носом.

– Стася, я задал вопрос: как ты себя чувствуешь?

– Чувствую себя как самостоятельный человек, – соврала я, маскируя свой стыд дрожью. – Не какая-нибудь там близняшка. А отдельный человек. Стася. Просто Стася.

– Любопытно! – задумчиво протянул Дядя, явно довольный таким развитием событий.

Мне показалось, что сейчас он проникся своим могуществом, поскольку сумел отменить чудо нашего двойного рождения, нарушить связь, дарованную нам самой природой. А кроме того, он наверняка полагал, что мною в отсутствие этой связи будет легче манипулировать. Доктор считал меня более раскованной, попроще что ли, в общем – идеальной подопытной. И хотя слова мои, по сути, были святотатством, мне казалось, что, продолжая в том же духе, я смогу выгадать немалые преимущества.

– Сама по себе, – пробормотала я. – Никогда к этому не стремилась, но теперь точно знаю, что хотела именно этого. Независимый человек – вот я кто. Не половинка, не просто сестра Перль. А обычная девочка, одна, сама по себе, без пары, которую положено держать при себе и любить.

Фальшиво, напоказ я предала все самое дорогое – и знаете, что со мной стало? Сердце зашлось от злости, легкие словно отстранились от меня, отделились. Оставалось только надеяться, что моя сущность, вся целиком, скоро признает мою цель – ложь во спасение нас обеих. Притворство ради Перль и меня. Ведь сестра так долго меня поддерживала и шлифовала, делала честнее, милее, значительнее… а теперь настал мой черед стать ей поддержкой. Менгеле повелся на мой обман. Его так изумило мое признание, что он даже потрепал меня по голове, взъерошив кудри.

– Бессмертная крошка Стася, – выдавил он сквозь смех. – Всех нас переживет.

Он вернул шприц на лоток, и тут я поняла, что во мне все перепуталось: Доктор разделил то общее, что объединяло нас с Перль, что помогало нам действовать сообща в нашем зыбком мире. Укол превратил меня в чужекровку, гибрид, но слово это приобрело для меня иное значение, несопоставимое с тем страшным, отвратительным смыслом, который вкладывали в него нацисты: происхождение, слияние кровей и вероисповедание. Нет, я стала гибридом иного толка – сильным, закаленным в страданиях. Теперь во мне уживались две части, как две капли крови.

Одну часть составляли утрата и отчаяние. Знаю, в такой беспросветности жизнь становится невыносимой. Но ведь была и вторая часть. Надежда. И никто не мог вырвать или отобрать ее у меня. Никто не мог выжечь ее из моей плоти или пробить иглой.

Эта часть – надежда – изменила мою сущность, сформировала ее заново. Девчушка, которая облизывала луковицу в вагоне-скотовозе, умерла, а на смену ей пришла чужекровка-гибрид, диковинка, раздираемая противоречиями, но… живая душа, существо, способное перехитрить врага и спасти своих близких.

– Представь, ты самая первая, – произнес Дядя и пустился в рассуждения о том, что я – новейшее достижение прогресса, носительница невероятного будущего.

Он принес лупу и долго изучал мои глаза, но так и не высмотрел моих планов. Я уже стала заправской обманщицей.

– Раз я первая, значит сестра будет следующей? – Это единственный вопрос, который меня волновал. – Вы ведь и ей подарите бессмертие?

С минуту Дядя аккуратно перекладывал на лотке инструменты. Он явно тянул время, пытаясь решить, как лучше себя вести с еврейкой вроде меня, которая, скорее всего, ведет двойную игру и не гнушается шпионить. Наконец он ответил, что я должна оправдать его надежды и тогда Перль получит такую же инъекцию, которая в принципе положена всем однояйцевым близнецам.

Я обещала не подвести. Сказала, что ради Перль готова на все… Он лишь рассеянно покивал и ответил, что рад это слышать, ведь негоже создавать расу бессмертных детей, если те не сумеют избавиться от наследия низкопробной еврейской крови.

Пока он разглагольствовал, зелье начало действовать. Меня лихорадило, все тело сводило судорогой. Клетки моего организма, будто потянувшись на звук хозяйского голоса, ветвились и распускались в своем бессмертии, подобно цветкам, потянувшимся к зыбкому источнику света, и я поклялась жизнью Перль и ее будущим бессмертием, что ни одному ребенку не придется больше подчиняться Доктору, этому чудовищу. Сестра, как и я, станет чужекровкой, мы вместе будем попирать своей мутацией все законы жизни и смерти, торжества и скорби. Наделенные уникальными способностями, мы устроим заговор и прикончим этого злодея: сначала выждем, а затем, подгадав момент, застигнем его врасплох, держа за спиной орудие убийства… да хотя бы хлебные ножи, какие узникам разрешено использовать за завтраком, только мы вонзим тупые лезвия не в твердокаменную пайку хлеба, а в мерзкую плоть, и Дядя в сей благословенный миг даже не поймет, кто есть кто и чье лезвие стало дня него смертельным… мы не раскроем, кто из близнецов освободил от него этот мир. Все обязанности, которые мы привыкли делить между собой, чтобы уцелеть, сольются воедино. Мы вновь станем одним целым, чтобы никогда больше не делить ответственность за смешное, будущее, плохое, хорошее, прошлое и грустное.

И забудем, что такое боль.

Перль

Глава четвертая. Военные материалы. Срочно

В октябре сорок четвертого, когда шел второй месяц нашего плена, мы были уже не цуганги; мы видели, как приходят и уходят дети, будто это просто тикали минуты.

Оставаясь хранительницей времени и памяти, я не уследила, когда с моей сестрой стало твориться что-то неладное, но думаю, это случилось во время нашей первой встречи с Менгеле. После того дня она сделалась вялой бормотуньей и взяла привычку сидеть уткнувшись носом в анатомический атлас или в свой небольшой проштампованный медицинский ежедневник. В этом синем томике перечислялись части тела с их особыми приметами. Она путешествовала по всем системам и органам, постоянно сверяясь с диаграммой или описанием.

Синий томик чем-то напоминал записные книжки, куда мы под руководством дедушки вносили результаты наблюдений за птицами. Только вместо привычек жаворонков и воробьев моя сестра изучала функции легких и почек.

Из всех органов ее более всего занимали парные.

Хотя в этих записях было что-то нездоровое, меня успокаивало новое увлечение сестры: притом что она проявляла (как и все близнецы в нашем бараке) крайнюю озабоченность сохранением одинаковости, я почувствовала в ней какую-то надтреснутость; ее отчуждение смахивало на льдинку, которая откололась от тороса и дрейфует сама по себе.

Внешне к ней было не подкопаться – сестра держалась достойно. Она изображала живость, задавала вежливые вопросы, оставалась покладистой. Но в отсутствие Менгеле и Эльмы Стася внутренне сжималась. Разговаривала бесстрастно, отводила глаза, когда к ней обращались. Неподдельный интерес вызывал у нее лишь анатомический атлас с исписанными ее неукротимой рукой полями. А делая перерывы в занятиях, она плотно прижимала большой палец к пупочной впадине, как будто там назревала протечка, которая грозила загубить мою сестру, развалить на части. По ее примеру я тоже пыталась засовывать большой палец себе в «пупик», но для меня это не имело никакого смысла. Те ощущения, которых она искала, вдруг оказались за гранью моего понимания: сестра то ли запуталась, то ли переменилась. Мне открывалась самая малость, всего ничего; я была уже отрезана почти полностью, и нередко возникало такое ощущение, будто у меня только и остается что способность наблюдать, как моя сестра-близнец превращается в незнакомку.

Вероятно, Менгеле внедрил какие-то иллюзии в ее живое воображение. Этот вывод напрашивался сам собой. Со времени того посещения голос ее звучал чересчур оживленно, веки были полуопущены, а настроение никогда не соответствовало моим прогнозам.

– Как ты себя чувствуешь? – однажды спросила я, когда мы вышли из лаборатории после многочасовых испытаний. – Так же, как и я?

– Я позволяю себе что-либо чувствовать только на закате. – Таков был ее ответ.

– И как ты чувствуешь себя на закате?

– Чувствую себя виноватой, потому что мне суждено жить вечно.

– Как это понимать? – засмеялась я.

В устах Стаси эта сентенция прозвучала несерьезно. За годы нашей жизни я слышала от нее столько признаний, что это меня не встревожило.

Со времени того первого посещения она – это ясно как день – избегала встречаться со мной взглядом, но никогда еще отчуждение не было столь демонстративным. Я смотрела, как ее ресницы (все сто пятьдесят шесть, по данным доктора Мири) касаются щек, и видела на веках голубые жилочки – карту ее потрясений.

– Напрасно я это сказала. Надо было помалкивать.

Я постаралась забыть этот разговор, но ближе к ночи, когда мы лежали на своей шконке, согреваемые жаром третьей девочки, пушинки, которую утром забрали на очередные иголки, все же решила уточнить, откуда у сестры такие странные идеи.

Что делалось в голове у моей сестры, оставалось для меня загадкой даже в те быстротечные минуты единения, когда я ловила себя на том, что шагаю сквозь ее ощущения и фантазии, но теперь здесь возникло нечто новое. Обычно я бесстрашно совершала подобные вылазки – ее внутренний мир встречал меня приветливо и мягко, на этом островке властвовали добрые звери, всевозможные оттенки синего, деревья, по которым удобно лазать, книги, намеченные для чтения, цветы, намеченные для изучения.

Но теперь, заглядывая в мысли к сестре, я видела кое-что совершенно иное. На месте прежнего умиротворяющего островка раскинулась новая, неизведанная территория – царство, где правили бал хромосомы, мечтательно делились клетки, а перспектива мутации служила утешением, спасением и оружием мести.

Это царство верило, что Стася станет погибелью для Менгеле. Она внушала себе, что, действуя с умом – прибегая к самой изощренной лести, изображая из себя протеже, малютку, которая вне подозрений, – сможет вернуть то, что он у нас украл, и освободить весь «Зверинец».

Эта вера, эта непонятная территория у нее в голове внушала мне только ужас.

Она объявила его опытным образцом, но я-то знала, что мальчик по прозванию Пациент Синюшный представляет собой кое-что посерьезнее. Видно было, что она считает его братом, нашим третьим близнецом, родным человеком, потерять которого немыслимо. Я предупреждала, что прикипать к нему душой нельзя. Она обвиняла меня в черствости. В этом была доля истины, но я действительно не переживала за Пациента, потому что устала переживать за нас самих. Мое тело истязала боль; лишней боли не требовалось.

Но помешать ей у меня не вышло. Я могла лишь издали наблюдать, как моя сестра, усадив своего информанта на пень возле мальчишеского барака с видом на крематорий, проводит опрос. Это было переливание из пустого в порожнее: одни и те же вопросы, одни и те же объяснения.

Четко помню первый случай. Усевшись по-турецки рядом со Стасей, я плела одеяльце, чтобы скрыть свой настоящий интерес. Рукоделию научили меня девочки из нашего блока: они считали, что это занятие лучше всего помогает скоротать время между перекличкой и лабораторными опытами, равно как и неизбежные часы, которые мы поневоле проводили в разлуке со своими половинками. Вместо нитей использовались вытащенные из ограждений обрывки проволоки: мы скручивали и раскручивали их кончиками пальцев, пока они не приобретали хоть какую-то податливость. Создав небольшой запас такого материала, мы по очереди плели кофточку или одеяльце, пригодные разве что для крошечного пупса. Готовая вещичка никакого применения не находила. Ее попросту распускали, чтобы отдать проволоку девочке, ожидавшей своей очереди.

Под видом плетения одеяльца я шпионила за сестрой. Стасе и в голову не приходило, что за работой я подслушиваю. Помню, в тот день она начала свое дознание с вопроса о седых прядках на голове собеседника.

– Нет, это не от рождения, – отвечал парнишка. – У меня волосы за одну ночь состарились. И у моего брата точно так же.

– За одну ночь?

– Ну, может, за две или три. Точнее не скажу. Это случилось по пути сюда. В скотовозке зеркал нету.

Стася поинтересовалась его прошлым. Парнишка отвечал вдумчиво и, наморщив лоб, припоминал существенные подробности:

– Я в драке побеждал тут пять раз. Три раза кулаками махал и два раза кусался. А сколько раз битым бывал, не спрашивай. Если не хочешь сама на драку нарваться, не спрашивай.

Да нет же, настаивала она, речь идет о твоем прошлом.

– У меня папа – раввин. Мама – жена раввина. Отец-раввин, может, и выжил. Любил приговаривать: ночью все кошки серы. У него на все случаи жизни подходящие пословицы были.

Стася еще раз уточнила: ее интересуют медицинские сведения из его прошлого. И они начали обсуждать, что вырезал, проткнул или повредил ему Менгеле. Парень описывал, как звякали инструменты, как жужжала пила, а когда закончил, сказал: молитесь, чтобы вам нутро не раздирали похожими способами.

– Вы с Клотильдой как сговорились! – вспылила Стася. – Мы не молимся. Наш зайде – тот иногда молился, но вообще он поклоняется науке.

Пациента рассмешила такая бурная реакция. Согнув правую руку, он показал свои бицепсы, которые смахивали на горстку бобов.

– Молитва не заставит меня опуститься на колени, – сказал он. – Но если ты просишь, чтобы лет в тринадцать тебя превратили в тигра, льва или камышового кота, никакого позора в этом нет. Я молюсь, чтобы зверь, сидящий у меня внутри, переборол нанесенные мне увечья, и тогда я когда-нибудь смогу отсюда вырваться и осчастливить русскую девушку. И даже если я не смогу сделать ее полностью счастливой… ну, по крайней мере, она откроет мне новую жизнь, потому что я буду деликатным, загадочным, настоящим рыцарем. У меня раньше не было такой решимости. Но ради моего брата… я должен нести по жизни его наследие. Ты его не знала, Стася. Но поверь, он не ныл, что у Менгеле нет ни стыда ни совести. Даже после смерти он, мой близнец, при жизни такой спокойный, всеми любимый, такой мягкий… теперь, когда его с нами нет, я не сомневаюсь, что он мечтает вздернуть на дыбу всех фашистов и выпустить им кишки. Теперь его планы мести живут во мне. Можешь сколько угодно со мной нянчиться, Стася, но мне предначертано стать убийцей.

– При чем тут нянчиться? – обиделась Стася. – Я совсем другим занимаюсь. – Положив блокнот на коленку, моя сестра огляделась, чтобы понять, не подслушивает ли кто ее признание. – Хочешь – верь, хочешь – нет, но интересы у нас близкие.

– Ответь, чего ты добиваешься? Какой у тебя план? Побег? Ты же видела, что сделали с Розамундой и Лукой.

– Нет, не видела.

– Их застрелили! – Вскинув руки, он засеменил назад и свалился навзничь, изображая смерть этих мучеников. – Застрелили ни за что ни про что. И какой от этого толк?

– Значит, хорошо, что у меня план другой, верно? – Стася остановилась над ним, так и лежащим в пыли, и зафиксировала в памяти очертания его туловища.

– Тут планы бывают только двух типов, – заметил Пациент. – Раньше был еще третий… запасти съестное… но теперь это невозможно.

Стася помолчала, обдумывая это сообщение, а потом стала торопливо строчить в блокноте и в конце концов объявила, что собеседование окончено. Сказала она это преувеличенно громким голосом, в надежде, что Менгеле, проходя через двор к себе в пыточную камеру, станет свидетелем ее врожденного таланта. Пациенту она ни слова не сказала о своих выводах относительно его состояния здоровья и только посоветовала для поддержания сил не отказываться от употребления в пищу крыс.

– Не кошерная еда, – фыркнул он.

– Равно как и хлеб, – заметила она.

Мне показалось, что блокнот нужен ей для того, чтобы прятать глаза: будто устыдившись собственных слов, она уткнулась носом в записи.

Ее подопечный бросил на нее сочувственный взгляд. В этот миг до меня дошло: Пациент согласился быть пациентом моей сестры, чтобы помочь ей уцелеть.

И чтобы уцелеть самому.

Дело заключалось в следующем: Пациент потерял брата, то есть лишился близнеца. А одиночки – бросовый товар. Кто лишился близнеца, тот в считаные недели, а то и дни воссоединится с ним в морге, на секционном столе. Вслух об этом не говорилось, но мы же понимали, что к чему: вот умер Миша – и вслед за ним исчез Август. Не стало Германа – и мы распрощались с Ари, когда тот, прижимаясь носом к стеклу, смотрел на нас из окна санитарного автомобиля. Неизбежные исчезновения всегда происходили под конвоем красных крестов на бортах фургона, увозившего наших знакомых ребят.

Как хранительница времени и памяти, я решила делать насечки на деревянном борту нашей шконки – по одной за каждый день, прожитый Пациентом.

– Зачем это? – спросила Стася, проводя пальцем по четырем первым зарубкам.

– В знак нашей семьи, – ответила я.

А когда насечек стало пять:

– По количеству членов нашей семьи, включая покойного, – объяснила я.

Сестра осталась довольна и в знак одобрения погладила эти бороздки. По мере того как число насечек росло, я придумывала все новые объяснения. Говорила, что ими отмечены вещи, по которым я скучаю, одолжения, которых я не сделала Бруне, добрые поступки Стаси. К счастью, хлеб забвения облегчал эти нехитрые выдумки. Пока в животе переваривался бром, каждое новое объяснение виделось моей сестре правдивым.

После нанесения тридцатой зарубки я уже не надеялась понять, за какие заслуги Пациенту отпущен столь долгий срок. Могла только предположить, что трупов у Менгеле и так в достатке, а потому он на время забыл про этого мальчика. А может, Доктор действительно проникся неким подобием уважения к Стасе и не стал мешать ей проводить собственный эксперимент. В самом деле, ни для кого не было тайной, что Менгеле в угоду своим интересам подчас отступает от правил, а Стася, похоже, больше нас всех отвечала его интересам.

октября 1944 г.

Белый фургон увозил нас от барака, вздымая пыль, как могучий зверь, и выставляя напоказ ложный красный крест, нанесенный с одного бока. Под прикрытием все того же ложного креста, только вышитого на медицинской униформе и выведенного краской на стенах лаборатории, у Стаси взяли кровь и перелили мне. У меня тоже взяли кровь – и выплеснули в ведро. Стасе вгоняли в позвоночник иголки, а у меня от жалости нестерпимо ныла спина. Нас фотографировали и зарисовывали; дальше по коридору мы слышали крики, видели вспышки фотокамеры, а когда свет начал слепить глаза, Менгеле со своей обычной затяжной улыбкой и таким же долгим свистом увел Стасю, которая оглянулась на меня с порога отдельного кабинета. Доктор обеспечит Стасе особое лечение, сказала мне лаборантка Эльма.

Прошло несколько часов или, возможно, минут – я уже не разбирала. Знала только, что Стася появилась из этого кабинета, свесив голову набок, словно марионетка с оторванной веревочкой, и зажимая одной рукой левое ухо, как будто ограждала его от любых звуков.

Еще не видя Стасиных повреждений, я поняла, что с ней сделали.

Потому что, сидя на скамье в ожидании сестры, я уже чувствовала, как мне в ухо с бульканьем льется какая-то жидкость; она текла струей, и это было за гранью моего понимания, но я просто распознала нашу общую боль и некстати завопила, чем привлекла внимание лаборантки Эльмы. Та отвернулась от зеркального медицинского шкафчика, перед которым ковыряла во рту зубочисткой и поправляла локоны.

– Что случилось, девочка? – Она продефилировала к моему креслу и ткнула пальцем в ямочку, которая была у меня – и у сестры, конечно, – на подбородке. – Я поражена: у тебя еще остаются силы трястись.

Это не нарочно, сказала я, хотя все мои ощущения оставались при мне. Сомнений не было: Стасе в левое ухо заливали кипяток: таким способом ее лишали слуха, я это знала, хотя сестра даже не закричала.

Стараясь отключиться от наших мыслей, я посмотрела в окно и увидела, что охранники волокут куда-то рояль. Я была почти уверена, что инструмент – наш: нам не удалось взять его с собой в переполненное гетто. Мы – Стася и я – росли в компании с этим роялем: под ним учились ползать, делали первые отметины на гнутых ножках. Вообще-то, такой рояль мог стоять у кого угодно, однако мне втемяшилось, что этот – наш, но тут охранники приналегли, и рояль исчез из поля зрения. До меня донесся удар, потом глухой перестук, стон клавиш и град ругательств.

Я подумала: куда, интересно знать, его задвинули? И увижу ли я его снова?

Зрелище старого рояля сменилось явлением самого Менгеле. Вошел он, как обычно, посвистывая. Прервал мелодию на середине фразы и указал на меня пальцем, как учитель музыки, устроивший контрольный опрос.

– Девятая симфония Бетховена? – рискнула я.

– А вот и нет, не угадала. – Он ликовал.

Я извинилась за свою ошибку. Хотела сказать, что у меня несколько нарушен слух, но решила не посвящать Менгеле в нашу тайну.

– Дайте мне еще одну попытку.

Эти слова, я уверена, он слышал много раз. Его разобрал смех, но Эльма посмотрела на него с напускным укором:

– Не будьте так жестоки к этой девочке! – а потом обратилась ко мне: – Естественно, ты угадала. Доктор шутит.

– Чтобы ты расслабилась, – согласно подхватил он.

– По-моему, эффект был противоположный, – отметила лаборантка Эльма. – Взгляните на ее зрачки!

– Со Стасей удачнее получается, – сказал Менгеле. – Твоя сестра обожает юмор, верно? А ты… ты слегка зажатая, так ведь?

Он снял перчатки, чтобы надеть чистые. Натягивал их с усердием подростка, который собирается на тренировку, а потом поднял руки перед собой и проверил, цела ли резина. Не обнаружив ни одного дефекта, он похлопал меня по плечу.

– Твоей сестренке требуется немного отдохнуть, – сообщил он. – Давай-ка придумаем, как нам с тобой скоротать время.

Он всегда выражался в таком духе – как будто предлагал какое-то развлечение.

Прежде чем принять решение, он немного посовещался с лаборанткой Эльмой. Я напустила на себя равнодушный вид, но до меня долетали обрывки разговора. Дескать, которая из близняшек сильнее, которая по натуре лидер, которая из двух ценнее. Затем оба подошли к скамье, на которой я дрожала от холода.

– Хочется чего-то новенького, – с улыбкой обратился ко мне Менгеле. – Во всяком случае, для тебя. Твоя сестренка уже испробовала.

Он стал высматривать у меня вену. Долго искать не пришлось. Я прокляла свои вены, набухшие, как жгуты.

Не знаю, что это было. Микробы, вирус, яд. Но, содрогаясь от укола и чувствуя, как по жилам разливается тепло, перемежающееся с холодком и ознобом, я не сомневалась, что меня вот-вот сморит сон. Более сильная личность могла бы побороться против содержимого шприца, но со времени выхода из вагона-скотовоза сил у меня заметно поубавилось.

Менгеле с удовлетворением отступил назад и стал за мной наблюдать. Он вздернул голову, как тот гнусный попугай в зоомагазине, который однажды обругал меня грязными словами. Напрасно я надеялась, что Доктор так и останется на расстоянии: пододвинув стул, он пощупал мой лоб, чтобы проверить, насколько быстро поднимается температура, а потом взял молоточек и занялся моими суставами. Ноги и руки у меня дергались под ударами этого молоточка; на лице Менгеле отразилась причудливая смесь радостного удивления и сосредоточенности. Я сидела совсем голая, а он суетился вокруг скамьи, касаясь моей наготы длинными рукавами белого халата.

– Не больно? – спрашивал он, постукивая молоточком. – А здесь? А так?

Больно, говорила я. А так не больно. Но затем стала отвечать только «нет» и «нет». Потому что хотела нарушить его опыты. Хотела представить их ничтожными, под стать мне самой.

Менгеле ничего не заподозрил. Он посветил мне в глаза фонариком, и я даже обрадовалась мгновенной слепоте, потому что докторское лицо оказалось едва ли не вплотную к моему, а в нос ударил запах Менгеле. Пахло от него яичницей и зверством; у меня невольно заурчало в животе. Менгеле продолжал говорить под аккомпанемент этого урчания, словно надеялся замаскировать все доказательства того, что у него тоже есть тело, которое выполняет нормальную пищеварительную функцию.

– Как прошел денек, Перль? – весело спросил он.

Этот обыкновенный, непринужденный вопрос могли бы задать почтальон, хозяин мясной лавки, цветочница, соседка – все те, с кем мы сталкивались по дороге из школы домой.

– Больно.

– День прошел больно? Ну, ты и сказанула! Я-то думал, главная юмористка тут Стася.

У дальней стены рассмеялась лаборантка Эльма.

– Если больно, это неспроста, – изрек Менгеле.

С этими словами он дал мне леденец и пожелал приятного аппетита. Даже не развернув конфету, я положила ее под язык – для сохранности. Это потребовало определенных усилий, потому что язык у меня пересох, голова кружилась, а рот раздирала боль. И все же на обратном пути в «Зверинец» я сумела сохранить конфету в неприкосновенности. Оказавшись во дворе, я тут же выплюнула этот гостинец прямо в пыль и стала смотреть, как за него дерутся тройняшки Хершорны. На чью сторону встать – этого я уже не понимала.

Из-за Стасиного увечья шпионить за ней стало гораздо проще. На оглохшем ухе она носила толстую марлевую повязку и постоянно пребывала в какой-то полудреме. Я даже приноровилась читать ее голубой блокнот прямо у нее под носом – на шконке.

октября 1944 г.

Доктор хранит ампулы в ящике с надписью «Военные материалы. Срочно». Я знаю, там есть ампулы, помеченные моим именем, Перль. Он хранит их отдельно от прочих. В делах у него порядок, но я начинаю сомневаться в его врачебных умениях.

Тут она проснулась и застукала меня за чтением. Немного поворчала, но из-за слабости махнула рукой на мою наглость. И только поправила белые марлевые лепестки на левом ухе.

– Ты же знаешь: тебе не одолеть Менгеле, – шепнула я.

– Зайде так бы не сказал. Он считает, я могу совершить все, что задумала. Вот спроси у зайде, он подтвердит.

– И как ты предлагаешь это сделать? – Впервые я открыто выказала презрение к ее иллюзиям и нелепым убеждениям, в которые она так впилась, что они уже бурлили и переливались в ней, как лекарства.

– Я как раз начала писать маме письмо, – ответила Стася. – Могу задать этот вопрос. – Выхватив у меня блокнот, она полезла в карман за карандашом.

– Зачем нам с тобой притворяться, Стася?

– Притворяться? – Она понизила голос. – В смысле, насчет Пациента? Конечно, я делаю вид, что у него все хорошо. Любой врач тебе скажет, что больному нельзя сообщать о его болезни. От этого состояние только ухудшается. Человек теряет надежду. Кости становятся хрупкими; не успеешь оглянуться, как легкие…

– Мы притворяемся насчет мамы. Насчет зайде.

– А что им сделают? Мы же во всем слушаемся Доктора.

И она понесла свой обычный вздор: мол, за каждый сделанный нам укол маме полагается дополнительная пайка хлеба. За каждую биопсию дедушке разрешается поплавать в бассейне вместе с охранниками. Она твердила, что Дядя согласился на эти условия. Не может же он теперь пойти на попятную, когда она ради мамы с дедушкой даже пожертвовала своим ухом.

Про увиденный во дворе рояль я умолчала: это было лишним доказательством того, что у нас отняли все. Не то чтобы я решила проявить милосердие: просто сама еще не могла в это поверить.

– Почему же он не дает нам свидания? – наседала я. – Разве это не высшая награда? Разрешить нам повидаться с родными?

– Я об этом не просила.

– Не просила потому, что их нет в живых, и ты это знаешь.

– Неправда, – сказала она с каменным лицом. – Я точно знаю, это неправда. И могу доказать. Они далеко отсюда, но живы.

– Докажи.

Приподнявшись на шконке, сестра повернулась ко мне лицом. Она внезапно смягчилась, протянула руку и опустила мне веки:

– Видишь?

– Нет, не вижу.

– А ты постарайся. Сейчас я на этом сосредоточилась. – И она стала гладить мне веки кончиками пальцев, пока мое зрение не заволокла мягкая тьма. Которая вскоре расцвела. – Ну, теперь видишь?

Я увидела. В точности как нарисовала мама. Но…

– Нет, – ответила я. – Ничего не вижу.

– Не ври, Перль. Все ты видишь. Мы вместе видим.

Я стояла на своем.

– Это мак, – прошептала она. – Ты прекрасно помнишь. Рисунок, над которым трудилась мама. Еще в Лодзи, когда настали перемены, она взялась рисовать поле маков. А когда нас загнали в скотовоз, она начала этот рисунок заново, на стене. Но успела нарисовать только один цветок. Когда мне тяжело, я всегда разглядываю этот цветок мака. Ясно же: если бы мама умерла, я бы ничего такого не видела. Да что я тебе разжевываю – ты и сама знаешь, Перль, к чему я веду.

Хотя это была чистая правда, я не собиралась поддакивать.

– Я не против, что мне такое видится, Перль, потому что это лишний раз напоминает о маме. Но ощущение не из приятных. Иногда, когда становится совсем невмоготу, цветок мака начинает множиться. Если бы тебя не стало, Перль… я бы увидела целое поле маков. Надеюсь, у меня никогда не будет причины разглядывать целое поле.

Не знаю, что было в тот миг написано у нее на лице: сестра нырнула под наше рваное одеяло и спрятала голову. Скрючившись и пыхтя, она принялась развязывать мне шнурки. С самого раннего детства она любила меня разувать – чтобы твердо знать, что я не сбегу. Ботинки соскользнули у меня с ног. Я была рада, что под одеялом, в полной темноте, Стася ничего не видит. А иначе она бы заметила, что ее ботинки выглядят куда приличнее моих (стоптанных и прохудившихся за то время, что я бегала организовывать картошку) – да просто как новые, потому что она никуда не ходила, кроме как в больничку и во двор.

Из-под одеяла донесся ее вопрос, уже навязший в зубах: я могла бы ответить на него даже во сне.

– Ты сегодня танцевала?

Я не собиралась открывать ей истину: танцевать-то я танцевала, но стоило мне встать в первую позицию – и у меня из горла вылетала капля крови, как сигнал о повреждении внутренних органов. Алая капля будто разъясняла: планы распотрошить меня, которые строил Менгеле, уже работают, и если, невзирая на причиненный мне вред, я смогу выжить, это будет чудо, умноженное, перемноженное и возведенное в немыслимую степень.

– А что может помешать мне танцевать? – отвечала я.

Стася

Глава пятая. Красные облака

После того как Дядя изувечил мне ухо, все звуки стали отдаваться эхом. Когда я слышала что-нибудь приятное, это было даже хорошо. А когда на меня рявкали, отдавая очередной гнусный приказ, это был кошмар.

Наверно, нет нужды уточнять, что случалось чаще, ведь присматривать за мной доверили Кобыле. А угодить ей не было никакой возможности.

Был и еще один побочный эффект: в оглохшем ухе у меня постоянно звенело, в нем не утихала боль, открытая рана не затягивалась.

Зато третий побочный эффект оказался куда более желанным. Из-за сделанного в ухе прокола сны легче проникали в мозг. А после того как левое ухо оглохло, сны у меня случались весьма причудливые. Такие прекрасные, что я почти простила Дядю за то, что он проткнул мою барабанную перепонку. Потому что не могла отказать себе в удовольствии покарать его – пусть хотя бы в фантазиях – за причиненное зло.

– Тебе снилось то же самое? – спросила я Перль однажды утром, после особенно яркого эпизода мести.

Скажу честно: я проверяла сестру, хотела убедиться, что мы настроены на одну волну.

– Естественно, – ответила она.

А сама потянулась, лежа на шконке, и немного позевала, чтобы отвлечь мое внимание от своего неубедительного тона.

– И что в нем было? – не отставала я.

Зная, что обман будет написан у нее на лбу, сестра повернулась ко мне спиной и начала изучать кирпичную кладку.

– Наша семья, – сказала она, – что же еще?

Я устыдилась, что ни разу не видела во сне наших родных – ни маму с папой, ни зайде; пришлось смириться с предложенной выдумкой.

– Да, чудный сон. Хорошо бы только он раз от раза немножко менялся, – сказала я. – Тот эпизод, где зайде превращает кочан капусты в бабочку, очень даже интересный, но то, что с первой маминой слезинкой вновь и вновь появляется папа, – никуда не годится.

– На самом-то деле сон был скучный, – сказала Перль. – Непонятно, почему нам не удается придумать ничего лучшего.

– Кажется, виновата одна я, это так? В конце-то концов, ты родилась первой, – отметила я. – В таких делах ты главная. Даже в лаборатории считают, что ты – лидер.

– И этим подтверждают свою дурость, – сказала Перль. – Каждый, у кого есть глаза, увидит, что решения принимаешь ты.

Я свесила ноги со шконки. Где-нибудь в другом месте такое утро считалось бы безмятежным. Выглянуло солнце, и – в кои-то веки – вой служебных собак не заглушал птичьего щебета.

– Подъем! – гаркнула Кобыла.

Она прошлась вдоль деревянных перил, ударяя ложкой по каждой планке и протягивая руку, чтобы дернуть за ухо того, кто подвернется.

Я накрыла уши руками.

– Ничего не слышу, ничего не знаю? – поддела Кобыла.

Не отнимая ладони от ушей, я кивнула.

– Тогда ничего и не увидишь. Сегодня-то уж точно. Футбольный матч назначили. Охота небось посмотреть?

С осторожностью опустив руки, я ответила, что да, здорово было бы пойти.

Моя сестра тоже обрадовалась этому известию. В последнее время она едва шевелилась, однако сейчас, вопреки обыкновению, резво спустилась по лесенке и торопливо оделась. Но Кобыла схватила ее за шиворот и потащила куда-то в сторону.

– Разбежалась, Перль, – сказала Кобыла.

И тут нам в глаза ударил свет фар санитарного фургона, пророкотавшего мимо двери.

Увидев, как лаборантка Эльма ведет за шкирку Перль и заталкивает ее в пасть этой фальшивой «скорой помощи», я пожалела, что Менгеле не заклеил мне глаза, чтобы я больше не видела бесконечных пыток моей сестры. Но муки зрения пока еще оставались при мне.

Возглавляемые Кобылой, мы собрались во дворе. Она оказалась заядлой болельщицей и для поднятия нашего духа заговаривала с каждой из девочек о разных играх и о том, какой охранник лучше всех проявляет себя на поле. Отец Близнецов и доктор Мири не проявляли такого энтузиазма. Они ходили между шеренгами, обреченно пересчитывая нас по головам. Ко мне, прихрамывая, ковылял Пациент. Глаза у него бегали больше обычного.

– Я тебе подарочек принес, – сказал он, пряча руки за спиной.

– Мне нужно только одно, Пациент: чтобы ты поправился. – (Вместо ответа он закашлялся.) – А твое состояние пока что никуда не годится.

– Хуже, чем было, но лучше, чем будет, – жизнерадостно проговорил Пациент, – а кто на том зациклится – крапивы не добудет.

В то время это присловье было у всех на устах. Мне оно никогда не нравилось. Я отвернулась, чтобы не продолжать пустую болтовню. Сзади меня дернули за юбку. Затем похлопали по плечу. Пациент со смехом протягивал мне слуховой рожок.

– Держи, – сказал он. – Из «Канады». Слоновая кость, потому и сберегли.

По всей вероятности, этот допотопный слуховой аппарат некогда принадлежал состоятельной даме. Его отличала безупречная отделка, а ручка была вырезана в форме конской головы. Конь, как видно, был строптив: полуоткрытый рот, развевающаяся, словно на ураганном ветру, грива. Неизвестно еще, что сказал бы Дядя, увидев меня во дворе с этой штуковиной.

– Давай попробуем, – стал уговаривать Пациент. – Приставь к больному уху, а я что-нибудь скажу.

Я не стала пробовать и лишь недоверчиво погладила конскую гриву.

– Не вздумай отказаться, – сказал Пациент. – Я у Петера выторговал. А он по моей просьбе со склада стянул. Конечно, девчонке с Петером легче договариваться – даст себя пощупать, да и все. А мне пришлось выменять на сигарету.

– Лучше бы сигарету мне принес, – фыркнула я.

– От сигарет слух не улучшается, – как всегда, рассудительно заметил он. – А так я смогу тебе в левое ухо сказать что-нибудь важное и даже необходимое.

Это был резонный довод. Наши разговоры нравились мне чем дальше, тем больше. С ним я могла обсуждать подробности, о которых не упоминала в присутствии Перль. Например, о том, как прикончить Дядю. Где именно, каким способом, да так, чтобы побыстрее.

Во время футбольного матча мы, дети, стояли вдоль левой кромки поля и старались не смотреть на правый край, где собрались блоковые, а также семьи охранников, приехавшие погостить на выходные: гости, все как один в прекрасном настроении, расстелили яркие одеяла и полулежа подкреплялись сосисками, картофельным салатом и булочками. Матери бегали по траве за своими ангелочками-малышами, читали дочкам книжки с картинками, фотографировали диковины Освенцима. Я нарочно зажмурилась, когда прямо на меня направили объектив фотоаппарата. Моему примеру последовал и Пациент. С каждым днем, как я заметила, причем не без удовольствия, мы с ним делались все более похожими друг на друга.

Как только мы открыли глаза, начался матч.

Мяч летал от охранников, которые вышли на поле в новенькой спортивной форме, к узникам, одетым в полосатые лохмотья. Пациент оказался азартным болельщиком; пришлось ему напоминать, чтобы умерил свой пыл – хотя бы для того, чтобы поберечь внутренности. От надсадных воплей, предупреждала я, того и гляди лопнут его слабые места.

– Даже не надейся, что наши выиграют, – добавила я.

– Это мы еще поглядим, – лучась от воодушевления, сказал он мне в здоровое ухо. – Но если мы выиграем, поезда развернутся вспять и помчатся через леса и горы. Если мы выиграем, гетто и ночной стук в дверь останутся лишь в страшных снах.

Надеясь на мое одобрение, Пациент умолк, но только на миг. Он купался в своих мечтах, призвав на помощь всю силу воображения. В этом мы с ним тоже походили друг на друга.

– Если наши выиграют, – продолжал он, – мой брат будет моим братом, а не покойником. Он не узнает, что такое пытки. И не спросит, чем я занимался, когда он умирал.

Меня так и тянуло сказать: чудес не бывает. Кое-какие здешние тайны и странности были мне известны, но воскрешение из мертвых? Не верилось – и все тут. Но я вовремя сообразила, что не имею права убеждать его в невозможности счастливого исхода, поскольку и сама до недавних пор была убеждена в невозможности тех зверств, которые творились в Освенциме.

Но свои мысли я оставила при себе; если Пациента и увлекли мои соображения, он замаскировал это преувеличенным вниманием к игре.

Заключенные понуро перемещались по полю. Но если в первом тайме их нерасторопность казалась предрешенной, то во втором в ней уже сквозила доблесть. Одни двигались как сомнамбулы, другие собрали в кулак всю свою волю, которой не могло хватить надолго, и, вероятно, взбадривали себя надеждами на победу. Если удары оказывались слабыми, а розыгрыши – вялыми, то мячу было все равно; он переходил от узника к начальнику охраны, как посредник в заключении какого-то немыслимого пакта. В третьем тайме один из охранников для смеха отправил мяч за пределы площадки и заменил его круглым дрожжевым караваем, который ввел в игру с фонтаном крошек. Даже сидевшие на деревьях вороны не позарились на эти крошки, а только задрали черные как сажа головы к солнцу и сделали вид, что ничего не произошло. Я последовала их примеру, а Пациент – моему.

Теперь нашим вниманием владела не игра, а гряда облаков, живших своей облачной жизнью. Сообща мы вглядывались в их очертания, как это свойственно наивной малышне.

– Часы, – начала я, указывая пальцем на первое облако.

– Фашист! – поправил Пациент.

Я ткнула пальцем в сторону другого облака:

– Кролик.

– Фашист, – сказал Пациент.

Дальше продолжалось в том же духе. Где я смогла узреть невесту, привидение, зуб, ложку, Пациенту виделись только фашисты. Некоторые из них спали, ковыряли в зубах, но по большей части они умирали. Умирающих фашистов добивали разнообразные болезни, дикие звери, бабушка Пациента и остро заточенный хлебный нож у него в руках.

Я пыталась разглядеть то, что видел он, когда, с грязными потеками на щеках, лежал на земле; пыталась проследить за его взглядом. Пациент закашлялся, но деликатно отвернулся, чтобы болезнетворные миазмы летели не на меня, а на землю.

– Ну объясни, где тут фашист, – говорила я, глядя на недавно приплывший пуховый ком, который Пациент объявил нацистом, пронзенным отравленной стрелой.

Вместо ответа парнишка достал из кармана свой хлебный нож и стал изучать лезвие. У нас в «Зверинце» всем выдавали такие ножи (в основном с тупыми, болтающимися лезвиями), чтобы разрезать пайки хлеба. Но у Пациента ножик был опасно заточен о камни.

– Дай срок – я убью фашиста, – шепнул он и резко сел.

– Я тоже хочу убить, – прошептала я в ответ. – Но совершенно определенного. Сам знаешь кого.

Пациент принялся вонзать нож в землю вокруг себя.

– Все они одинаковы, – заявил он. – Кто под руку подвернется, того и зарежу.

При этих его словах на меня внезапно накатила боль. Какая-то незнакомая, вторгшаяся неведомо откуда. Прикинулась теплотой, а сама впилась в меня жалом, да таким мощным, что я едва не упала в обморок. Надо мной беззаботно резвились облака. Дурацкие облака. Мне они опротивели. Мало того что в них не было ни тени сочувствия к нашим бедствиям, так еще ни у одного не хватило ума принять облик моей сестры. Корчась от этой боли, я думала только о Перль, которую увезли в санитарном фургоне. Но представить, что делают с ней в лаборатории, я не могла – просто не получалось.

Она сильнее меня, твердила я себе, она выдержит.

Напрягая всю свою волю, я старалась не думать о самом плохом.

– Когда-нибудь, – сказала я своему другу, – убивать не придется вовсе. Потому что эта война… будет же конец.

– Ты имеешь в виду конец света? – Пациент нахмурился.

– Да нет же, конец войны, – уточнила я. – Эта война закончится.

Он пожал плечами. Не знаю, что было тому причиной: мои ощущения или очередной гол, забитый охранниками.

– Конец света, конец войны. Это одно и то же, – выговорил он.

И с этими словами, в приступе ярости, которую подхлестнул выигрыш охраны, Пациент, вскочив на ноги, запустил свой хлебный нож в сторону облаков-фашистов, и его истерзанный организм не вынес даже такого незначительного жеста, потому что паренек заковылял спиной вперед, с глухим стуком рухнул на землю и ударился головой о камень. По телу пробежала судорога. Кобыла даже с места не сошла; меня сковало ужасом. Я стала звать Отца Близнецов, потом доктора Мири. Пациента били судороги, глаза горели. Вратарь узников с криком бросился к нам, хотел прижать Пациента к себе и вставить ему между челюстями какую-нибудь щепку, чтобы тот не прикусил язык. Завидев эту спасательную операцию, один охранник вытащил пистолет. Раздались выстрелы. Два – в воздух, один – в живую плоть. Вратарь узников с простреленным животом рухнул рядом с дергающимся мальчишеским телом.

Сквозь толпу пробивался Дядя с каталкой. На ходу разгоняя зевак яростным криком, он перешагнул через тело вратаря, чтобы забрать Пациента.

Когда того увозили на каталке, у меня возникло страшное предчувствие. Мне подумалось, что больше я не увижу своего друга. Я опустила взгляд на свои трясущиеся руки, сжимавшие его подарок. До меня и без этого рожка доносились вопли Дяди, направленные прямо в неподвижное лицо Пациента, как будто в напрасной надежде вернуть мальчика к жизни.

И среди этих воплей и криков я ощутила муки своей сестры, от которых я пыталась отгородиться, поскольку она сильнее, поскольку она сама так решила, поскольку я не смогла бы существовать ни с кем другим. Это страдает Перль, твердила боль у меня внутри. Боль эта металась, скручивалась и говорила: Со своей долей поступай как хочешь, но я не допущу, чтобы меня не замечали, перенастраивали, терпели.

Заслышав это, я выронила рожок.

Он упал в нескольких шагах от узника-вратаря, который лежал на краю футбольного поля, одной рукой зажимая рану. Как такое получается, что мы до последнего сохраняем любознательность, намерение испытать и узнать все – даже перед лицом смерти? Понимаете, когда на кромке футбольного поля этот вратарь заметил неуместную и чуждую вещицу из слоновой кости, он в предсмертном тумане пополз вперед, словно от этого рожка ожидал услышать заключительный наказ, крик, звук. Но охранник, заметивший его интерес, прикончил вратаря одним выстрелом в спину и схватил рожок. Только тогда узник застыл. Между полами его лагерной униформы вспыхнули красные облака… у меня на глазах они расплывались и ползли по горизонту его плеч.

Перль

Глава шестая. Провозвестники

Когда безжизненного Пациента увезли, моя сестра замолчала. Если она и выразила свою скорбь, я этого не услышала. А возможно, не уловила: ведь слова скорби непросто было разобрать среди всех звуков Освенцима. Шел октябрь сорок четвертого: в небе барражировали самолеты, своим ревом заглушая лай собак и выстрелы с караульных вышек.

– Русские, – горестно бросил Таубе, вглядываясь в небо и не обращаясь ни к кому в отдельности. – Почему мне недостает трусости сдернуть из этого ада прямо сейчас, пока вся Польша не развалилась на куски?

– Вот досада! – насмешливо посочувствовала Бруна. – Никуда не денешься, если храбрость через край бьет.

Затаив дыхание, я ждала, что за этим последует. Не последовало ничего. Таубе был слишком занят собственными раздумьями.

– Так бы и разбомбил этот гадюшник прямо сейчас, – продолжал он. – Чтобы вас всех обломками завалило. И пусть русские откапывают ваши трупы.

– А что тебе мешает? – дразнила его Бруна. – Урод несчастный!

Таубе настолько поглотило зрелище самолетов, что он даже не погнался за Бруной. А возможно, из-за рева двигателей не расслышал ее брани. Как бы то ни было, она своего не упускала.

– Размазня вонючая! – кричала она. – Зануда паршивый! Красная цена тебе – рыбья задница!

Бруна совсем распоясалась в надежде на продолжение тех полетов. Приход русских для многих был вполне ощутимой мечтой, но для моей сестры оставался пустым звуком.

Без своего друга, который заботился о нас обеих, Стася изводилась от неприкаянности. Со всех сторон ей давали советы, чем себя занять, но она отвергала и призывы Бруны сколотить команду, и приглашения на чай, поступавшие от матери семейства лилипутов. Клотильда, зная, что Стася любит детей, доверила ей честь таскать гниды из волосенок своих младенцев, но даже такой акт доверия не смог приободрить мою сестру.

Теперь, по ее словам, у нее не оставалось времени на всякие наши глупости, и действительно, ее не привлекали ни жутковатая забава «труп щекотки не боится», ни даже игра «Гитлер-капут». Прежде Стасины пантомимы грозили лишить Мирко его лавров: она почти переплюнула его пародию на Гитлера – не за счет нарисованных усиков, а мастерски передразнивая речь и повадки фюрера. Я знала: она обожает смешить других, но после смерти Пациента ее никакими силами нельзя было заставить актерствовать. Когда я старалась ее переубедить и говорила, что игры помогают сдружиться, а потому полезны, сестра отвечала, что времени на друзей у нее теперь тоже нет, причем заявляла об этом во всеуслышание, явно рассчитывая, что Мойше Лангер (который недавно угостил ее леденцом и раздавил таракана, прежде чем тот заполз ей на ногу) перестанет за ней бегать и вообще оставит в покое.

И тянуло ее только к одному месту – к ступеням больнички, где можно было сидеть с хлебным ножом на коленях. Ступени эти повидали очень многих: больных, медсестер, покойников на носилках. Доктор Мири при входе и выходе проявляла крайнюю осмотрительность и огибала мою сестру, которая всем своим видом показывала, что к ней лучше не соваться с разговорами о судьбе Пациента. Хотя доктор Мири передвигалась вверх и вниз по лестнице только бегом, она постоянно натыкалась на взгляд Стаси, пытавшейся придать своему каменному лицу особое выражение. Как могла, Стася изображала вопрос, тихое противостояние. Доктор Мири лишь скорбно морщила лоб, но тут же, словно в ответ на летящие ей в спину крики умирающих, разглаживала морщины.

Не знаю, как моя сестра выдерживала эти крики. Мне такое было бы не под силу, но сестра, я уверена, пропускала их через фильтр скрипучего голоса Пациента. Видимо, испытывала себя с расчетом на будущее. Потому что с прекращением налетов советской авиации Стася вновь начала со мной общаться. Правда, голос ее теперь приобрел какую-то незнакомую горечь. Он был старше нас, вместе взятых.

– Меня преследует этот цветок мака. Постоянно. А тебя, Перль?

– Я тоже его вижу.

– Сил больше нет, – призналась она. – Уж ты постарайся, чтобы я не увидела целое поле этих маков.

Это предостережение заставило меня начать подготовку к ее неминуемой скорой утрате.

Я тайком побежала к Петеру. Стася его терпеть не могла, этого самовлюбленного парня-рассыльного, который по просьбе Пациента организовал слуховой рожок. Петер лучше нас разбирался в живописи и литературе, чем производил глубокое впечатление на доктора. Но что хуже и удивительнее всего, он был одиночкой и не имел никаких генетических отклонений, суливших жизнь. На самом деле он выживал в «Зверинце» благодаря своей арийской внешности: Менгеле отмечал у него «героический нос и волевой подбородок».

С самого начала Петер был у Менгеле на особом счету: ему давались привилегии, ставившие этого четырнадцатилетнего подростка на голову выше нас всех. Не мне судить, понимал Петер свой статус или нет, стыдился ли расположения доктора. Но вел он себя не так, как другие. Я наблюдала за ним с первых дней и своими глазами видела, как он по-кошачьи нырял под любые ограждения и расхаживал с угрюмо-решительным видом, выказывая пренебрежение к своим привилегиям. Этот Петер отличался завидной приспособляемостью, но воспитанием намного превосходил Бруну: к решению всех задач он подходил не по возрасту дипломатично. Это, конечно, выделяло его из общего ряда, если не сказать большего. Среди неизбежной лагерной грязи Петер сохранял удивительную опрятность. Никакого чернозема под ногтями, не в пример нам всем. Я часто наблюдала, как он разглаживает ладонями одежду и обметывает петли. Худой, кожа да кости, на поле он по мере сил делал зарядку: без передышки отжимался, поднимал над головой камни. Петер был капитаном футбольной команды и в мальчишеском блоке «Зверинца» возглавлял тайное общество «Пантера», которое на самом деле не составляло никакой тайны и собиралось от случая к случаю, главным образом ради борьбы на руках.

Но было в нем и кое-что более впечатляющее, чем все эти достижения: Петер оставался одним из немногих, кто сохранял чувство собственного достоинства даже в присутствии Менгеле, что выглядело какой-то изощренной хитростью.

Впрочем, ничто из перечисленного не вызывало у Стаси такой зависти, как то, что Петер, будучи на посылках у Менгеле, мог осматривать все заметные объекты и пересекать все границы нашего чудовищного города. Бегая от блока к блоку, от мужских бараков к женским, через вожделенные цветущие лужайки к штабному нацистскому великолепию, он доставлял сообщения из одного места в другое. Наши возможности и рядом не стояли с его свободой. Мы только и видели что мальчишечий и девчоночий бараки, знали длину ограждения, заднюю стену больнички, дорогу к лабораториям и кошмары этих самых лабораторий. Об остальном могли только догадываться. А Петер все повидал своими глазами.

Он повидал «Канаду» – пакгаузы, где хранилась награбленная роскошь. Горы золота, пирамиды серебра. Частоколы высоких стоячих часов. Штабеля фарфора – хоть закатывай банкет на тысячу персон. Мягкие кипы меха и кожи. О «Канаде» Петер мог рассказывать до бесконечности.

Его посвятили в больничные тайны, в схемы обмена, которыми жили капо. Он видел, как люди оставляют шифровки на досках уборных, как закапывают в пыль отчаянные воззвания. Обо всем этом он тоже рассказывал, но вполголоса.

Повидал он и особые, запретные кладовые, куда свозили зубные коронки из драгоценных металлов, волосы и части тел. Говорить про них он отказывался наотрез.

Его перемещения были связаны с риском. Хотя охранники в большинстве своем знали Петера как любимчика Менгеле и не трогали, бывали случаи, когда его принимали за нарушителя порядка. От одного из таких эпизодов у Петера остался шрам: ему хлыстом отсекли верхнюю часть уха. Менгеле взялся зашивать, но своими неловкими пальцами только увеличил поверхность раны. Сам Петер не особо огорчался из-за той травмы. Он говорил, что Менгеле так измордовал офицера, что это само по себе уже было как награда. А теперь, по его словам, он готов был нарочно спровоцировать такое же происшествие, поскольку другой возможности отомстить он не видел.

Это рваное ухо только расположило меня к Петеру: он напоминал мне бездомного кота из нашего с сестрой детства. Тот бежал к нам на звон колокольчика. Не скрою: я частенько гадала, каково было бы погладить этот шрам, взяться за него двумя пальцами, прочувствовать, пока еще есть возможность, прикосновение к Петеру, прикинуть температуру его тела.

Я надеялась когда-нибудь остаться с ним наедине, хотя, если честно, не могла придумать, как к нему подступиться.

Петера я отыскала в компании тройняшек по фамилии Ягуда: прислонившись к стене мальчишеского барака, они репетировали фокусы. Тройняшки хотели добиться, чтобы белые носовые платки струились, как молоко, перетекая из одной руки в другую. Этот фокус принес тройняшкам небывалую популярность: он создавал иллюзию близости к съестному. У Стаси их манипуляции отклика не находили. Пустое занятие, повторяла она, удел мечтателей в мире, более не признающем мечтаний. Это суждение она высказывала в полный голос, и сейчас я отчаянно надеялась, что Ягуды не спутают меня с моей резкой на язык сестрой. Впрочем, судя по их лицам, надежды мои явно не оправдались.

– Чего тебе надо, Стася? – в унисон спросили двое из троих.

– Это не Стася, – сказал Петер, не поднимая взгляда. – Стася оглохла. А эта все слышит.

– Она не оглохла, – вступилась я. – Просто у нее одно ухо пострадало. Но самочувствие с каждым днем улучшается.

Мальчишки стали ехидно подталкивать друг друга локтями.

– Спорим, вот-вот начнет перед Таубе вытанцовывать, – хихикнул один Ягуда.

– Можно спросить, – начала я, заливаясь краской, – на сколько хватает этого молока-из-платка, если поделить на четверых? Вы от этого пойла стали сильнее всех?

Скомкав платки в кулаках, они испепеляли меня взглядами, но такая мелочность была мне нипочем. Я встала рядом с мальчишками у стены. Наступило молчание. В «Зверинце» мальчики с девочками обычно не общались, это было не принято. До того как нас погрузили в вагон-скотовоз, я слышала, как девочки постарше болтали насчет неловкости, возникающей на танцах. Мне подумалось, что ситуация очень близка к тому. Тишина была такая, что я слышала, как боль у меня внутри прокладывает новые тропы: она курсировала и сворачивалась в клубок, накалялась и камнем падала вниз. Поэтому я с благодарностью прислушалась к Адаму Ягуде, когда тот со мной заговорил, пусть даже от нечего делать.

– Ты, надеюсь, понимаешь, что Таубе все врет насчет дружбы с Зарой Леандер?

– Не держи меня за дурочку, – ответила я.

– Ну а сестрица твоя вроде на это клюнула.

– Она тоже не дурочка, – сказала я. – Слушай, а более осмысленных фокусов у вас нет? Я бы на вашем месте разыграла перед фашистами внезапное исчезновение.

Братья Адама хохотнули. Сам Адам не увидел в этом ничего смешного.

– Кроме шуток, – добавила я.

– Какие уж тут шутки, – вступил Петер, приближая ко мне лицо, чтобы заглянуть в глаза. – Шутница у нас – это Стася, верно?

Говорил он негромко, без издевки, как будто мы с ним остались наедине, а не в компании троих близнецов, как будто находились в гостиной, а не в лагерном дворе под пыльными стенками барака. И тут, как будто застеснявшись такой серьезности, он зацепил пальцем завиток моих волос и дернул. Прикосновение… оно оказалось таким непростым и таким странным. Меня всю жизнь дергали за волосы; ну не всю, а только в ту пору, когда в школе сзади меня сидели мальчишки, но сейчас получилось совершенно по-другому. От этого касания меня охватило приятное волнение, и я поняла, что оно может остаться высшим проявлением юношеской ласки, какое мне суждено испытать. Меня подкосила мысль, что подобное волнение может не прийти ко мне больше никогда. А рваное ухо Петера… оно так и притягивало мой взгляд. Будь на мне юбка с карманами, я бы спрятала руки, просто чтобы унять желание дотронуться до этой неумело заштопанной раны.

– Подразнить тебя решил, – сказал Питер. – Не бойся, языком чесать не стану.

Я-то думала, что наша со Стасей подмена остается в секрете, – как Петер прознал, ума не приложу. Тройняшки хранили гробовое молчание, как будто им самим уже случалось выходить из такого положения. Вероятно, Петер заметил мое смущение: он щелкнул пальцами – и Ягуды исчезли. Признаюсь, меня поразила такая власть. До чего же непривычно было видеть такое деликатное выражение приказа в этом лагере, где самый незамысловатый приказ выражался пинком ботинка в шею.

– Прогуляемся? – предложил Петер.

Он хотел отдать мне свой джемпер: стянул его через голову и попытался набросить мне на плечи. А я стряхнула – это была непроизвольная реакция, свойственная переходному возрасту. Не хотелось быть ему обязанной; а кроме того, мне было достаточно этого приглашения.

Во время нашей прогулки я заметила приближение зимы. Вдалеке, за крематорием и футбольными площадками, виднелись березы, которые сбрасывали янтарную листву в преддверии снегопада. А за обнаженной белизной этих деревьев, я знала, была холмистая местность, река, воля. Все, включая меня, слышали историю про бунтарей-влюбленных – звали их Розамунда и Лука, – которые с месяц тайно встречались, обменивались нежными записками, а потом затеяли побег и были убиты выстрелами в спину: истекая кровью, они умерли обнявшись в грязи под забором. Во время прогулки с Петером я старалась о них не думать и сосредоточила все внимание на гряде пней, тянувшейся вдоль всей ограды. Держась впереди, я перепрыгивала с одного пня на другой, чтобы не касаться земли. Так мне было легче поддерживать разговор, а к тому же я забывала про боль и вспомнила о ней, лишь когда оступилась.

Петер помог мне подняться и рукой в вязаной перчатке сковырнул камешек, впившийся мне в колено. Истерзанная иголками, которые вгоняли в меня медсестры и врачи, я затряслась от прикосновения, которое никак не могло мне повредить.

– О тебе легенды ходят, – сказала я Петеру. – Будто бы ты можешь организовать что угодно. Научил собаку Таубе рычать при упоминании Гитлера. А еще рассказывают, что ты подсунул лаборантке Эльме жабу в ящик письменного стола, а Менгеле в домашнюю туфлю – яйцо.

У Петера челка все время лезла в глаза. Это позволило ему не смотреть на меня при ответе.

– Ну, всякое бывало, – согласился он. – Но чтобы в домашнюю туфлю? И рад бы, но нет. Ума не приложу, откуда берутся эти россказни. Не сочиняет ли их твоя сестра?

– Я и кое-что похлеще слышала.

– Неужели? Тогда не могла бы ты попросить, чтобы Стася распускала обо мне более лестные слухи?

– Не Стася, а Бруна. Это она рассказала мне о твоем… посещении…

Он так встревожился, что даже остановился.

– Ну, знаешь, эта соврет – недорого возьмет. Бруна вообще не в курсе. Веришь, нет?

Меня в свое время настолько поразил тот рассказ, что сейчас я от смущения проглотила язык.

– В «Пуфф» я хожу только как посыльный. Но однажды действительно замешкался и увидел там своего приятеля Алекса. Знаешь его? – В задумчивости он сделал паузу. – Нет, вряд ли… когда вас привезли, его здесь уже не было. У нас разница в возрасте года два, но мы вместе выросли, по соседству. Не виделись год, а то и дольше. Взрослые дядьки у них в блоке скинулись, чтобы отправить его в «Пуфф». Я просто обалдел, но Алекс был в восторге от такого подарка… и даже взял с меня обещание: мол, если я увижу его отца, чтобы непременно ему передал, где мы столкнулись.

– И что же: ты видел его отца?

В голосе Петера появилась отчужденность.

– Видел.

– И рассказал ему про похождения сына?

Отчужденность нарастала.

– Нет.

– Значит, не сдержал своего слова?

Тут Петер смешался. Я видела, что у него нет желания продолжать этот разговор. Но…

– Это как посмотреть. Потому что его отца я увидел в куче трупов. А с покойниками толковать – хуже нет. Начнешь с ними объясняться – разучишься по-человечески говорить хоть на каком языке. Так что я вместо этого записку черкнул и в карман ему сунул. Дескать, вам приятно будет узнать: ночью Алекс оттянулся на полную катушку. С меня семь потов сошло, пока я это кропал.

Петер умолк. Никогда бы не подумала, что он способен краснеть.

– Как по-твоему, правильно я поступил? – спросил он. – Мне это покоя не дает. Каждый день вспоминаю.

Я знала, что гложет меня. А теперь узнала, что гложет его, и утешилась; это плохо? В задумчивости он взрывал землю прохудившимся башмаком, словно хотел втоптать в грязь назойливые мысли.

– Вот поделился с тобой – может, выкину это из головы. Буду вместо этого думать о тебе.

Я даже не подозревала, что в чужом голосе бывает столько нежности. Не знала я и того, что в моей жизни настанет день, когда парень подойдет ко мне вплотную и смахнет с моей щеки прилипшую ресницу, а я буду отчаянно надеяться, что Стася не распознает тех ощущений, которые охватили меня в этот миг.

От меня не укрылось, что он потер мою ресницу двумя пальцами.

– Завтра утром лаборантке Эльме придется пересчитывать их заново. – Он пытался разговаривать как ни в чем не бывало.

Когда я пошла искать Петера, у меня и в мыслях не было его целовать. А вот поди ж ты – именно это я и сделала. Нет, на самом-то деле я только проявила инициативу, хотя и с дальним прицелом: прижалась губами к его губам. И, хочу сказать, не отстранилась, даже когда он ответил на мой поцелуй, даже когда взял в ладонь мою щеку, как никто не делал прежде, но я не считала это началом сближения, привязанности, любви или того чуда, какое расцвело в сердцах обреченной пары, Розамунды и Луки, толкнув их на смерть.

Ведь негоже в таком месте, как это, по отношению к ближнему проявлять человечность, врезаться ему в память, а по отношению к себе – и того хуже: решиться на первый опыт, который вскоре может стать для тебя последним.

При этой заключительной мысли я отстранилась. Петер не понял, в чем дело, но, как положено джентльмену, отступил назад. Конечно, его внезапная сдержанность заставила меня пожалеть о своем порыве. Но у меня и без того была масса причин для беспокойства, и я, вопреки своему желанию, вынудила себя переключиться на них.

– У меня к тебе просьба, – сказала я.

– Понятно, – устало выговорил он и вздохнул. – Вот, значит, в чем причина.

– У тебя уже это было? С другими девочками?

Петер вежливо пожал плечами. Я заметила, что он все еще бережно держит на ладони мою ресницу. Но тут ее сдул налетевший ветер.

Я встала на нижнюю перекладину забора, чтобы оказаться вровень с искромсанным ухом, и отбросила стыд, а потом шепотом объяснила суть своей просьбы. Мне это необходимо, сказала я, чтобы сестра продолжала жить, когда я ее покину. А как только с этим делом было покончено, я дотронулась до шрама на ушной раковине, где кожа была натянута до предела.

Где-то забренчала музыка. Она плыла вверх и крепла: это в подвале началась репетиция оркестра. В этом углу двора нередко удавалось послушать музыку. Ту самую, что встречала на платформе наш вагон-скотовоз, а теперь, когда транспортное сообщение нарушилось и новых узников больше не привозили, сопровождала труд заключенных, которые строили бараки, сортировали вещи в пакгаузах, перевозили на подводах трупы и постоянно копали могилы, одну за другой. Музыка взмывала и настойчиво пела: Подойди сюда, к последнему рубежу своего истребления, где выживет лишь тот, кто докажет свою полезность.

За всю нашу недолгую жизнь мне ни разу не приходило в голову, что я способна возненавидеть музыку. Но здесь, в лагере, так и случилось: я содрогалась от каждой ноты, с ужасом ждала нарастания и ослабления звука, начала следующей пьесы, потому что под каждую мелодию люди шли на смерть.

Но в тот миг, когда я стояла перед одетым в рваный джемпер Петером, который разглядывал поля за нашим забором и березы, растущие вдоль него, эта музыка оказалась желанной, поскольку всколыхнула воспоминания обо всем, что у нас было, и о том, что впереди когда-то ждали бесконечные годы. Поскольку им не суждено было наступить, я мечтала хотя бы отдаленно прочувствовать, какой могла бы стать их малая частица. А заодно понять, какую роль играет музыка, когда двое, сжимая друг друга в объятиях, бережно движутся сквозь минуты.

Как и большинство парней, танцевать Петер не умел. А мне хотелось закружиться в вальсе, для которого не слишком подходили эти скрипучие мелодии. Как я поняла, оркестранты еще не настроили наш рояль. Впившись в меня костяшками одной руки, безбожно отдавив мне ноги, Петер с притворной серьезностью выполнил и это мое желание, как будто мы были не отчаявшимися подростками-узниками, а взрослой парой, решающей какой-то сложный насущный вопрос.

– Чтобы ты понимала: раздобыть эту штуковину почти невозможно, – сказал он. – Кобыла не спускает с меня глаз. У Таубе новая сторожевая собака. На дежурстве эта зверюга дрыхнет. А если я попытаюсь просочиться? Она же меня учует.

Я ответила, что он сам любит рискованные затеи.

– Нет, это только ради тебя, – возразил он.

Своей неуклюжей, теплой рукой он держал мою дрожащую ладонь. Под тонким джемпером у Петера выступало ребро. Кости я видела ежедневно: они торчали под кожей медленно умирающих ребят. Но никогда прежде мальчишеские кости не оказывались ко мне так близко… из-за этого я и сказала Петеру в плечо:

– Я тебя люблю.

Петер даже прекратил наступать мне на ноги; прищурив один глаз, он посмотрел на меня в упор:

– Нет, неправда. Со временем… как мне кажется… это могло бы произойти. Но ты решила сказать об этом сейчас, потому что у тебя может не оказаться возможности заговорить об этом всерьез, так ведь?

– Да, – призналась я. – Верно.

– Тогда и я тебя люблю, – сказал он, и мы оба пожалели, что это не взаправду.

Тем не менее я повторила эту фразу в костлявую лесенку грудины Петера. Беззвучно, одними губами. Но уверена, что он каким-то чудом расслышал. Потому что после окончания музыки он с большой неохотой оторвался от нашего вальса и зашагал в лиловые разводы сумерек, пообещав достать, что я просила, и не требовать оплаты поцелуями.

Я сказала, что насчет поцелуев сама как-нибудь решу.

И он ответил, что сопротивляться не будет.

Сумерки забыли, что в Освенциме им не положено быть прекрасными. Бархатным занавесом они смыкались за спиной посыльного.

октября 1944 г.

В дневные часы боль нарастала. Иногда, просыпаясь по утрам, я чувствовала, как у меня леденеют пальцы ног, а бывало, что боль куксилась где-то в животе. Каждый раз – в новом месте и с новой силой. Я старалась не думать о природе моего недуга – в конце-то концов, какая разница? – но мозг требовал точного названия. Со временем я выбрала для него имя «слабость», чтобы этот ярлык побуждал меня набираться сил. Я подслушала, как доктор Мири говорила, будто данный эксперимент позволяет выявить силу и сопротивляемость: мол, доктор проверяет, кто из близнецов способен блокировать перемещения микроскопических нарушителей, которые шприцами вводятся в организм.

Но что бы во мне ни бурлило – тиф, оспа или какая-то безымянная бацилла, – я не ведала, хватит ли у меня сил и дальше скрывать эту слабость. Чтобы поправиться, я прислушивалась к разговорам девчонок, запоминала советы, но обратиться к Стасе не могла. У всех подопытных, моих товарищей по несчастью, были свои хитрости. Все знали, как уклониться от вопросов, за которыми следует отправка в больничку; все умели маскировать кашель под смех. Когда Кобыла, пощупав мой подозрительно горячий лоб, велела мне измерить температуру, одна из близняшек отвлекала нашу блоковую разговорами, а вторая держала градусник. Мой жар не подтвердился.

В «Зверинце» единодушно верили в целительную силу картофеля. Но я подозревала, что на самом-то деле целительное воздействие оказывает сам процесс поисков, на время дающий возможность забыть о боли. Выручала, конечно, Бруна. Чтобы сообща проникнуть на кухню для заключенных, мы вызывались подсобить поварихе нести ведро с баландой. Стоило поварихе отвернуться, как мне за пояс ныряла картофелина.

В бараке я вгрызалась прямо в бурую кожуру и чувствовала, как у меня шатаются зубы: они болтались, как птички на проводах, готовые свалиться от налетевшего ветра.

День за днем, картофелина за картофелиной – я только слабела. И день за днем после переклички улучала момент подойти к Петеру; тот выворачивал карманы. А после рассказывал мне всякие истории. Например, про то, как во время одной эсэсовской гулянки его позвали читать стихи; он продекламировал Уолта Уитмена, выдав его стихотворение за свое, – и никто ничего не заподозрил. Или про то, как женщины из «Пуффа» называли Таубе слезливым, тупым пьянчужкой с тайной страстью к еврейкам. Про то, как один из участников подполья передал ему пустую изнутри книгу, в которой хранился секретный запас пороха. Такие байки он рассказывал для того, чтобы облегчить тревожное ожидание, но, думаю, при этом видел (хотя я изо всех сил изображала внимательную слушательницу), что меня терзает невидимая рана, какая-то беда, только и ждущая своего часа у меня внутри.

Через неделю после начала поисков Петер подошел ко мне, сжимая в кулаке то, что я просила.

– Опасаюсь, – сказал он, – что ты обо мне больше не вспомнишь. – И торжественно вложил свою добычу мне в ладонь.

Даже не верилось, что он сумел выкрасть эту вещицу у наших тюремщиков. Засунув ее за пояс юбки, я поблагодарила Петера и распрощалась. Расставаться он не хотел. Он хотел получить очередное задание, хотел заняться новыми поисками. Объяснил, что ему легче, когда у него есть определенная цель.

– Заказывай, – сказал он. – Мне нужно чем-то себя занимать. Чем-то стоящим. Принесу тебе все, что пожелаешь. Из-под земли достану.

В его голосе звучала мольба. Я и хотела что-нибудь заказать, да не могла ничего придумать. Все мои желания перечеркивала боль.

– Ты заказывай с расчетом на будущее, – предложил он. – Смотри хотя бы на месяц, на неделю вперед!

Уверенный в себе парень, которого я знала – точнее, начала узнавать, – вдруг поник; сейчас он ничем не напоминал заводилу, каким видели его другие ребята.

Расстроенный моим молчанием, Петер перешел в наступление:

– Да я для тебя целый оркестр украду. – Дрожь в голосе он попытался обратить в шутку. – Начну с деревянных язычковых, а там и до медных духовых доберусь. Не веришь?

Верю, ответила я. Но это его не убедило. Я перехватила его взгляд, брошенный в направлении спрятанной добычи, и подумала, что он с радостью забрал бы ее назад, а вместе с ней и кое-что другое. Он хотел забрать назад все, что нас связывало: все чувства, все мгновения, чтобы получить возможность пережить их заново. По крайней мере, так мне виделось. Потому что я и сама ощущала то же самое.

Только никакие чувства к другому человеку не могут соперничать с потребностью остаться наедине со своей болью.

Зайде, между прочим, рассказывал нам, что некоторые животные уползают от сородичей, чтобы умереть в одиночку: раненые и бессильные отделяются от прочих, чтобы не ослаблять стаю. Скоро то же самое предстояло и мне, так что нужно было готовиться к тому неизбежному моменту, когда придется уползать прочь ради тех, кто лучше приспособлен, – ради таких, как Петер, Бруна, Стася, на которых не пал выбор Менгеле. Такова уж была моя роль, моя судьба. Оно и к лучшему: я не хотела видеть, как моя сестра подвергнется тем же истязаниям, что и я.

Но тренировать свой уход на Петере, да еще сейчас, было невмоготу. Мне хотелось провести с ним хотя бы неделю. Хотя бы пару дней.

– Оркестр – это можно, – сказала я. – Теперь доволен?

Он засмеялся и привлек меня к себе.

Вещица эта казалась мне слишком уж изумительной, слишком настоящей. Я изучала ее, вертела в пальцах. Сперва решила подарить ее Стасе. Но теперь поняла, что хочу и сама владеть этим сокровищем. Прожив с ним несколько мгновений, я отправилась на поиски сестры.

Сидя в одиночестве за мальчишескими бараками, она делала пометки в синем блокноте и переносила туда анатомические схемы. За бараками было тихо; точнее сказать, это считалось у нас полной тишиной: туда доносился только лай служебных собак, но если напрячь слух и отрешиться от собачьего лая, то можно было разобрать урчание крематория, который с фатальной методичностью выплевывал огонь и снег.

Стася прищурилась и плотно стиснула губы, записывая свои соображения. Ее глубокая сосредоточенность показала мне, насколько мы с ней разные. Нельзя сказать, что перемены произошли только со мной. Я помимо воли носила в себе обломки болезни, но и моя сестра тоже стала другой, хотя и в меньшей степени. От нас ушла юность, не позаботившись о том, чтобы обездолить нас одинаково. Вслух я ничего не сказала, но Стася все равно услышала.

– Это верно. Мы с тобой не похожи, – выговорила она в ответ моим мыслям.

– По моей вине. Я не с той стороны пробор сделала, – объяснила я.

– Зачем? В какую сторону волосы ни зачесывай, этим никого не вернешь, – скорбно выдавила сестра.

И завела свою обычную песню – как она не уберегла Пациента, как до сих пор не сумела прикончить Менгеле. Пациент не мог бы на тебя обижаться, сказала я. Но переубеждать ее было бесполезно. Поэтому я взялась заплетать ей косу. Сестра сидела у моих ног, но у меня так сильно тряслись руки, что пряди волос проскальзывали между пальцев.

– Почему-то не получается, – призналась я после третьей попытки.

– Да потому, что ты видишь в себе маму.

– Возможно.

Стася отложила блокнот. Удивительно, что она заставила себя это сделать. Создавалось впечатление, будто эта синяя книжица заменила ей меня: ее можно было любить, не боясь потерять.

– Хочешь, поиграем в игру, когда мои руки становятся твоими? – предложила Стася.

– Не хочу.

– Ты уже забыла, как это делается? Проще простого. Заводишь руки за спину, я просовываю под ними свои. А потом начинаю изображать всякие смешные сценки: как я машу кому-то на прощанье, завариваю чай, продуваю в карты.

– Не хочу. – Я не выбирала слов.

– Ладно, давай как будто ты у меня выигрываешь. Согласна?

– Ни за что.

Меня передернуло. Отказалась я не без причины: эта игра мне опротивела. Потому что «Зверинец», изменив для нас очень многое, совершил и самую разительную перемену: он разрушил наше понимание единства с родным человеком.

Истории, ходившие об этом лагере, сами по себе изменяли наше стремление к близости. Взять хотя бы такую. Весной, перед тем как нас пригнали сюда, Менгеле сшил вместе двух мальчиков-цыганят: просто соединил их спиной к спине. Сперва они просто не вернулись в свой блок. Потом из лаборатории стали доноситься вопли, причем отличные от всех других. Эта душераздирающая агония слишком плохо действовала на остальных подопытных, и Менгеле перевел сшитых мальчишек на другую площадку. Их историю рассказал мне Петер: он своими глазами видел, как этих бедолаг вынесли на одних носилках и погрузили в фургон. Петер двинулся следом на безопасном расстоянии, но фургон вдруг остановился. Этих цыганят, глядевших в противоположные стороны, бросили в какой-то подвал, где они трое суток валялись на каменном полу, соединенные общим швом вдоль позвоночников и общей инфекцией.

Утешаться можно было разве только тем, что они не видели страданий друг друга.

Но обсуждать это со Стасей я не собиралась и сменила тему. Нужно было как-нибудь распрощаться, как-нибудь пронести в барак мое сокровище, чтобы не встревожить сестру, как-нибудь позолотить пилюлю, чтобы Стася ничего не заподозрила.

Я заговорила с преувеличенной жизнерадостностью, какой требовал подобный обман. Эту манеру я переняла у мамы после отцовского исчезновения и постоянно отрабатывала в подвале нашего гетто, когда оказывалась одна и начинала сомневаться в нашем будущем.

– Если ты так навострилась читать мои мысли, – весело сказала я, – говори: что у меня за поясом?

У нее во взгляде вспыхнули искорки живости.

– Письмо от мамы? От зайде?

– Вторая попытка.

– Нож? Пистолет? Ну что? Погоди, не подсказывай… Я сама угадаю.

Но было уже слишком поздно. Я уже вытащила этот предмет из потайного кармана и протянула сестре.

– Рояльная клавиша?

– Клавиша, да не простая, – сообщила я.

Она повертела в пальцах и внимательно осмотрела эту белую вещицу. Зная, как работает ее ум, я поняла, что она уже ищет вторую, не в силах смириться с одиночеством клавиши, оставшейся без братьев и сестер.

– Ну и к чему это? – Заговорила она не просто равнодушно: в ее тоне прозвучало убеждение, что от меня нынче нельзя ждать ничего толкового.

Пришлось объяснить, что клавиша и в самом деле не простая, а от нашего старого рояля – частица прошлой жизни, напоминание о чем-то важном, и тот, кто сохранит эту вещицу, останется со мной навсегда.

Она стала подбрасывать клавишу на ладони, будто раздумывала: орел или решка? Всякий раз, когда клавиша зависала в воздухе, сестра оживлялась от мечтательного предвкушения, но, как только гладкая слоновая кость падала ей на ладонь, Стася мрачнела, словно сила земного тяготения грозила раздавить любые надежды.

– Если даже я тебя покину, – продолжила я, – то я никогда тебя не покину. Ведь у тебя останется эта штуковина, понимаешь?

– Ты хочешь сказать, клавиша? Предлагаешь мне этим утешаться?

Ответа у меня не нашлось. Она зарылась лицом мне в плечо; рукав у меня очень скоро отсырел. Сестру слегка затрясло. Достаточно, чтобы она разжала руки. Клавиша выпала, перевернулась в воздухе и запрыгала по земле. Провожая ее глазами, я почему-то задалась вопросом: те цыганята умерли вместе или же одному из них довелось облегчить уход второго?

Приблизив губы к моему уху, сестра заговорила сбивчивыми, мучительными полушепотками-полурыданиями, но ничего осмысленного не произнесла и умолкла. Могу лишь догадываться, что она хотела сказать. Но что говорили друг дружке те цыганята, я даже не представляла.

Была ли у них возможность проститься?

Или от общих мук им было не до прощаний?

От мысли об этих мальчишках меня бросало то в жар, то в холод. Моя собственная боль стала выплывать на поверхность, и я поспешила оттолкнуть сестру. Это был инстинктивный жест, который мог показаться грубостью даже при отсутствии злой воли. Просто рефлекс. Конечно, сестра тут же засеменила обратно и обняла меня за шею. Мне стало душно. Я вновь оттолкнула ее, с новой силой. От обиды она вспыхнула. Решила, как видно, что мне противны ее объятия, ее жалкие иллюзии. Наверное, в этом была доля истины, притом что мы обе проворонили мою рояльную клавишу, но вся истина заключалась в том, что в этот миг сестра нужна была мне затем, чтобы ее убедить: она проживет и без меня. В третий раз я ее оттолкнула – откуда только силы взялись? – да так, что она, не удержавшись на ногах, с глухим стуком упала на землю и осталась сидеть, моргая под первым снегом.

– Вставай, – безжалостно потребовала я.

Мне показалось, так будет правильно. Здесь иначе нельзя. Пусть она живет для себя, подсказывала мне моя боль. Я не знала, оказалась ли она слабее или просто удачливее меня, – знала только, что она должна жить.

Но моя сестра только растянулась на снегу. Сперва я подумала, будто она изображает снежного ангела, но тут же сообразила, что поза-то совершенно другая: пораженческая, хотя и с вызовом.

– Не встану, – прошептала она.

– Вставай, Стася, – повторила я.

Она заворочалась, как неразумное дитя.

– Встану, когда ты пообещаешь никогда меня не покидать, – приглушенно заявила она, уткнувшись лицом в заснеженную землю.

Невыносимо было стоять над ней могучим истуканом, когда ее буквально разрывало изнутри…

– Обещаю, что какая-то частица меня всегда будет с тобой. Теперь ты довольна?

Не глядя в мою сторону, она подняла голову от земли. Ее нос и губы распухли от рыданий, а голые пальцы хватались за землю. Сколько же в них было отчаяния, в этих пальцах, если они пытались уцепиться за что угодно, хотя бы за снежную грязь!

– Какая частица? – всхлипнула Стася.

Ее давние фантазии – вот чем я воспользовалась. А сама-то верила в них? Раньше, скорее всего, нет, но сейчас, когда сестра, совершенно убитая, лежала у моих ног, – верила безоговорочно.

– Та частица, – ответила я, – которая знала, кто мы такие, пока у нас даже не было ни имен, ни лиц. Давным-давно, когда мы еще плавали в околоплодных водах. Помнишь наш плавучий мир? Нас еще нельзя было даже считать детьми, но все же мы умели друг дружку любить. Мы знали, что настанут нынешние времена, но просто не представляли, как это произойдет, а главное – по какой причине. Нам предстояло немало прожить, пока за нами не пришли. Вот почему мы решили выйти из мамы раньше срока и как можно скорей познакомиться с этим миром.

– Не помню, чтобы мы принимали такое решение, – сказала Стася и угрюмо, как на какую-то гадость, посмотрела на фортепианную клавишу. – Нет, я недовольна.

И тем не менее встала. А я, превозмогая боль в животе, нагнулась за клавишей. От уголка слоновой кости откололся крошечный кусочек. Я продемонстрировала сестре эту свежую ранку.

– Береги как зеницу ока, – наказала я.

Стася

Глава седьмая. Ну-ка, порадуй меня

Я убеждала себя, что эти болевые ощущения вовсе не передались мне от Перль. Но потом признала свою неправоту. Чьи же это боли, как не ее? Слишком деликатные – у меня таких отродясь не бывало; они тактично прокладывали себе путь через все мое тело, передвигаясь скачками дискомфорта вдоль каждого встреченного нерва. Да, заключила я, это боли моей сестры… но, еще только свыкаясь с этой догадкой, я ощутила боль от совершенно реального нападения. Бруна схватила меня за ухо:

– Ты поджилила, Стася!

Бруну трясло от холода и злости. Мы ушли за бараки, чтобы перекинуться в карты. И, как мне показалось, неплохо скоротали время за игрой. Но сейчас Бруна вперилась мне в лицо, чтобы я не смогла уклониться от ее гнева. Дыхание вырывалось у нее изо рта пороховыми облачками, обдавая меня запахами зимы, голода и – едва ощутимо – кофе из жестяной кружки.

– Не спорь! – рявкнула она сквозь падающие снежинки. – Ты спецом! Жиìла, вот ты кто!

Меня бросило в краску, потом в дрожь. Бруна не шутила. Ее белые от природы патлы, которые она теперь приспособилась красить углем, роскошными, черными как вороново крыло волнами разметались по спине. Это ухищрение сызнова разожгло интерес Дяди к одной из его подопытных, а кроме того, вечно оставляло несмываемые темные разводы на ее бледном лице. Из-за этих потеков она теперь смахивала на енота, причем на бешеного.

Я все равно ее любила, но при этом побаивалась.

Да, мне пришлось научиться и жульничать, и юлить, за счет чего я не просто выживала, но еще и занимала особое положение в «Зверинце». Не трудясь, не воруя, не выказывая особого рвения… в общем, пальцем не шевельнув, я обеспечила себе вечную жизнь. Мое бессмертие было надежно скреплено иглой шприца, отрезавшей мне пути к отступлению.

На эти обстоятельства я смотрела сквозь пальцы, пока не спохватилась, что Перль оставили ни с чем. Почему Доктор не дал нам с ней равные возможности? Я считала, что у нас с ним был совсем другой уговор. О том, что мы с Перль придем к бессмертию вместе, точно так же как мы вместе росли и вместе взрослели. Неужели он разгадал мой умысел? Неужели противопоставил ему свой собственный, в котором моей сестре суждено остаться смертной, а мне – остаться без сестры?

И вот теперь меня раскусила еще и Бруна, моя подруга и заступница, горячая голова: она уличила меня в обмане – именно в том грехе, благодаря которому я жила и в ус не дула. И как сейчас обставиться, я не знала.

Вы, наверное, скажете, что моя утайка была вынужденной и, стало быть, я не виновата. А виноват исключительно Дядя: ведь это он разбавил мне кровь ложью. На это отвечу так: вы, конечно, правы, да вот только кровь кого-нибудь другого восстала бы против вливания лжи, словно против вируса, яда или недуга, тогда как моя кровь приняла его с распростертыми объятиями. Меня слишком увлекла перспектива остаться в живых вместе с Перль, вечно быть рядом, и я уже не задумывалась, каково это – пережить других, более достойных жизни. А теперь выходило, что я, избавленная от смерти, буду вечно жить в одиночку, если не сумею повернуть вспять деяния Доктора.

Из-за своей беспечности я предала не только сестру, но и многое другое. В Освенциме не нашлось бы другой столь низменной душонки. Мне предстояло полной мерой хлебнуть чужого презрения, и все же…

– Это все Дядя придумал! – вскричала я. – Не надо было мне соглашаться, это точно.

От растерянности Бруна недоуменно прищурилась. Свободной рукой она потянулась к разбросанным на снегу картам:

– При чем тут Менгеле? Зуб даю, ты в мои карты зырила. Я тебя застукала! Не отпирайся! А будешь отпираться – бардыма сожрешь!

Скомкав короля, Бруна попыталась насильно разжать мне челюсти. И лишь когда она оттянула мне губы и стала совать в горло карту, короной вперед, до меня дошло, что гнев ее вызвала совсем другая игра, не та, которую я затеяла с Дядей. Прозрение добавило мне сил; я выплюнула короля, а заодно и видимость признания, малую толику своей вины.

– Ты права, Бруна, как всегда. Я – жиìла.

– Вот именно. Заруби себе на носу.

– Хорошо, хорошо. На самом деле ты выиграла вчистую.

Бруна покосилась на жеваного карточного короля, валявшегося на снегу, и у нее на лице – редчайший случай! – отразилось раскаяние.

– Ты зла не держи, что я тебе бардыма скормить хотела.

– Уж лучше джокера. – Я засмеялась, но смех получился какой-то чужой. Отчаянный, как бы рваный по краям. Убожество, а не смех. – Нет, мне и джокер – жирно будет. Я ни одной нормальной карты не заслужила – хоть особую колоду придумывай. Балбеска. Жиìла. Зараза. Холера…

Склонив голову набок, Бруна призадумалась. Мое смирение то ли обезоружило ее, то ли подкупило – не могу судить. А может, в ней заговорила потаенная ненависть к себе? В «Зверинце» это свойство проявлялось нечасто. Мало кто позволял себе роскошь самокопания – все думали только о том, как бы выжить. Одна я была выше этого.

– «Зараза», может, и подойдет, – решила Бруна. – А остальные? Вечно тебя заносит.

Возможно, я потупилась, но сама этого не чувствовала. Меня охватило какое-то оцепенение, и я решила, что это побочный эффект моего бессмертия, не более того, поскольку Доктор, расковыряв мне ухо, больше меня не терзал. Он только делал мои фотографии, чтобы поместить их рядом со снимками Перль, – этим и ограничивалось его научное любопытство. Подчас мне хотелось, чтобы бесчувственность завладела мной полностью: тогда я могла бы собраться с духом и придумать, как уберечь Перль: например, тайком поменяться с ней местами в лаборатории, чтобы занять место избранной – моей сестры.

Вслух я ничего не сказала, но лицо у меня, вероятно, осунулось, поскольку Бруна ни с того ни с сего сочувственно притянула меня к себе, обняла и потерлась щекой о мою щеку, словно я напомнила ей лебедя, ждущего от нее спасения.

– Не жалоби меня, Блошка. А то разозлюсь!

Я извинилась.

– Хорош извиняться! Доизвиняешься до того, что в крематорий пойдешь.

Пришлось опять согласиться.

– Вот заладила: «ты права», «ты права»! Ну права, а дальше-то что?

Сидя на пне, Бруна тревожно стучала подошвами по земле. Я видела ее ввалившиеся глаза. Видела ее руки: каждая косточка будто всплыла на поверхность.

– Слушай сюда… Я уже и сама не знаю. Сказать нечего, ждать нечего. Воровать не в кайф: крошки, что ли, тырить? Отбуцкать кого-нибудь – и то не тянет: кругом все и так битые.

Растерявшись, я только и сумела выдавить:

– Без Пациента тоскливо.

Тут Бруна разжала объятия и принялась яростно тасовать колоду.

– Не скажу, что мне без него тоскливо. Но ты говори, говори: в харю тебе не плюну, а это что-нибудь да значит.

Я согласилась.

Бруна сунула колоду в карман и убедилась, что за нами никто не подглядывает. Выждала, чтобы Кобыла прошла мимо нас по своим делам, и зашептала:

– Смотри у меня: не сболтни, что я за ним скучаю. Здесь людишки такие – им непонятки без надобности. Им надо так: заметили у меня кофту новую – и сразу поняли, откуда у ней ноги растут. Вот ты, к примеру, знаешь, Стася, что это за кофта на мне?

– Краденая.

– Так, да не так! Ясно дело, краденая, но украдена-то для тебя. А ты держи язык за зубами. Даже Перль не сболтни.

– Между мной и Перль секретов нет. – Здесь я, конечно, покривила душой: если по правде, мне было известно, что Перль хранит самую страшную тайну.

– Тут секреты у всех есть, – фыркнула Бруна, а потом, набросив кофту мне на плечи, жестом позвала пройтись.

Когда я отказалась, она побрела по снегу задирать лилипутов: у нее еще оставалась невыполненной дневная норма.

Ни у кого из девчонок не было такой чудесной кофты, и притом большого размера: я в ней утопала и уже надеялась, что ночью мы с сестрой укутаемся ею вдвоем и будем спать в небывалом комфорте. Мне бы ликовать от такого приобретения, ведь оно доказывало, что Бруна меня не разлюбила. Но в ту пору ликование было мне чуждо. И движение тоже. Не говоря уже о том, что в изувеченном ухе не прекращался монотонный вой, от которого я и сама была готова завыть.

Оставшись сидеть на пне, я смотрела, как падает снег и стирает меня с лица земли. Этой способности снега могли бы позавидовать мои тюремщики. В последние дни я все чаще о них задумывалась. Если раньше мне удавалось просто отсекать их от себя с помощью безумных надежд – надежд чужекровки, то по мере того, как у меня внутри множились и побирались муки Перль, по мере того, как они, хромая и дрожа, проникали во все потаенные уголки за новой добычей и потешались над моим бессилием уберечь сестру, я невольно возвращалась мыслями к тем, кто методично причинял нам страдания, да еще так, чтобы посеять среди нас вражду. Я дала себе клятву никогда не ополчаться против других, за исключением Дяди, и, дабы скрепить эту клятву, поцеловала фортепианную клавишу Перль.

Одно из Дядиных обещаний сбылось: для нас устроили концерт, как для нормальных, живых людей. В тот вечер нам не пришлось занимать себя игрой в «труп щекотки не боится» или плетением никчемного одеяла из колючей проволоки. Нет, в тот октябрьский вечер, незадолго до роспуска женского оркестра, у нас появилась возможность послушать музыку, сидя прямо в зале, а не лежа в бараке и не топчась под окнами блока номер двадцать девять. Я понимала, что ничем не заслуживаю такого удовольствия, но втайне надеялась после внимательного прослушивания описать этот концерт маме с дедушкой.

– Сиди смирно, – одернула Перль малышку Софию, которая без конца ерзала.

Моя сестра опускала пальцы в жестяную кружку с талым снегом и пыталась оттереть грязь с девчоночьих лиц. К нашей шконке выстроилась целая очередь за чистотой.

У Перль предстоящий концерт вызывал сомнения.

– Не иначе как это уловка, – сказала она. – Может, для того, чтобы негласно произвести какой-нибудь отбор. И у тех, которые не превратились в чушек, – она кивнула в сторону очереди, – шансы будут выше.

Не один час моя сестра посвятила младшим девочкам, которые добровольно подвергали себя гигиеническим процедурам. Отмывала щеки и подбородки, кончиком заколки вычищала из-под ногтей чернозем. Глядя, как Перль наводит красоту на других, я вспоминала маму, которая любила нас наряжать и причесывать, оставаясь равнодушной к собственной внешности.

Трудно сказать, что подумала бы наша мама при виде своих дочек и тех различительных признаков, которыми исказились наши лица.

У Перль кожа стала серой; под глазами пролегли темные полукружья, а язык будто оброс шерстью. У сестры язык всегда был умней моего. Я убеждала себя, что это просто защитный слой, не позволявший произносить гадости, и что моему языку не мешало бы перенять такую меру предосторожности. Но при всем старании я так и не смогла уверовать, что шерсть на языке – это благо.

Оставалось надеяться, что у меня вид не менее болезненный.

Естественно, Перль видела меня насквозь.

– Да ведь это же хорошо, что у тебя не болезненный вид, – сказала она мне, отпустив Софию, и принялась за очередную пару щек.

Ее крошечная подопечная, Ализэ, скорбно разглядывала мою сестру, не веря, что та, совсем обессилевшая, сумеет завершить это несложное дело.

Я спросила у Перль, знает ли она нечто такое, чего не знаю я, и предупредила, что обман не пройдет. Понятно, что самые жестокие мучения сестра от меня скрывала. Но я их чувствовала нутром.

– Опять решила целительницей прикинуться? – засмеялась Перль.

Такие игры, а точнее, уловки, был мой ответ, надо забыть после того, как я убила Пациента.

Ты его не убивала, возразила Перль.

И завела ту же песню, какой мы давно убаюкивали себя по вечерам: одни живут и умирают, другие жертвуют собой и умирают, третьи жульничают и умирают, а кое-кто просто исчезает и не дает о себе знать, но эти, наверное, тоже умирают.

Ее разглагольствования меня утомили. Я настойчиво потребовала ответа: что это за боль, которую нужно от меня скрывать?

– От тебя при всем желании ничего не скроешь, – заспорила Перль, а потом теплыми кончиками пальцев сомкнула мне веки. – Вот скажи: о чем я сейчас думаю?

В голове у меня было только предвкушение концерта, но, собравшись с мыслями, я увидела целые созвездия боли, искорки света на фоне онемения. Искорки вели в лабиринт, где мои мысли заплутали. Сворачивая за угол то тут, то там, я видела только страдание, но распознать его не могла. Если коротко – я не имела представления, о чем думала моя сестра.

– Что-то не пойму, – призналась я.

У Перль на глаза навернулись слезы. Она запрокинула голову, чтобы ни одна слезинка не скатилась по щеке. И тут до меня дошло.

– Ты переживаешь насчет моего уха, точно? Думаешь, я и в самом деле глохну?

Она кивнула, а потом, закусив нижнюю губу, принялась расчесывать волосы Ализэ. Видя, как сестра дергает своей гребенкой спутанные кудряшки, я заподозрила неладное. Не понимаю, почему это не бросилось мне в глаза раньше, но сейчас я намеревалась выяснить все как есть.

– Дай-ка руку! – приказала я.

– Я занята! – бросила Перль, но малышка Ализэ воспользовалась заминкой, вскочила и бросилась к дверям.

Мы проводили глазами ее фигурку.

– Надеюсь, она не пожалеет, – вздохнула Перль. – Но в случае чего сбежит пораньше.

– Руку, прошу тебя.

Она подчинилась.

Липкую на ощупь внутреннюю сторону предплечья покрывали синяки. Но самое главное – там было такое количество следов от иглы, какое даже не представить, хотя в лабораторию меня таскали достаточно часто. Десятки. Розовые струпья тянулись вверх и вниз, как муравьи на своей тропе. Когда я задала вопрос, Перль вздрогнула, отстранилась и попробовала отшутиться:

– У Эльмы руки-крюки, сама знаешь. Никогда с первого раза не попадает мне в вену.

Сестра отмахнулась от меня и поникла. Ссутулилась. Вся стала какой-то вялой, будто даже кости размякли. Но как только перед ней оказалась другая девчушка, Перль приосанилась.

– Ты постоянно занята, – оживленно сказала мне Перль, отчего серая тусклость ее кожи стала еще заметней.

Сходный цвет лица я замечала у детей, которым предстояло через день-другой исчезнуть. Углубившись в заботы о безопасности других, моя сестра забыла притворяться здоровой. Пришлось мне позаботиться об этом самой. Я воспользовалась приемом, который подсмотрела у наших попутчиц в скотовозке, у разумных женщин, понимавших ценность свежего цвета лица.

Кончиком хлебного ножа я расковыряла себе запястье. Из ранки вытекло две капли крови. Мне хватило бы и одной, но не пропадать же добру. Даже капли крови, отметила я, держатся парами. С помощью этих алых капель я навела на щеки сестры фальшиво-здоровый румянец.

И сказала, что сегодня вечером ей необходимо выглядеть на все сто, ведь концерт соберет массу больших шишек из индустрии развлечений: пусть они заметят ее, освободят и пристроят в какой-нибудь американский фильм. У меня-то нет особого желания уезжать в Америку, но за компанию придется – ради ее солнечной карьеры, и будем мы жить-поживать вместе мамой и зайде в уютном доме с садом, где летают колибри, собаку заведем, на солнышке понежимся. Зайде будет купаться в Тихом океане, мама – рисовать маки. Маме с дедушкой тоже не помешает увидеть новые моря, растения, экзотику. А я… пока не решила, чем займусь… но меня вдруг охватило такое чувство, будто жизнь моя ничтожно мала, как песчинка в песочных часах, только бесполезная и совсем не ко времени.

Но поделиться с Перль я не успела: в дверях показалась Кобыла. Нас выстроили строго в одну линейку и повели сквозь зиму в незнакомое время года, наступившее в двадцать девятом блоке.

Внутри мы, подпирая заднюю кирпичную стенку, наблюдали за оркестрантками: те немного повозились, заняли свои места, вытряхнули слюну из мундштуков и поправили язычки. В оркестре служили исключительно женщины, коротко стриженные и не по возрасту дряхлые; их преждевременную старость подчеркивала детская униформа: синие плиссированные юбочки, блузы с фасонными воротничками, из которых торчали тонкие шеи. Каждая рука, держащая инструмент, казалась странно вытянутой, как будто природа решила компенсировать длиной то, чего недодала в объеме. Эти руки двигались как бы сами по себе, тогда как лица не забывали, где находятся, и не давали забыть об этом публике. Опущенные глаза и поджатые губы делали оркестранток самыми угрюмыми в этом зале. Они были даже сумрачнее лилипутов, которые скорбели по своему новопреставленному патриарху, однако надели свои лучшие наряды. Даже печальнее поблекших, одетых в светлые платья женщин из «Пуффа», которые, повесив головы, словно чересчур тяжелые цветки на усталых стеблях, сновали на потребу эсэсовцам между столами, ломившимися от сыров и сардин, выпечных изделий и мясных блюд. Даже горесть, исказившая рыльце жаренного на вертеле поросенка, которому заткнули рот лаково-краснобоким яблоком, не могла сравниться с безысходной тоской оркестра.

Женщины играли с раннего утра. Хотя поезда больше не ходили, никто не отменял приказа играть в течение всего рабочего дня заключенных, сопровождая их изнурительный труд бравурной музыкой, создававшей жизнелюбивый, оживленный фон, будто заимствованный из другого, незнакомого нам места. Музыка не предвещала ни газовки, ни общей могилы, обходила вниманием и эрзац-хлеб, и выколотые номера, и торчавшие кости. Не знаю, что она была призвана сулить узникам.

Будь у меня такая возможность, я бы спросила голландку-пианистку Анику, что она в связи с этим думает. У нее на лице лежала печать вселенской мудрости, а в быстром взгляде отражалось признание невыносимого. Вокруг меня немало было похожих глаз, но в то время глаза Аники горели чуть ярче других и своим сиянием напоминали о том, на что она решилась за несколько дней до этого возле электрического забора.

Ее удержали подруги. Они твердили, что сейчас уже не имеет значения, жив ее сынок или нет: ей выпало страдать за него, чтобы потом рассказать – когда-нибудь, кому-нибудь – о его судьбе. Вот я и расскажу – дьяволу, отвечала она. Мне казалось, это хороший ответ, но по зрелом размышлении, если дьявол существует, он уже сам все выведал. И хотя, в отличие от Аники, я не испытывала страха перед изобретениями католиков, эта женщина восхищала меня тем, что собиралась прижать исчадье ада к стенке и потребовать ответа. Страдания ее были столь безмерны, что единственной надеждой стало для нее самоубийство.

Вы можете подумать – учитывая, как квалифицировали власти кончину моего отца, – что я давным-давно примирилась с идеей самоубийства, знала его цвет, крик, запах. Более того, с этой идеей я появилась на свет – в том-то и состояло единственное мое отличие от Перль, и это важнейшее природное чутье жило во мне до тех пор, пока Дядя не раздавил саму его возможность. Но, только встретившись глазами с Аникой, я по-настоящему осознала, как душит человека такая привязанность: она вползает в сердце, сворачивается клубком и твердит: Смотри-ка, вот же выход, вот спасение – ты только не противься.

Спустя годы миру предстояло узнать, сколь заурядным делом стало самоубийство среди этих оркестранток. Да и после освобождения мало кто мог ему противиться. Но клянусь, не проходило и дня, чтобы меня не посетило роковое предчувствие, за которым обычно следует суицидальный импульс. Такое же предчувствие слышалось мне в каждой звучавшей ноте. Флейта стонала, гобой мычал, ударные вскрикивали, и в этих звуках таилось что-то еще, некие скрытые смыслы, многократные послания о красоте и ее противоположности.

Рядом со мной у стены перешептывались Перль с Петером. Их прижало плечом к плечу, ногой к ноге; они даже ухитрялись тайком держаться за руки. Перль пришла в кофте, которую украла для нас Бруна; земляничины на платье выгорели до тусклых кругляшей, напоминавших планеты, слишком бледные для поддержания жизни. Петер зачесал волосы назад, как заправский франт. По слухам, он отжимался по тысяче раз на дню, но на нем это никак не сказывалось. Мне он казался истощенным и апатичным, ничем не лучше меня самой, и я невольно за него тревожилась. Петер всерьез привязался к Перль, но привязанность эта не имела будущего: он – простой рассыльный, в то время как ей после войны, а то и раньше, предстояло разъезжать с гастролями по всему миру. Вот прямо сегодня вечером, размечталась я, мою сестру, вполне возможно, заметит какое-нибудь влиятельное лицо, вырвет из застенков и увезет к новой судьбе, которой она заслуживает: к судьбе кинозвезды или по меньшей мере девушки с будущим.

Перехватив мой взгляд – подозреваю, что чересчур доброжелательный, вопреки моему обыкновению, – Петер отпустил руку Перль и улыбнулся мне, рассчитывая вернуть все на свои места.

– Оркестру повезло, что сюда пригнали поляков, – заговорил он со мной в полный голос, но я не поддержала эту тему.

Покраснев, он рассыпался в извинениях. Перль пыталась его остановить, но…

– В программе есть и другие номера, – добавил он.

Знай я, что за этим последует, – упросила бы его не уходить. Много лет спустя мне так и не удалось разобраться, мог ли он изменить то, что оказалось не под силу мне, мог ли избавить мою сестру хотя бы от малой толики мучений.

Но я, глупая и властная девчонка, для которой непомерная родственная привязанность заслонила истинную любовь, не остановила его, когда он стал пробираться сквозь толпу детей, группу оркестранток и скопище эсэсовцев, – последние беззастенчиво щупали усаженных к себе на колени женщин из «Пуффа».

– Куда намылился? – ухмыльнулся Таубе, когда Петер проходил мимо раздухарившейся охраны. – «Пуфф» сегодня закрыт!

В довершение своей шутки он запустил Петеру в спину пустой бутылкой. С порога донесся звон разбитого стекла, и тут мы увидели входящего Дядю, в шикарном белом костюме, а рядом – лаборантку Эльму, в шелках и в палантине из норки; многочисленные коричневые головки с глазами-бусинами устало обозревали празднество и сулили Страшный суд всякому, с кем встречались стеклянным взглядом.

– Веселье в разгаре, – отметил Дядя.

Возмущенный разнузданностью эсэсовцев в присутствии детей, он уничтожил взглядом охранников, но, как видно, решил не портить праздник. Подняв руку, Дядя дотянулся до малыша, сидевшего у него на плечах, и любовно потеребил его за нос.

Трехлетний мальчонка-итальянец, причем даже не из числа близнецов, пленил Менгеле своим обаянием. Некоторые шутили, что он вполне мог приходиться доктору родным сыном. И впрямь, столь разительного сходства не было даже у Рольфа Менгеле с его отцом-доктором. Глядя, как малыш подпрыгивает на плечах у Доктора и пытается звать его по имени, я невольно задумалась: сколько же среди нас в общей сложности кандидатов на Дядину благосклонность? Оставалось только уповать, что они не вклинятся между мною и Доктором: еще не хватало, чтобы мой план сорвался из-за какой-то мелюзги. Я поклялась удвоить свои усилия.

Вдруг из угла донесся чей-то испуганный крик, прервавший мои размышления и клятвы. Аника указывала пальцем в сторону рояля, черневшего в углу гигантским однокрылым жуком. Цокая металлическими подковками, в ту сторону бросился Таубе, и она пожаловалась на порчу инструмента. Ничего не понимая, Таубе с любопытством воззрился на Анику, а затем под прямым углом склонился над клавиатурой, чтобы изучить зияющую дырку.

Перль залилась густым виноватым румянцем. До меня дошло, что именно этот рояль она приняла за наш домашний… Такая грубейшая ошибка вызывала сомнения в ее здравомыслии. Наш рояль отличался серо-черным покрытием и кошачьими царапинами на всех ножках. А этот был новехонький, роскошный. Но я не стала злословить. Сестра и так готова была провалиться сквозь землю. Она уткнулась лицом мне в плечо, чтобы не выдать свою причастность к этому вандализму.

– Ты головой отвечаешь за инструмент, – напустился Таубе на Анику. – Прошляпила – на таком и бацай. И молись, чтобы никто не заметил. Ясно тебе?

Аника закивала и бессильно опустилась на стул. Она неуверенно занесла пальцы над клавиатурой, а потом заиграла, идя на всяческие ухищрения, чтобы скрыть поломку. Оркестр исполнял фокстроты, походные марши, песни из санкционированного властями списка. Бруна, стоя в шеренге у стены, притоптывала ногой, лилипуты раскачивались в такт музыке, Отец Близнецов взял на руки парализованную девочку, которой иначе ничего не было видно. Казалось, мы все движемся к небытию: нас уже не волновало, насколько мы голодны, растрепаны, неприкаянны. Давно не мытые – ну и что? Наши тела ничем не уступали другим достойным телам этого мира, и страсть к жизни оставалась неистребимой. Этот всеобщий восторг не передавался только одному из присутствующих – Дяде.

Он качал на колене малыша-итальянца, но этот размеренный ритм выражал досаду, и больше ничего. Я заметила, что ребенок при каждом подбросе закатывает глаза. Страх перед Дядей накрыл и его – вероятно, впервые.

– Достаточно, – не выдержал Менгеле. – Сыграйте-ка мою любимую.

На лице капельмейстерши не отразилось ничего, и только фальшивый румянец вспыхнул еще ярче.

– Хочешь сказать, вы не разучили мою любимую? – возмутился Дядя.

– «Траурный марш» Шопена? – затрепетала капельмейстерша и нервически одернула юбочку.

– Траурный марш! – Менгеле захохотал. – Вот, значит, как меня трактуют? По-твоему, я любитель похорон?

Капельмейстерша хотела что-то пролепетать в свое оправдание, но у нее вырвался только писк.

– Шучу, шучу, Маргарет! – посмеялся Доктор. – Ну-ка, порадуй меня.

Женщина застыла с раскрытым ртом. Скрипачке пришлось ткнуть ее смычком в бок.

– Да это он про песню, – шепнула скрипачка.

– Ой, в самом деле, – пролепетала капельмейстерша, и оркестр неуверенно завел «Порадуй меня».

Правда, с частыми ошибками, потому что Аника при всей своей подготовке так и не совладала с инструментом. Рояль запинался и спотыкался. Мне даже стало его жаль. Захотелось объяснить, что я понимаю его утрату и сама более всего страшусь, что у меня тоже вырвут что-нибудь важное.

Дядя, как можно было подумать, отбросил свою обычную въедливость и вроде бы не замечал ошибок, а просто воодушевлялся мелодией. Вероятно, он оглушил себя водкой. Или просто явился в приподнятом настроении. Как бы то ни было, он опустил мальчика-итальянца на пол и потащил Эльму танцевать. Смотреть на них было неловко и боязно, поскольку танцоры из них были никакие: Дядя отличался поразительной неуклюжестью, а лаборантка Эльма безуспешно пыталась вести, да еще под ущербную музыку. Лощеные, звездные экземпляры, не попадавшие в такт, они образовали идеальную пару. Гобоистка подавила смешок прямо в трость, отчего ее инструмент жалобно заблеял. От неожиданности Дядя рискованно наклонил свою партнершу, а потом и вовсе уронил ее на задницу. Он постарался обратить это в шутку, но все успели заметить, что у него начисто отсутствует координация движений.

Чтобы отвлечь внимание от этого конфуза, Менгеле прошелся вдоль нашей шеренги и жестом приказал всем подпевать – этакий самозваный маэстро с детским хором оборванцев. Не поручусь, что многие из нас помнили текст песни. Наверняка большинство, как и я, по ходу дела сочиняло какую-нибудь белиберду.

Но пение позволяло нам забыть и голод, и грязь, и свою презренную ничтожность. На какое-то мгновение у меня даже вылетело из головы, что я – мишлинг, чужекровка. Под конец, когда мы взяли высокую ноту с неожиданной для бессильных мощью, я поняла, что у нас, у множества старых и малых, открылись новые способности к порождению чистого и прекрасного звука. Даже Дядя, я вас уверяю, проникся таким же чувством. Возможно ли такое? Неужели красота нашего пения заставила его пересмотреть уготованное им для нас будущее? Клянусь, при взмахе его невидимой дирижерской палочки я заметила, как по Дядиному лицу пробежала тень неуверенности.

Вопреки их обещаниям труд не мог сделать нас свободными. А красота? Да, подумалось мне, красота способна открыть нам двери.

И тут вдруг песня резко оборвалась: руки Аники запнулись, и музыка увяла. По залу прокатился неодобрительный гул; мясистая физиономия Таубе налилась кровью, и он запустил бутылкой в незадачливую исполнительницу. Бутылка разлетелась вдребезги у ее ног.

Поднявшись из-за рояля, Аника наступила тонкими подошвами на битое стекло: одна туфля была на шпильке, вторая – на плоском каблуке: узницам концлагеря обычно выдавали обувь от разных пар. Но, даже несмотря на эту вынужденную асимметрию, стояла она прямо, подняв кверху руки, как во время ареста. Губы разомкнулась, словно она готовилась заговорить, но язык не слушался. Аника сделалась похожей на мою старую куклу, которую я однажды оставила под дождем, и та лишилась жизни в силу возраста и непогоды.

Таубе приказал Анике опустить ладони на крышку рояля. Капельмейстерские руки дрожали мышатами на черной лаковой поверхности; тем временем Таубе неторопливо снимал ремень, и свиная кожа шуршала, как змея в траве.

Все стихло. Я не в первый раз видела ремень. Повидала и женские руки. Но никогда прежде не слышала в людном зале такой тишины.

Наблюдая за этой конфронтацией, я нащупывала в кармане рояльную клавишу. И, коснувшись ее кончиками пальцев, не удержалась от крика.

Аника сделала глубокий вдох, Таубе нахмурился, Перль рядом со мной заерзала. А Дядя, успевший снова посадить к себе на колени ребенка, обратился ко мне через весь зал:

– В чем дело, Стася? Что за крик?

Но мне не хватило слов. Он уже шел ко мне, а я могла только юлить, пряча в кармане клавишу.

– Признавайся! – потребовал Менгеле, приложил руку мне ко лбу, чтобы убедиться в отсутствии жара, а потом нагнулся и заглянул мне в глаза. В конце концов отстранившись, он со вздохом посоветовал: – Не имей привычки вмешиваться. Особенно если ни бельмеса не смыслишь.

Я пообещала с этой минуты хранить молчание. Дядя посмотрел на меня без особого доверия, но погладил по голове и широким шагом направился к роялю, на котором все еще тряслись руки Аники.

– Отпусти женщину! – приказал он эсэсовцу.

– Балуете вы их, доктор. – Таубе даже не пытался скрыть удивление: оно так и блуждало по всей его багровой физиономии.

Дядя подступил к Таубе почти вплотную, едва ли не касаясь его усами. Это была тревожная близость. Достав из кармана носовой платок, Доктор вытер уголки рта охранника, где от злости скопилась слюна. Таубе побелел, как этот платок.

– Вы травмируете детей, – размеренно и гневно произнес Дядя.

Образумившись, Таубе ощупью надел ремень, но по лицу охранника было видно, что он затаил обиду. Дядя сложил платок, но не стал убирать его в карман, а с отвращением высморкался, убедительно показывая, насколько омерзителен для него любой контакт с Таубе. Сжимая использованный платок двумя пальцами, он, как хищник, обошел вокруг Таубе с приклеенной полуулыбкой, которую многие из нас встречали на медосмотре и уже не принимали за чистую монету. Наконец процесс унижения завершился, и Дядя, нагнувшись вровень с физиономией Таубе, издал протяжное шипение, громкое и отчетливое, которое разнеслось по всему залу.

– На самом деле мне эта песня никогда не нравилась, – бросил он.

Тут я заметила, что рояльная клавиша у меня в руке стала какой-то скользкой. На мгновение мне показалось, будто она, как это ни странно, плачет, но я быстро поняла: у меня просто вспотела рука.

Дядя стал удаляться в направлении своего места; каждый тщательно рассчитанный шаг отдавался по всему залу.

– Я думал, мы собрались музыку послушать, – как ни в чем не бывало обратился он к женщине-дирижеру.

Она послушно склонила голову и дала знак оркестранткам возобновить игру, а потом в зале появилась известная певица, сопровождаемая восхищенным оживлением. Ее доставили совсем недавно, так что охранники еще не успели привыкнуть к ее звездному присутствию и расступались при ее приближении.

– Мамина любимица, – шепнула Перль.

– Точно, – подтвердила я. – Как жаль, что маму сюда не позвали.

Она бы охотно пришла, я знаю. Эти мелодии – после папиного ухода они стали ей поддержкой. Папа – я была в этом уверена – не планировал исчезнуть навсегда. Он всего лишь отправился по вызову к жившему на той же улице больному ребенку, у которого начался сильный жар; отец, как настоящий доктор, не мог никому отказать в помощи. Я долго сокрушалась, что он оказался настолько верен своему врачебному долгу. Кстати, у постели больного ребенка он так и не появился. Ребенок не выжил, и мой отец… тоже. Выйдя из дому в преддверии комендантского часа, он был схвачен гестаповцами. Но у властей имелась собственная версия. Как и для любого другого исчезновения. Маму мы не спрашивали, каково ее мнение. В гетто она забилась в подвал, отказывалась принимать пищу и переодеваться. Мы оставляли еду на тарелке и утром забирали ее нетронутой. Единственное, чем занималась мама, – играла на рояле песни из репертуара этой певицы, и, хотя все мелодии были грустными, они поднимали ей настроение. Я знаю, как ей было одиноко – хуже, чем нам всем. Сестрыì-двойняшки у нее никогда не было, и у нас на глазах она постепенно утрачивала сначала материнские черты, потом женские – до тех пор, пока не превратилась в девочку, даже младше нас с Перль. Она пришла в чувство лишь с приездом зайде, папиного папы, который сердечными объятиями и зычным голосом скрыл тоску по сыну и распорядился прекратить эту музыку.

У меня никогда не было желания запоминать такие картины: за них отвечала Перль, и не ее вина, что моя память оказалась столь цепкой. Глядя на сестру, я понимала, что ей вспоминается то же самое.

– От такой музыки наша мама заснула бы, не сняв туфель, – предположила Перль.

– И не притронувшись к ячменной похлебке, – добавила я.

– Мы ей ко рту то и дело зеркальце подносили, – вспомнила Перль.

– Чтобы проверить, дышит ли, – закончила я.

Давненько мы не заканчивали друг за дружкой фразы. С каким-то новым удовлетворением я прислонилась к кирпичной стене. Меня даже не волновало, что Петер, стоявший рядом с Перль, тайком сжимает ее руку. Волновала меня только музыка.

Эту мелодию собственного сочинения нашей капельмейстерши я прежде не слышала и сейчас задумалась: не было ли у нее какого-нибудь окна в природу, неведомого прочим. То ли она, не в пример остальным, ела досыта, то ли крепко спала, то ли получала из дому не попавшие под цензорский карандаш письма с добрыми вестями, но эта песня меня приободрила и нарисовала передо мной картинку ждущего меня будущего.

В этом будущем нашлось место для кино: билеты на дневной сеанс, бело-серебристый экран, кинохроника с кадрами освобождения и разлетающегося конфетти. Нашлось там место для нас с мамой и зайде: мы втроем сидели на синих бархатных креслах в ожидании сеанса. Я сидела посередке, вдыхая аромат маминых духов с одного бока и запах дедушкиной фаршированной рыбы – с другого. Запахи эти создавали какую-то свою природу. Перебинтованная мамина рука лежала у меня на коленке, и сквозь слой марли просвечивало опаловое колечко. Мы старались вести себя как все люди, но я для верности держала билет за щекой, и не только билет, но и всякие другие необходимые предметы. У мамы это вызывало отвращение: она считала, что ее дочке вовсе не обязательно носить за щекой бритвенные лезвия. Дедушка за меня вступался: он твердил ей, что Доктор меня изменил и прежней я уже не стану, что мои порывы отличны от импульсов других девочек, которым не довелось лежать на хирургическом столе под слепящей лампой. Мама возражала: спору нет, то, что со мной, со всеми нами сотворили, ужасно, но зачем же на каждом шагу ожидать новых бед?

А потом билетерша на нас зашикала, потому что начался фильм. И на экране в компании великих появилась моя сестра.

Показывали мюзикл, в котором Перль с равным успехом играла и меня, и себя. Как и следовало ожидать, обе роли ей удались. Впрочем, с моей точки зрения, она могла бы добавить чуть больше пафоса в ту сцену, где отравила Менгеле, – ведь я же не какое-нибудь чудовище, хотя и одержима местью. Единственное, что меня задевало: сценаристы вывели нас сиротками. Такое отступление от истины было форменным оскорблением. И все же Перль сыграла эту роль блистательно, поскольку мы и сами чуть не осиротели… ее слезы были идеальными кристаллами скорби, торжествующей свою победу.

Что понравилось мне больше всего? Финал. После того как Менгеле понес заслуженную кару, Перль появилась в белом меховом палантине и подхватила за шкирку сиамского котенка, одновременно отбивая степ на крышке рояля, лучезарно-розовой, как ее имя, и камера влюбленно следовала за моей сестрой, показывая ее крупным планом.

Эта воображаемая сцена… я знала, что она меня поддержит, поможет уцелеть в «Зверинце». Я мечтала, чтобы она длилась без конца. Но она закончилась, как только певица смолкла.

Я обернулась к Перль. Хотела спросить, увидела ли она то же, что и я, вообразила ли то же самое. Но не успела я постукать ее по плечу, как мои мысли заволокло чем-то серым и сердце сжалось в комок. Что это, приступ? – подумала я. Побочный эффект моей глухоты? Какое-то полубессознательное состояние? Очнулась я на полу, в кольце склоненных ко мне встревоженных лиц.

Лица моей сестры среди них не было.

Пытаясь найти опору, чтобы подняться, я разорвала кольцо этих неузнанных лиц, без умолку требуя, чтобы мне сообщили, куда ушла Перль. А потом воочию увидела ответ: в безвозвратность.

Там, где она стояла, теперь из стены лишь торчал кирпич, как расшатанный молочный зуб. Я стала звать сестру по имени. Для верности окликала ее всеми известными мне именами, а потом напридумывала новых. Она не отозвалась ни на одно. Музыка играла слишком громко. Сестра меня не слышала. Так я твердила сама себе, заходясь криком.

Потом я разглядела на полу ее мокрые следы. Слякотные скобки каблуков и аккуратные отточия показывали, что уход Перль не был столь уж внезапным. Такие следы – послания исчезнувшей личности. Это отпечатки свидетельствовали, что Перль не разлюбила меня до последнего, даже когда наши мучители выдернули ее из этой жизни. Мне оставалось только гадать, увидела ли она из своего далека те образы – картины того, что меня пугало, многократно умноженные.

Глава восьмая. Обещала меня не покидать, а сама…

Стася

Глава девятая. Миллионы и миллионы

Время от времени, даже когда мы плакали, торговались, увядали, Освенцим забывал о своем существовании, полностью изгоняя себя из этого мира. Я так и не поняла, чем определялись эти изгнания. Могла бы предположить, что первое совпало с моим осознанием зла, но такого момента не было. Могла бы предположить, что второе совпало с моим принятием смерти Перль, но ведь и этого не произошло. И все же это жуткое место исчезало под жерновами времени. А исчезая, тянуло меня за собой. Поддавалась я или нет – не знаю. Знаю только, что была отрезана от Перль.

Достоверно знаю одно: днями напролет я отсиживалась в старой бочке из-под квашеной капусты: там я нашла верное укрытие для своих бдений, хотя и насквозь провоняла кислятиной. Из этого идеального круга уединения сподручно было высматривать мою сестру. Здесь не отсвечивали ни блоковая, ни соседки по «Зверинцу», ни Отец Близнецов. Здесь была только я, наедине со своими вшами и круглым глазком, открывавшим вид на мир.

– Ты там? – Петер кулаком постучал в стену моего дома.

Должна заметить, что со дня исчезновения Перль прошло, мне кажется, трое суток, хотя мы с сестрой обе знаем, что в вопросах времени Перль сильнее меня.

Иными словами, допускаю, что этот промежуток времени равнялся неделе, а то и месяцу, причем не одному. И я доподлинно знала, что это еще не конец.

На первых порах я была не одна. Когда звуки оркестра унесли с собой Перль, ко мне сразу нагрянули вши. Белые с черными крестами на спине, отъевшиеся, с подушечку пальца. Но я даже не роптала: своими укусами они лишали меня сна, а мне требовалось бодрствовать, чтобы найти сестру. С этими насекомыми у меня был уговор: я не мешаю им пить мою кровь, а в обмен получаю бдительность, дабы неотрывно смотреть в глазок. Наверняка мы бы еще долго жили в полном согласии, если бы не вмешательство лаборантки Эльмы.

Дело в том, что вошки не могли не польститься на Эльму. Ползая у меня в волосах, они сгорали от желания перебраться к ней. Их подкупали ее бедра, кожаные перчатки, каскадом ниспадавшие волосы, которые лезли ей в глаза. Насчет ее красоты у нас нередко вспыхивали споры. Вши держали Эльму за совершенство, а я – за паразитку; насекомые считали это большим комплиментом. Как-то раз один кровосос, самый жирный, до того истомился от страсти, что набрался храбрости оторваться от моей головы и выпрыгнуть из бочки. Для такого мелкого насекомого – прыжок нешуточный. Как только кровосос доказал свою любовь, лаборантка выдернула меня из бочки, притащила в лабораторию и схватилась за бритву. По такой реакции стало ясно, что это далеко не первый случай обожания; я даже посочувствовала кровососу. Мои – наши с ним – кудри полетели на пол, и в стальном шкафчике я увидела свое отражение с голым скальпом. Совершенно неузнаваемое. И это пугало: вдруг Перль тоже меня не признает? Вернувшись в свое вонючее лежбище, я уснула. Охранники были в курсе, что я живу на дне бочки, но смотрели на это сквозь пальцы. Наверное, это Дядя распорядился, чтобы меня не трогали, а может, их отпугивали звуки: в темноте я постоянно заостряла ногти хлебным ножом и училась рычать. Чем больше я рычала, тем быстрее отрастали ногти. Чем быстрее отрастали ногти, тем больше тряслись охранники. Откуда им было знать, что я точу ногти не для нападения, а для письма. На деревянных дощечках моего убежища я выцарапывала послания для Перль. Писала ей раз-другой в сутки.

ноября 1944

Милая Перль,

там у тебя есть музыка?

Милая Перль,

я знаю, что ты думаешь.

Прекрати. Ты не могла умереть.

Через считаные дни моих эпистолярных упражнений места на стенках почти не осталось, хотя я даже не ставила свою подпись. Да, я понимала, что такие письма не отправишь, но просто надеялась, что Перль, где бы она ни обитала, почувствует, как я в тоске процарапываю каждое слово.

Как-то раз в глазок бочки посыпались хлебные крошки. Я ловила их, как мух, и отправляла обратно.

– Не мешай, – бросила я непрошеному доброжелателю: это стало моим обычным приветствием.

Навещали меня многие. Ребята приходили с вопросами: видимо, после исчезновения сестры я прослыла ясновидящей, как будто ко мне перешла мудрость Перль. Вопросы были самые разные, но в основном бестолковые, ля-ля, от нечего делать. Спрашивали, из чего делаются припарки, как прекратить собачий вой, к чему снятся пчелы. Ответ был один: «Перль!» Любознательных как ветром сдувало. Говорить о моей сестре они отказывались: все считали ее мертвой.

В потайном кармане я хранила рояльную клавишу. И сама запуталась. Она вызывала у меня отторжение, потому что это страшно – когда от родной сестры остается только клавиша. Меня бесила ее неподвижность, молчаливость, бездушность. Но ведь и обо мне можно было сказать то же самое. Как и я, клавиша не нуждалась в хлебных крошках, которые по-прежнему сыпались ко мне в бочку.

– Оставь себе, – говорила я.

– Стася, – тихонько твердил доброхот. – Нужно поесть. Знаешь, к чему приводит голодовка?

Это был голос Петера. От Бруны я знала, что он тоже тяжело переживает исчезновение Перль, у него даже походка изменилась, он уже не стремился шастать по всему лагерю, а сидел в классной комнате и разглядывал географические карты.

Я сказала ему, что начну есть, когда вернется Перль.

– А вдруг это будет не скоро? Да ты от голода концы отдашь. Разве ты не хочешь, чтобы она увидела тебя здоровой?

Он бросил мне очередную крошку. Я поймала ее на лету и сунула в карман. Сказала, что Перль охотно полакомится, когда вернется, и заранее поблагодарила его от имени сестры.

– Ну, дело твое. Но ты хотя бы мойся. Надо мыться. Знаешь же, что бывает, если не мыться.

– Хочешь сказать: если я не буду мыться, Перль умрет?

– Нет, что ты!

– Ну и все.

Я могла бы добавить, что нет такого средства, какое могло бы отчистить меня от тех гадостей, что мне вливали во время опытов, но решила не начинать.

– Хочешь, чтобы тебе kaputt пришел? – не отставал Петер.

Я не собиралась углубляться в сердцевину своих тревог: kaputt мне не грозил. Об этом позаботился Дядя, вооружившись шприцем. Умереть я не могла бы при всем желании. На ледяном хирургическом столе я, по-моему, вела себя образцово, лишь бы уберечь Перль и себя. Но Перль ушла. Выяснить, лежит ли она сейчас мертвая или полумертвая, не представлялось возможным; так или иначе я была уверена, что сестре не делали таких инъекций, как мне. Уверена я была и в другом: узнай Перль некоторые подробности, ей стало бы за меня стыдно. Дело в том, что, прожив какое-то время в этой бочке, я сделала определенные выводы. Например, что за мою вечную жизнь поплатились своей жизнью другие. Кровь у меня загустела от чужих смертей; в ней растворились невысказанные слова, непознанные влюбленности, несочиненные стихи. Она вобрала в себя цвета ненаписанных картин и несбывшийся детский смех. Существовать с этой кровью в жилах было настолько тяжело, что иногда я уже начинала думать: может, оно и к лучшему, что Перль не грозит бессмертие. Сполна прочувствовав свой выбор, я бы не пожелала сестре такой судьбы: коротать свой век в одиночестве, половинкой без пары, под вечным бременем отнятого у других будущего.

– Стася? Никак ты плачешь? – Петер застучал сильнее.

Да нет, это бочка скрипит, отвечала я.

ноября 1944 г.

Дорогая Перль,

войне конец. Зверинцу конец. Нас поселили вместе: маму, зайде и меня. Устроим праздник в честь твоего возвращения. Задумали установить карусель. Мастерят ее охранники, они теперь нас слушаются. Для тебя сделали белую лошадку, для меня русалку. Вернешься – прокатимся вдвоем, а включим задний ход – и как будто ты не исчезала.

Чтобы вылезти из бочки, мне требовалась веская причина: построение, раздача хлеба, умывание и – по приказу Кобылы – возвращение на свою шконку. А кроме того, конечно, явка к Дяде. Я по-прежнему называла его этим прозвищем и не отменяла смертного приговора. Но как ни странно, вновь и вновь приходя в его стерильную лабораторию, я испытывала облегчение. Одно это уже внушало мне тревогу, пока до меня не дошло, что эти посещения стали неотъемлемой частью моей жизни, какой для других ребят становится школьный двор. Стул, на котором раньше сидела моя сестра, пустовал, но вообразить на пустом стуле человека проще простого. Этому меня давным-давно научил Пациент.

Давая волю воображению, я слышала, как знобит мою сестру, потому что от этого дрожали стальные ножки ее стула. Но не успела я вызвать этот мираж, как появился Дядя. Склоняясь над моим плечом, чтобы приложить к спине стетоскоп, он обдавал меня своим дыханием, сладковатым и одновременно кислым, отчего в голове сам собой возник вопрос: что он ел на обед, а потом мысли плавно перешли к съестному, и вывело меня из этого состояния лишь вмешательство какого-то инструмента. Потом Дядя проверил у меня коленный рефлекс. Левая коленка, правая, левая, правая. А под конец справился, как я поживаю.

Я ответила: может, вы, конечно, не заметили, но Перль исчезла.

– Да что ты говоришь? – рассеянно произнес он. – Одевайся.

Мне казалось, сейчас он должен подсказать, где искать мою сестру, но он пошел к раковине, вымыл руки, причесался и сунул в рот мятную пастилку. Я послушно оделась. Стоит ли удивляться, что юбка на мне болталась, и когда я поправила в потайном кармашке за поясом рояльную клавишу, она с грохотом вывалилась на пол. Дядя подобрал ее и стал разглядывать с пытливой улыбкой:

– Растолкуй-ка мне, что это значит, Стася.

Я только извинилась.

– Таким детям, как ты, обычно есть за что извиняться. Но зачем тебе эта штука?

На память об этом месте, объяснила я. Поскольку мне предстоит жить вечно, есть риск забыть… да и много ли помнят бессмертные? Вот я и прихватила эту клавишу перед концертом. Нарочито хмурясь, Дядя поджимал губы, словно выискивал образец для подражания в портретной галерее недовольных родителей, но так ничего и не нашел. Ничего человеческого в его манере не было, но я повела себя по обстоятельствам и пристыженно потупилась.

– Ты понимаешь, что из-за твоей кражи Анике чуть не задали порку? А тебе хоть бы что?

– Моя сестра… – только и выдавила я.

Но тут голос мой сорвался, точнее, оторвался от меня и будто повис на веревочке, которую держал Дядя.

– Ну же, смелее, – подбодрил он меня с притворным сочувствием на лице. – Тебе нечего бояться.

Я уставилась на его штиблеты, надеясь, что их блеск укажет, где Перль. Однако в этот раз привычный глянец залепила грязь, а на одном мыске клоунским помпоном торчал прилипший клок собачьей шерсти. Это было первым признаком неблагополучия. А второй признак – стакан виски со льдом. То есть стакан не отличался ничем особенным, но слишком уж много раз опорожнялся и наполнялся вновь.

Дядя оставил меня сидеть свесив ноги у него на столе и промокать глаз его носовым платком с вышитым в углу вензелем. Платок я держала так, чтобы вензель не касался кожи, а сама исподволь озиралась. Нас окружал хаос. Никогда еще я не видела, чтобы в лаборатории царил такой кавардак. В коробках громоздились горы папок, эти коробки были втиснуты в контейнеры, как будто Доктор задумал великое переселение со всей своей коллекцией кусков нашей плоти.

Просто не укладывалось в голове, что ненавистное чудовище может до скончания века таскать с собой часть тебя, причем без твоего согласия. Быть может, вы меня поймете; быть может, кто-нибудь вас вспомнит, хотя вы предпочли бы забвение; быть может, кто-то держит у себя вашу вещицу, которую невозможно вернуть. Говорю только за себя: именно в тот миг я поняла, что мы с Доктором теперь неразрывно связаны, и грохнулась в обморок, так и не успев расспросить его насчет предстоящей эвакуации.

Письма сестре, вскоре сплошь покрывшие внутреннюю поверхность моей бочки, стали почти неразборчивыми. Я знала: если Перль в ближайшее время не вернется… на самом-то деле знала я лишь одно: мои письма все более переполнялись гневом, а отсутствие подписи уничтожало мой след. В лаборатории никто больше не подбивал счет моим кусочкам. Никто больше не учитывал моих частиц. То ли потому, что так распорядился Доктор, то ли потому, что лучшая часть меня исчезла. Как-то раз Бруна в своей дружески-хамской манере спросила, как я думаю: почему Дядя до сих пор меня не укокошил? Не могла же я ответить, что умертвить меня он не сможет при всем желании. Пришлось сказать, что я, скорее всего, со дня на день отправлюсь на тот свет. Прижав меня к груди, Бруна поклялась, что в этом случае при первой же возможности посадит Дялю на кол.

Не думаю, что ей светила такая возможность. Доктор с каждым днем становился все незаметней. То тут, то там за ширмой мелькала его тень. Иногда он махал мне одними пальцами, иногда присвистывал. Я приучила себя не содрогаться от его свиста. Для этого приходилось переключать мысли на мои внутренности, на все ответвления кровотока, на нервные окончания; непонятно, как в таком теле еще гнездилась надежда. А надежда, причем безумная, у меня сохранялась: прочная, как хребет, и такая четкая, что оставалось только удивляться, почему ее до сих пор не исследовали медсестры и лаборантки, чтобы зарегистрировать в журнале.

В лагере только одна живая душа, помимо Петера и медперсонала, не позволяла мне забыть, что я существую, что я девочка, что я сестра Перль.

– Блошка-Два, – шептала Бруна в глазок бочки, – на дворе зима, а тебе хоть бы хны. Не околела еще? Вон снегу навалило.

– Сугробов нет.

– Скоро будут. Хорош в бочке кантоваться. Вылазь, подруга, дурилка моя.

– Боюсь ее пропустить.

– Из окна следить будешь.

– Здешним окнам веры нет.

– Ну из дверей.

– А дверям – тем более.

Настала пауза, а потом:

– Может, хватит глазеть, Стася? – (Никогда еще я не слышала в ее голосе такой нежности.)

Я спросила:

– Почему это хватит: может, ты получила от Перль весточку и знаешь, что у нее все в порядке, ей просто нужно отсидеться, пока не минует опасность? Скажи мне, что она укрылась в каком-то доме. Скажи, что прячется в дупле. Что она затаилась у кого-нибудь под кроватью, что она изменилась до неузнаваемости, но жива. От тебя это стерплю. Если, конечно…

– Не получала я никаких вестей от Перль, – призналась Бруна. – От моей Блошки-Раз. Она подругой мне была, самой любимой…

– Естественно, не получала, – ворчливо перебила я. – С чего бы? Вряд ли ты для нее стояла на первом месте.

– Сама знаю, – отрезала Бруна. – Пока ты тут в бочке смерти ждешь, советские самолеты опять летать стали, с каждым днем их все больше.

– Не сомневаюсь, – фыркнула я. – Бомбить нас будут.

– Еще чего, наши никогда на это не пойдут! – возмутилась Бруна. – Тебе бы о другом задуматься, Блошка-Два: когда нас освобождать станут, как ты докажешь, что достойна свободы? Решай, кто ты есть: кочерыжка капустная или девчонка. Надо же, в бочке киснет! Балда! Я ж за тобой скучаю! Трусиха ты паршивая!

Отвернувшись от льющегося в глазок потока ласковых оскорблений, я вернулась к письмам.

декабря 1944 г.

Милая Перль! Сознаюсь: в последнем письме – сплошные выдумки. Никакой карусели нет. Война не закончилась. Но может, лучше тебе вернуться?

На другое утро, осматривая из глазка сугробы, я увидела, что к моей бочке приближается Петер. Шел он медленно, ссутулившись, потому что толкал по снегу тележку.

– Стася, вылезай! Ты глазам своим не поверишь!

Сняв с бочки крышку, я высунула голову.

На тележке лежал какой-то сверток в сером одеяле, но из-под рваного края торчали пальцы ног. Большой палец подергивался на ветру.

Стремительно вскочив, я перевернула бочку и вывалилась наружу. Исход получился столь же несуразным и неловким, как истекшие дни скорби. Скорби, как сейчас уже казалось, совершенно лишней. Я провела рукой по серому савану, как однажды делал фокусник на представлении. Сверток не сразу обнаружил признаки жизни, что было вполне в духе моей сестры: она предпочитала неброские эффекты.

– Откуда? – поразилась я.

– Из больнички – только что выпустили.

– Ты давно узнал?

– Позавчера. Не хотел говорить раньше времени: ты бы все равно не поверила. Так что получай.

После таких горьких мук утраты мне бы естественно было жаждать воссоединения. Но мешало какое-то внутреннее чувство – одно из немногих, которые не унесла с собой Перль. А вдруг без меня сестра взяла да изменилась? И если она стала другой, то кем нынче быть мне? Но моя горячность взяла верх на всеми колебаниями, и я развернула одеяло.

Мне улыбался беззубый рот. Это было лицо младенца, не допущенного в подростковую жизнь, но перескочившего прямо в зрелость, а оттуда – в старость. Плоть была юной, но древней; глаза – по всем меркам новые, но слишком много повидавшие. Сама не понимаю, как я его узнала, потому что даже кожа, прежде голубовато-трепетная, с прожилками, стала мертвенно-белой. Но улыбку нельзя было спутать ни с какой другой.

На меня смотрел Пациент. Мой Пациент. Я знала: будь это в его власти, он с готовностью поменялся бы местами с Перль. Почувствовав мое разочарование, он сжал мне руку, отчего мне сделалось совсем неловко, потому что сердце мое упало в неведомые даже Дяде черные глубины, а там сбросило кожу, погрузилось в желчь, покрылось панцирем и отрастило рога. В такой броне этот изобретательный орган вскарабкался по лестнице ребер и занял привычное место. А я поступила так, чтобы Перль была мною довольна.

– Какая благодать, – выговорила я и заулыбалась, хотя к пульсу прибилась свежая боль, – снова обрести семью.

Пациент как будто обновился. За месяц с лишним его отсутствия с ним произошла перемена к лучшему; или это просто был ясный свет дня? Но ведь и кашель у него пошел на убыль. Не касаясь меня, он льнул к моему боку, словно боялся даже кратчайшей разлуки. Во дворе собрались другие, чтобы увидеть возвращение нашего мальчика. У всех глаза были на мокром месте; все шутливо спрашивали, где он пропадал. Ходил под парусом, катался верхом, загорал?

Пациент с серьезным видом мотал головой. И хотел бы пошутить в ответ, да не мог.

Отец Близнецов похлопал его по спине и, склонившись к нему, прошептал:

– В следующий раз ты покинешь это место, когда нас освободят и я поеду развозить детей по домам. Обещаю. С малышней мне одному будет не управиться, так что назначу тебя своим главным помощником.

Пациент отдал подобие салюта, и Отец Близнецов ушел, чтобы вернуться к своим обязанностям, но на ходу не раз оглянулся, словно не веря в это воскресение.

Бруна принялась щипать Пациента за локоть, довольнехонькая, что можно наконец-то помучить того, по ком соскучилась.

– У призраков бывают синяки? – спрашивала она после каждого щипка.

– Точно сказать не могу, Бруна, – отвечал Пациент, надувая грудь. – Но заметил, что твои синяки стесняются показаться вместе с тобой. Между прочим, я соскучился по твоим белым волосам – зря ты их чернишь. Уголь затемняет твою красоту.

Видимо, в больничке Пациент научился и обходительности, и жесткости. Бруна была польщена и поражена.

– Ладно, живи, клоп, – сказала она и уважительно поклонилась.

Другие засмеялись, а потом Пациента засыпали вопросами. Каково это – вернуться самым первым? Что интересного ему давали из еды? Не видал ли он кое-кого другого… а если конкретно – кого-нибудь по имени Перль Заморска?

Последний вопрос задала я.

Вернуться первым – большая честь, ответил он. Пирожными там не кормили, но в самую тяжелую пору своей болезни ему повезло учуять в бреду запах копченостей. Что же до Перль… В пределах видимости ее не было, но в больничке все выглядят одинаково, хотя…

Под тем предлогом, что мне надо срочно написать письмо, я ускользнула. Пациенту не составило труда меня догнать – он куда резвее, чем прежде, шевелил ногами, а когда зашагал бок о бок со мной, я заметила еще вот что: у него начали пробиваться усики. Над верхней губой темнел квартет тонких, как пух, волосинок. Как Пациент обзавелся усиками, если у нас у всех была задержка роста? В ту пору я не могла похвастаться осведомленностью в вопросах полового созревания и не понимала, что это естественный процесс. Впрочем, в «Зверинце» постоянно случались и куда более странные превращения. И все же эта любопытная прикраса заставила меня усомниться, что я говорю с настоящим Пациентом. Дядя ведь спокойно мог подослать к нам какого-нибудь самозванца. И в самом деле, этот мальчишка представился новым именем.

– Хватит говорить мне «Пациент», – взбунтовался он. – У меня имя есть – Феликс.

– Честно? Это твое имя?

– Нет. Так звали моего брата. Думаю, правильно будет, если теперь я назовусь в его честь.

В этом виделся мне здравый смысл. А во всем остальном – нет. Я спросила Феликса, почему он выжил.

– Негуманный вопрос.

Я пояснила: дело в том, что он уцелел наперекор всему. Нет, в самом деле, у него даже близнеца не стало.

– Как и у тебя, однако ты жива. Хотя с виду – чисто покойница.

Возразить было нечего.

– Спорим, тебе не терпится узнать, что меня спасло, какое лекарство, – ты же у нас интересуешься подобными вопросами, – сказал он.

А потом, словно испытывая мои интересы, он открыл мне уникальный способ выживания. Вприпрыжку забежав вперед, он чуть приспустил штаны и повернулся ко мне спиной. Над ягодицами у него вилял небольшой хвостик – представляю, как восторгался этим уродством Дядя.

– Вот это фокус!

– Потрогай. – Пациент уже тянул меня за руку.

– Не хочу. – Моя рука отдернулась сама собой.

– Кто до него дотронется, тому повезет.

В «Зверинце» везенье было очень зыбким понятием, а потому я не соглашалась. Пожав плечами, Пациент поддернул штаны. К счастью, хвостик скрылся из виду.

– Он всю жизнь при мне. И у брата моего такой же был. За мной фургон не приедет. Я – слишком ценный экземпляр.

– Расскажи лучше про больничку, Пациент… то есть Феликс. Как она устроена? Мне нужно знать.

Он был только рад поговорить. Рассказал, что койки там стоят рядами, насколько хватает взгляда, кормили водянистой похлебкой, а по утрам просыпались от карканья невидимой вороны. Я слушала не перебивая. У меня в голове уже разворачивался план этого помещения.

– Читаю твои мысли, Стася. Но ее там нет.

– Только Перль умеет читать мои мысли, – возразила я.

Однако у меня в мозгу действительно роились фантазии, и в этих фантазиях какие-то люди замаскировали мою сестру, дали ей новое имя. Наверняка еще и опоили каким-то зельем, чтобы она не помнила себя, поскольку знали: разлука со мной – это серьезная угроза ее здоровью. А когда опасность минует, ей дадут противоядие.

Но даже это не помешало бы нам отыскать друг дружку. И Феликс уже доказал, что возвращение с того света возможно.

декабря 1944 г.

Милая Перль,

сегодня у нас день рождения. Но я уже не знаю, сколько нам лет. Не может же такого быть, чтобы здесь нам стукнуло тринадцать. Или я что-то путаю? Помню, ты взяла на себя время за нас обеих. Я бы с этим не справилась. Нынче я вообще не справляюсь с твоими обязанностями. А трудней всего – смешное и будущее. Могу только порадоваться, что мы не поставили себе задачей сохранять прекрасное. Здесь прекрасного нет, Перль. Здесь я вижу только безобразное.

Есть, правда, кое-что положительное: сегодня русские сделали нам подарок – самолетов стало больше. Ты их видишь?

Наутро после нашего дня рождения меня разбудил затянувший бочку дым. Я ощупала рукава, башмаки. Вроде ничего не загорелось. Задрав блузу, проверила еще и пупок, поскольку не сомневалась: та отрава, которую ввел мне Дядя, теперь сжигает меня изнутри. Сволочь! – прошипел дым. Я согласилась с такой оценкой. Как ни странно, голос был почти такой же, как у лаборантки Эльмы. На всякий случай я приготовилась, собралась и покашляла. Стоило мне вылезти наружу, как у меня перед носом на землю упал пепел. Надо мной возвышалась лаборантка Эльма с сигаретой в зубах.

– Тебя вызывают! – объявила она. – Марш в лабораторию!

В виде дыма ты была бы симпатичнее, сказала я.

– Что ты там бормочешь? А ну повтори!

– Какие сегодня указания, сестричка Эльма?

– Позировать будешь, – объявила она.

Я позировала уже бессчетное количество раз – и сидя, и стоя, и скорчившись, причем всегда голышом, всегда под ледяным оком камеры, но неизменно вместе с Перль. Даже не представляла, как это – позировать без нее. Не понимала, как вытянусь в рост перед фотографом. Но в лаборатории Эльма провела меня в какое-то помещение, где я не увидела ни знакомого оборудования, ни других подопытных.

Там находилась лишь одна женщина за мольбертом, скрывавшим ее лицо. Исподтишка я разглядела полумесяц уха и почти голый скальп с клочками седины. Незнакомка была одета в лагерную робу и серую шаль. На ногах ботинки разной высоты. Над этими разновысокими опорками виднелись тонкие лодыжки; они поражали своей красотой, подобно некоторым приметам прошлого, таким, как браслеты с подвесками, комнатные фиалки на подоконнике, разожженный мною огонь в камине, мамина скатерть для Шаббата.

Лаборантка Эльма велела начинать, а сама уселась в другом конце помещения и развернула свое любимое чтиво – журнал с фотографиями кинозвезд. На обложке, как мне показалось, мелькнуло лицо Перль со взбитыми, завитыми волосами; вроде бы она даже мне подмигнула. Я скучаю по тебе, Стася, шептали губы с обложки. Здесь все по-другому. Но по мне, лучше уж так. Только я собралась выяснить, где сейчас находится Перль, в загробном мире или в Калифорнии, губы разомкнулись и девушка с обложки запела. Тогда до меня дошло, что никакая это не Перль, а некая кинозвезда – у Перль голос был несравненно лучше. Вы, случайно, не знаете, где Перль? – молча спросила я кинозвезду, чтобы не услыхала ни одна живая душа, а тем более Эльма. Как видно, говорила я слишком тихо: звезда и бровью не повела, продолжая петь, а потом лаборантка Эльма перехватила мой взгляд, направленный на красотку с обложки, узрела в нем наслаждение, а не пытливость и с демонстративным презрением сложила журнал пополам.

Я слышала, как застыла полускрытая мольбертом портретистка при виде этой сцены, но потом движения кисти по холсту возобновились. Я слышала, как эта кисть описывает мои черты. Казалось бы, доброжелательно, только уж очень медленно, будто не зная, как поступить с моим лицом. Мне захотелось повиниться перед портретисткой за свою пришибленность и уродливость. Во искупление мне захотелось предъявить ей хоть что-нибудь красивое, на чем можно сосредоточиться.

Ибо красота, как говаривал наш отец, спасет мир. Эту фразу он произносил еще в то время, когда я даже не понимала, от кого нужно спасать мир и что означает «искупление». Наверняка Перль была согласна с нашим папой насчет искупительной силы красоты, и впервые в жизни мне захотелось узнать, сбылась ли наконец мечта папы и дочки оказаться вместе. Хорошо, что лаборантка Эльма избавила меня от мрачных выводов. Поднявшись со своего стула, она пересекла комнату и хлопнула меня журналом по макушке:

– Нечего тут кукситься, Стася.

– Это как?

– Как будто вот-вот разревешься. Не смей искажать черты лица!

– Мне улыбаться?

Она вновь замахнулась журналом, чтобы повторить кару, но передумала. Я перехватила ее взгляд, устремленный на дверь: Дядя имел обыкновение подкрадываться тайком.

– Улыбка – это твое привычное выражение лица? – Лаборантка Эльма ухмыльнулась.

Когда-то было привычным, вертелось у меня на языке, но я смолчала. Для острастки Эльма залепила мне пощечину. Я подумала: останется ли след? Если да, то художнице запретят его изображать.

– Еще не хватало – улыбаться! – одернула меня Эльма. – Улыбка тоже искажает лицо. А доктор требует портретного сходства. Смотри прямо перед собой: глаза открыты, губы сжаты. Что может быть проще? Это и дураку понятно!

Она вернулась на свое место и углубилась в журнал. Мне оставалось только пожалеть фройляйн Дитрих – она же не виновата, что ее портрет участвовал в карательной операции лаборантки Эльмы.

Как мне было велено, я смотрела вперед, выбрав себе в качестве ориентира выложенный кирпичом оконный проем у портретистки над головой. Оставалось надеяться, что на подоконник опустится певчее или воркующее пернатое создание и развлечет портретистку за работой. После исчезновения Перль я заметила, что в Освенциме становится все меньше дикой живности. Смешно было надеяться, что птицы прилетят по моему хотенью, и, не дождавшись ни единой, я посадила птичку на подоконник силой своего воображения. В клюв ей вложила оливковую веточку. Но птица все время ее роняла. Казалось, даже собственное воображение меня покинуло.

От этих фантазий меня пробудила Эльма. С журналом в руках она встала, пролаяла мне приказ вести себя как положено и, хлопнув дверью, вышла.

С ее уходом кисть оживилась. Из-за мольберта показался один глаз: ввалившийся, темный, воспаленный. Но даже болезнь не лишила этот взгляд теплоты.

– Я хочу посмотреть, как ты улыбаешься, – проговорила портретистка тоном столь же дружелюбным, как и ее взгляд.

Нечто знакомое прозвучало в этом голосе, но я сказала себе, что это просто скрипучие нотки, какие со временем появляются у всех заключенных из-за голода и побоев. И все же было в ее речи что-то особенное, и даже покашливание в конце фразы отличалось редкостным очарованием.

– Но Эльма…

– Да что Эльма понимает в искусстве? Это же мартышка, кривляка, дуреха. Давай-ка улыбнись.

Я старалась как могла.

– Шире, зубки покажи. Неужели анекдоты рассказывать? Как еще тебя насмешить?

Пришлось открыться этой женщине: как я ни стараюсь, в последнее время улыбки не получается. А от анекдотов только хуже.

– Тогда расскажу тебе одну историю, – предложила она. – Историю про двух девочек. Хочешь послушать?

Я кивнула.

– Значит, так, – сказала женщина. – Рассказчица из меня – так себе. Но я постараюсь. Жили-были в Лодзи две девочки. Близнецы. Похожие во всем как две капли воды. Когда принимавшая роды акушерка отбыла, родители не смогли различить своих дочек. И отец написал каждой на пяточке первую букву имени. На другой день он стал их купать, и буквы смылись. Отец расстроился. Как теперь было отличить одну девочку от другой? Он попытался себя убедить, что в этом нет нужды. В конце-то концов, имя требуется только на один день. Ни слова не сказав жене, он снова написал буквы на детских пяточках. Но вечером признался в своей опрометчивости. Жена только рассмеялась, а затем посвистела над двойной колыбелькой. Та малышка, которая засмеется от свиста, сказала мать, будет помечена буковкой «С» – и посвистела еще, но ни одна из девочек даже не улыбнулась. Тогда к матери присоединился отец, а там и зайде, и буббе. Свистели они, свистели, да все впустую. Принесли из кухни всякие плошки-поварешки – и давай стучать над колыбелью; принялись дуть в дедушкин кларнет, да никто в семье толком играть не умел. Всех соседей перебудили, а дети – ноль внимания. Они уже в собственном мире жили. И вдруг как начали смеяться и гулить! Можно подумать, радовались, что домашние такую суету развели, чтобы только их различить.

– Совсем не смешно, – сказала я. Во всяком случае, так мне запомнилось, но вполне возможно, что высказалась я иначе: на самом-то деле меня подкупил и голос портретистки, и ее рассказ. – Зря ты не сказала мне еще тогда, мама. Ведь все эти годы я считала себя Стасей, а теперь оказывается, что я, скорее всего, Перль?

Портретистка засмеялась знакомым до боли смехом – и тут же стала мамой, моей мамой, хотя и совсем не той, с которой мы расстались в теплушке.

– Таким способом зарекаешься от улыбок? – спросила она.

По крайней мере, так мне запомнилось. Но я не уверена, потому что она поднялась со своего места, чтобы меня обнять, и зарылась губами мне в маковку. Впрочем, очень скоро она поняла, как это опасно, и на цыпочках вернулась к мольберту.

На долю минуты нас охватил восторг, оттого что мы видим, слышим и любим друг друга, но потом…

– А где твоя сестра? – прошептала она.

Я ответила, что не знаю. Рассказала про «Ну-ка, порадуй меня». Рассказала про следы Перль и про поле маков.

Мама выронила кисть, на которую успела набрать белила: они оставили на полу будто бы выскобленное пятно цвета слоновой кости.

– Не может быть, – проговорила мама. – Я пишу только парные портреты. Каждый раз – только ненарушенные пары. – И когда в ее голосе зазвенело отчаяние, она встала, опять подошла ко мне и прижала к себе из последних сил, а потом выплакала последние слезинки. – Стася, какое счастье, что мы с тобой повидались. Необыкновенное счастье.

Я уткнулась в звезду на маминой груди. У меня накопилось множество вопросов. Почему я ни разу не видела ее у забора, среди других матерей близнецов? Понятно, что Дядя сдержал (хотя и в неявной, очень странной форме) свое обещание по поводу красок; ну а как насчет хлеба? Нравится ли дедушке плавать в бассейне?

С каждым моим вопросом мама целовала меня в лоб, но от последнего вся съежилась и попросила на нее не смотреть – сказала: всего минутку, сказала: не смотри, сказала: пусть такого не будет, пусть будет иначе, когда мы окажемся в другом мире, где такое немыслимо. Не смотри.

Напрасно я не послушалась.

Потому что при виде маминого лица я увидела зайде. И он не отдыхал в бараке, не играл в настольные игры, не беседовал о политике, не обменивался рецептами, не произносил тост в память скворушки. И даже не умирал в плавательном бассейне. В моем видении не было реальной зацепки, никакой сердцевины, ничего отчетливого. С ним сотворили то же самое, что сделали – и продолжали делать – с тысячами других.

Увидев мое потрясение, мама смогла только звать меня по имени. Повторяла, сколько могла, потом начала звать Перль. Твердила как заклинание раз за разом.

– Как бы тебя не услышали, – прошептала я.

И тогда последний звук имени ее потерянной дочери сменился кашлем. По коридору приближались шаги, мама отпрянула и споткнулась в своих разнокалиберных ботинках. Нам еще повезло, что у нее сохранилось проворство: лаборантка Эльма с перекошенной физиономией бочком протискивалась в помещение. Завидев маму в стороне от мольберта и в опасной близости от меня, она взъелась.

– Мне потребовалось взглянуть поближе – зрение подводить стало, – объяснила она лаборантке Эльме, прежде чем второпях двинуться к стулу. – Не могла разглядеть губы.

– Бывает же такое – подслеповатая художница! – фыркнула Эльма. – Теперь-то удалось разглядеть?

У мамы дрогнул голос.

– Клянусь, – провозгласила она, – все будет в лучшем виде.

Будь Эльма повнимательней, она бы отметила и дрогнувший мамин голос, и ее брошенный на меня перед возобновлением работы взгляд. Мама даже ухитрилась исподтишка кивнуть и усмехнуться, пока Эльма искала, к чему бы еще придраться; пройдя комнату в длину, она остановилась как вкопанная:

– Почему пол краской вымазан? Откуда только руки растут! Что за транжирство! – Придирчиво осмотрев свои лакированные туфельки, она указала носком на одиозное белое пятно и распорядилась: – Немедленно отчистить! Развела тут грязищу.

Она швырнула в маму какой-то тряпкой; мама послушно наклонилась, но тут же зашлась кашлем. Я схватила тряпку и терла белое пятно до тех пор, пока от ветоши ничего не осталось.

Художница (так я про себя называла маму, покуда ее пинала Эльма) извинялась и обещала впредь быть аккуратнее. Работа за мольбертом, а не на фабрике, не в «Канаде» и не в «Пуффе» ценилась на вес золота.

Лаборантка Эльма оглядела холст:

– Для наших целей, вероятно, сойдет.

– Работа еще не закончена, – возразила мама.

Но физиономия Эльмы свидетельствовала об обратном.

– Мама, – зашептала я, – когда увидишь Перль, не пугайся. Ты ее непременно увидишь, она вернется. Мы все – те же, что и были…

– Иди отсюда, Стася.

Лаборантка Эльма, как всегда, схватила меня за шиворот и повела к дверям.

Она была настолько раздосадована моим волнением и слезами художницы, что не заметила, как я сунула в потайной кармашек за поясом юбки все ту же тряпицу – вещь, осененную прикосновениями моей матери.

Перед отбоем я прижала к щеке эту ветошку и так заснула. Не каждый меня поймет, но я сделала так потому, что мама поделилась со мной своим убеждением: из всей нашей семьи остались в живых только мы двое. Вслух она этого не произнесла, но выразила в моем портрете. Мама написала его неправдоподобным, с минимальными чертами сходства, и я оценила эту искусную уловку, но было в нем и нечто скорбное, по-матерински пронзительное.

декабря 1944 г.

Милая Перль,

мама жива. Ты ведь тоже, да?

Мама – это правда – все еще была с нами. Она изобразила на холсте наше лицо, и на миг мы с ней стали такими, как прежде: сидели словно в гостиной нашего старого дома и переглядывались так, чтобы только не выдать свою боль.

Закончив письмо, я решила взяться за свой анатомический блокнот – он не давал мне забыть о мести. Но не успела я открыть нужную страницу, как сверху возникло древнее, но мальчишеское лицо с намеком на усики.

– Он тебе язык отчекрыжил, что ли? – спросил Феликс.

Я ответила, что молчу из-за встречи с мамой, а с дедушкой я не встретилась, но получила о нем вести.

Тут Феликс тоже умолк и впал в неподвижность. Я даже встревожилась.

– За дурочку меня держишь? – мрачно спросила я. – Из-за того, что я надумала его перехитрить, изменить, превратить в того, кем он должен стать? – Видя, что Феликс не намерен отвечать, я вылезла из бочки, чтобы посмотреть ему в глаза.

– Я считаю, тебе хочется видеть в людях добро, поскольку зла вокруг нас и так через край, остается только верить во все хорошее, – высказался он.

– Ничего подобного. Хорошее я вижу в ножах, а не в людях. Притом что нож не бывает ни добрым, ни злым – лишь бы резал.

– Ты поёшь с голоса Бруны.

– Просто со временем я озлобилась.

– Я и сам к этому близок. – Феликс разволновался. – Мы с тобой еще наведем шороху.

– Насчет шороха не знаю, – ответила я. – Но все необходимое сделаем.

Он вручил мне полученные от Бруны бесценные газеты: контрабандой переправляемые сюда для коммунистов, они неизбежно заканчивали свой путь в руках охранника-эсэсовца.

– Могу научить тебя ненависти, – сказал Феликс. – Шаг первый: читаешь вот это. Здесь сказано, что к нам скоро придут русские, – в небе уже летают их самолеты. Кроме того, здесь говорится, что командование Освенцима готово в любую минуту сбежать, но перед тем уничтожить лагерь и нас вместе с ним. Значит, у нас остается совсем мало времени, чтобы разобраться с Менгеле. – Феликс со значением потряс газетой у меня перед носом, чтобы я сама убедилась.

– Я русского не знаю.

– Могу и русскому тебя научить. Этот язык отлично передает ненависть к нацистам. Возможно, даже лучше польского. Польский мы оставим для других целей – то-то наши отцы порадуются, да?

– В твоих поучениях я не нуждаюсь. Нацистов и так ненавижу, всех до единого. И всегда ненавидела. А Менгеле – больше всех.

Я поклялась никогда больше не называть его Дядей, даже чтобы прикидываться невинной овечкой.

В открытую, без утайки заговорив о своей ненависти, я прочла уважение в глазах Феликса. Он ловил каждое мое слово и ждал продолжения.

– Вот и приложи свою ненависть к делу, пока не вышла из доверия, – посоветовал он.

– Я только об этом и думаю. Выжидаю, когда наступит удобный момент.

– Не тяни. Ты же с ним накоротке – могу только позавидовать. А знаешь, кто еще тебе завидует? Вся Советская армия, да и американская тоже. Грех не использовать наши возможности. – Тут Феликс вручил мне два хлебных ножа. – Теперь у тебя три единицы оружия! – торжественно провозгласил он. – По-моему, этого должно хватить. Мой тебе совет: первый удар в бедро, второй в шею, третий в сердце. А когда нож войдет в сердце, нужно будет еще повернуть и вогнать ногой по самую рукоять. Дави, пока сердце не заскрипит, тогда будешь уверена, что он сдох.

Под впечатлением от одного вида этих ножей, я даже не задумалась, может ли сердце издавать звуки. Эти сомнения следовало внести в анатомический блокнот, прежде чем вернуться к обсуждению наших планов и нового арсенала из трех единиц холодного оружия.

– А откуда у тебя целых два хлебных ножа, Феликс?

– Один от брата остался. Брат почел бы за честь передать свой ножик тебе. Не так-то просто было его сберечь. Пока я в больничке валялся, ножи Бруна хранила. Знала, как я ими дорожу и почему. Жаль, что Бруна не вхожа к Менгеле, – уж она-то разобралась бы с ним в наилучшем виде, и рука бы не дрогнула. – Он восхищенно поиграл в уме с этой фразой, как будто одно лишь упоминание Бруны приближало его к покорению белоснежного ангела.

– У меня не хуже получится, чем у Бруны, – заявила я, хотя сама в это не верила и только надеялась, что мои слова звучат правдоподобно.

Мы составили план действий. Заключался он в следующем: я под любым предлогом должна остаться с Менгеле наедине, желательно в замкнутом пространстве. Это важный момент, отметил Феликс, потому что доктор, хотя и глуп…

– Он далеко не глуп.

– Ладно. Он не глуп. Но разве зло – не разновидность глупости?

– Откуда ты это взял?

– Своим умом дошел. В больничке я много думал. Больше, чем ты можешь себе представить. Размышлял о людях, о добре и зле. Обдумывать зло проще всего, потому как мы сталкиваемся с ним на каждом шагу. Я знаю зло как свои пять пальцев. Стоит мне появиться в лаборатории, как оно бежит следом и садится рядом со мной. Говорят, зло закаляет характер, а потому злодеи сильнее добрых людей. Это общее заблуждение. Возьмем того же Менгеле: у него отсутствуют многие сильные стороны, какие есть у тебя, но все же он сильнее, круче, а потому против него есть только один прием – загнать его в угол. Или повалить на землю. В любой подобной ситуации ты обязана взять верх, а не то тебе оттяпают руку, а потом и все остальное. Поняла?

Только сейчас до меня дошло, что мое лагерное образование не стоит ломаного гроша. Все свое время, час за часом, я отдавала Менгеле, твердо решив научиться исцелять и заживлять, останавливать кровь и делать массаж сердца, но главное – подгонять одну часть к другой, создавать симметрию там, где раньше ее не существовало, – и все для того, чтобы произвести на него желаемое впечатление, чтобы расположить его к себе и выбрать момент для смертельного удара. Но если честно, то настоящим специалистом был Феликс: вот с кем следовало бы держать совет. Потому что Феликс извлекал опыт из фактов кошмарного насилия, какому подвергались мы все. А кроме того, он читал литературу подполья и прокручивал в голове разнообразные сценарии убийства. Он знал, куда нанести удар, чтобы жертва как можно быстрее скончалась от потери крови, куда метить, если хочешь только оглушить. Не знал он, по собственному признанию, только одного: как это все осуществить.

Ему верилось, что действовать лучше всего через меня.

Но Менгеле сделался намного бдительнее. Когда участились воздушные налеты, он все чаще стал уединяться в своем кабинете, вдали от прежних любимчиков. По словам доктора Мири, от новых проектов он отказывался, перекладывал папки и предметные стекла, писал отчаянные послания своему руководству. Под окнами кирпичного лабораторного корпуса штабелями высились ящики. У дверей стояли без движения автомобили; технический персонал бегал туда-сюда, загружая эти ящики на задние сиденья.

В течение тех трех недель, что мама писала мой портрет, я держала ухо востро. Проигрывала в уме Феликсов план убийства, выверяла каждый шаг, каждый жест. Точила о ступеньки лестниц хлебные ножи. Лезвия подвывали: Никогда нам не стать острыми как бритва. Никогда не пронзить сердцевину бед. А я отвечала: Не хотите – а придется.

И мы сообща – хлебные ножи и я вместе с ними – ждали удобного момента. Ждали, что доктор где-нибудь замешкается. Искали следы, которые могли указать на его местонахождение. Но следы его ускользали, как ничьи другие: при виде их загогулин я чувствовала только ботинок у себя на шее.

На третий день ожидания, загодя положив три ножа в носок, а рояльную клавишу Перль прямо в ботинок, я сидела на ступенях больнички. Прождала часов шесть, а то и восемь, но может, всего два-три. Как я заметила, время нынче текло для меня по-другому. Оставалось только гадать, войдет ли оно в прежнюю колею, если отсутствие Перль уже изменило назначение минут, дрожавших на кончиках стрелок и медленно ползущих по циферблату. Я рассуждала сама с собой, что лучше: идти вперед или замереть на месте, и когда остановилась на первой возможности, к дверям подкатила машина доктора.

Вид у него был странно неряшливый. Обычно расчесанные на пробор волосы спутаны, манжеты брючин в пыли. Каждый нерв лица напряжен. Взбежав по ступеням, он поставил у двери какую-то коробку и при виде меня чуть не споткнулся.

– Бессмертная Крошка? Что ты тут делаешь?

– А вы помните, как меня зовут?

– Конечно помню, – с упреком протянул он. – Разве можно тебя забыть? Пусть даже обстоятельства изменились.

– И в самом деле изменились, – с набитым ртом вставил водитель, румяный здоровяк с усами как у сома.

Толстые губы ворочались еле-еле: он жевал бутерброд. Из открытого окна машины он с отвращением сплюнул на землю, как будто колбаса оказалась не первой свежести. У меня заурчало в животе при виде такой расточительности.

– Болек знает, что говорит. – Менгеле кивнул на водителя. – Он тут с первого дня. Стоял у истоков. Расскажи ей, Болек.

– Начинали в тридцать девятом, – с полным ртом промычал Болек. – Кругом одни болота были. А нынче – гляди!

За лобовым стеклом он обвел рукой территорию. А потом опять сплюнул, на сей раз царственно.

– Дороги, сады, музыкальные салоны, бассейны, музыкальные салоны, – любовно перечислял Болек.

– Ты повторяешься: музыкальные салоны дважды назвал, – указал ему Менгеле.

– И что такого? Думаете, Бухенвальд так же обустроен? Или Дахау? Не грех и повторить! У кого повернется язык сказать, что Аушвиц – нецивилизованное место? – Болек настороженно покосился в мою сторону, как будто все обвинения исходили от меня.

Менгеле засуетился, перебирая коробки в багажнике и перемещая некоторые – видимо, наиболее ценные – на заднее сиденье. Я заметила там чемодан. Поверх него была наброшена форма офицера вермахта. Перехватив мой взгляд, Менгеле быстро накрыл форму пиджаком, но в основном вел себя как отец семейства, готовящийся к выезду на пикник.

– Отлучусь ненадолго. Скоро вернусь. Но вначале нужно сделать обход территории. Пойдешь со мной? Давай Перль поищем, а?

– Перль умерла, – сказала я. – Скончалась. Ее больше нет.

Впервые произнесла это вслух. Рассеялись ли облака, когда я заговорила? Отступил ли горизонт за море, поднялись ли земные пласты и клубы пыли, чтобы обнажить озеро? Смешался ли с этой пылью пепел, когда вороны вещали о перемирии? Хотя любое из этих событий могло быть вызвано к жизни моими словами: Перль умерла, скончалась, ее больше нет. Не могу судить, произошло ли хоть какое-нибудь из упомянутых событий, потому что от одного произнесения этих слов у меня отказали все чувства. Я застыла, безвольно свесив язык, слепая и глухая ко всему, кроме зрелища Йозефа Менгеле.

– Разве? Как странно… – Он посмотрел на меня со значением. – Я не подписывал свидетельства о смерти.

– Ну, вы столько всего подписываете, – ответила я.

Не скажу, что Менгеле пропустил мои слова мимо ушей; это не так. Но если он и заподозрил какой-то намек на свою забывчивость, то виду не подал.

– Это верно, – вздохнул он. – Чего только я не подписываю! Ну ничего, лишний раз проверить не помешает. Ты глазам своим не поверишь, Стася, как люди ухитряются здесь спрятаться. Сжимаются так, что и не представить. Я не раз находил ребенка, сложившегося пополам в чемодане! И это были дурачки, не чета нашей умнице Перль. Она так изобретательна, что сможет даже в чайник залезть!

Эта похвала в адрес моей половинки воскресила ее у меня в голове, и это воскрешение (с моей стороны, допускаю, результат тупости, идиотизма, отчаяния) на какой-то миг заслонило для меня сущность Менгеле.

– Вы совершенно правы, – сказала я.

– Так поехали, разыщем ее. – Придерживая переднюю дверцу автомобиля, он жестом пригласил меня садиться.

Салон пропах дымом, пеплом, кожей и маслом. Болек с раздражением выбросил из окна недоеденный бутерброд и смотрел, как за него дерутся в грязи тройняшки Ягуды. Менгеле втиснулся рядом со мной и закурил. Машина с лязгом выехала за пределы «Зверинца».

Молчание затянулось. В нем таилась опасность. Вдруг доктор резко потянулся ко мне рукой, прямо к шее. Я сжалась. От него, конечно же, это не укрылось: в его манере прибавилось задушевности.

– Стася у меня стажируется по медицине, – сообщил он водителю. – Когда-то у нее были дивные соломенные волосы, но вшивость – сам понимаешь… Глаза, правда, карие: это минус.

– На вид – кровь с молоком, – фамильярно и вместе с тем одобрительно заметил Болек.

Но его глаза, отражавшиеся в зеркале заднего вида, говорили совсем другое, нечто весьма далекое от доброжелательства.

Сглотнув слюну, я покрутила в кармане рояльную клавишу. Моя нервозность не поддавалась логическому объяснению. В конце-то концов, у меня не было причин бояться смерти, но близость главного мясника сама по себе действовала мне на нервы. Мы с ним сидели бок о бок. Он дал мне знак положить голову ему на плечо. И я повиновалась? Естественно. Ради того чтобы его прикончить, я повиновалась.

– Как сегодня провела утро? – спросил Менгеле.

– Занималась, – солгала я.

– С Отцом Близнецов? – презрительно уточнил он.

– Нет, сама.

– И правильно. Цви – неплохой человек, но учитель, по-моему, никудышный. У него прочных знаний не получишь. Чем же ты занималась?

– Доктор Мири дала мне книгу. По хирургии. Я изучаю, как делаются надрезы. А сегодня утром читала про кесарево сечение.

– Интересная тема, – без всякого интереса выговорил он. – Ты ведь однажды видела, как я выполняю эту операцию, правда? Пачкотня, да и только.

Его голос будто подмигнул: Менгеле прекрасно знал, что я наблюдала не кесарево, а настоящую вивисекцию. Та женщина… он извлек из нее младенца, это так. Вскрыл ее чрево и отправил ребенка в ведро с водой – утопил прямо на глазах у несчастной матери, но ее страдания на этом не кончились. Менгеле, сколько было возможно, затягивал пытку. Я стремилась вычеркнуть из памяти то зрелище. И даже не хотела, чтобы эти воспоминания сохранила для меня Перль.

Но если Менгеле предпочитал считать это убийство кесаревым сечением, значит в Освенциме так было принято.

– Как правило, я отправляю их прямиком в газовую камеру, – добавил он, как бы в расчете на Болека. – Но если предварительно сделать операцию, то они смогут еще сделать последний вдох. В нынешних условиях это гуманно. В любом случае, Стася, тебя нужно похвалить за интерес к этим манипуляциям.

Он умолк и погрузился в задумчивость, а потом достал из портфеля бутылку и, сделав изрядный глоток, сжал мне колено.

– Впрочем, твое истинное призвание – искусство. Искусство танца, правильно?

– Танцовщица у нас – Перль, – напомнила я. – А мое призвание – естественные науки.

Менгеле воздел руки, забыв, что держит бутылку. Моя щека прошла крещение джином.

– Да, действительно! – воскликнул Менгеле. – Но это не имеет значения. Танцовщица, исследовательница… Главное – чем-то себя занимать. Развивать собственные интересы. Сохранять любознательность. Я многого добился благодаря своей любознательности. А кто утратил любознательность, – он погрозил толстым пальцем у меня перед носом, – из того вскоре уйдет жизнь.

– Я стараюсь не утратить.

– Но твой голос – он мне говорит, что эти старания даются тебе лишь ценой больших усилий. Как видно, без сестры тебе нелегко? У многих близнецов я наблюдал то же самое. Меня увлекает этот феномен: как человек выживает без своей половинки после долгих лет неразлучности. Интереснейшее явление.

Своим ответом я попыталась себя обезопасить.

– А я вот совсем без нее не скучаю.

– Передо мной не обязательно храбриться.

– Она где-то прячется, это точно, – сказала я. – Пока не увидит, что можно выходить.

– Неплохая догадка, но не более. Ты способна на лучшее. Ну-ка, поразмысли еще. Как по-твоему, где она может прятаться? Болек немедленно нас туда доставит.

Мы проехали мимо мужских бараков, мимо женских. Проскрежетали по всему периметру вдоль ограды. Я вжималась носом в стекло, Менгеле неотрывно смотрел вперед. Мне всюду мерещилась Перль. Я видела ее так много раз, что как-то подзабыла свою главную цель. Под скрежет гравия мне хотелось думать, что моя сестра просто маскируется, что она мелькает среди остающихся позади людей. Возможно, занятия в театральном кружке и чуткая натура позволили ей принять самый подходящий облик.

– Вон она, – вырвалось у меня при виде отдаленной фигурки.

– Это мальчик. Причем готовый преступник.

– А вот и Перль. – Я указала на другую фигуру. – Мы с ней вместе родились. Я где угодно ее узнаю.

– Кажется, эта женщина мне знакома, – возразил Менгеле. – Она – прекрасная служащая охраны, но отнюдь не Перль.

В начале поездки я еще надеялась выудить какие-нибудь ценные сведения. Надеялась, что Менгеле повинится в своих преступлениях или хотя бы признает, что постоянно мне врал. Зайде не кормили, не сводили в бассейн и не оставили в живых. Мама голодала; портреты стали ее предсмертными произведениями. Но пока мы кружили по территории, до меня дошло, что искать в салоне этого автомобиля здравый смысл бесполезно. Как у Менгеле, так и у меня самой, потому что я, тыча пальцем в очередную фигуру, верила, что сейчас увижу сестру.

– Это она, – повторяла я, замечая капо с сигаретой, мальчика с лопатой, повариху с половником.

Ответ каждый раз был одинаковым:

– Кто?

– Перль! – кричала я в окно. – Это Перль, она просто маскируется.

И по приказу Менгеле все эти персонажи подходили к машине, чтобы своим акцентом, басом, шрамом доказать, что они не имеют ничего общего с моей любимой сестрой. Это были всего лишь капо, мальчик, повариха.

Менгеле не злорадствовал по поводу моего разочарования, но ему, похоже, нравилось наблюдать, как я их разглядываю, подражая его манере. Я имитировала его жесты, задавала вопросы о происхождении.

– Тебя бы к нам на службу, – хохотнул он, когда я отпустила повариху.

Я уже хотела попросить Болека отвезти меня обратно в «Зверинец», но тут увидела одну женщину. Она была перемазана сажей, но, несмотря на это, ее щеки сияли невинностью. В руках она изящно держала корзину. Перехватив мой взгляд, Менгеле подозвал женщину к окну; от такого внимания она выронила корзину.

– Ну-ка, проверь ее, Стася.

Я выбралась из автомобиля, остановилась перед ней и, как делал Менгеле, одним пальцем подняла ее подбородок. Под нижней челюстью открылась аккуратная, не запятнанная сажей белая полоска.

– Вроде она, – объявила я.

Это было вполне в духе Перль – замаскироваться таким простым способом. С моей точки зрения, очень умно.

– По-твоему, это глаза? – фыркнул Менгеле. – Да это же пара оловянных бляшек, в лучшем случае – изюмин. Ничего человеческого.

Он велел женщине покрутиться, чтобы мы осмотрели ее со всех сторон. Она стала медленно поворачиваться, приволакивая ноги.

– Это Перль, – упорствовала я.

– У нее язык отнялся? – спросил Менгеле. – Она может ответить на вопросы, поделиться воспоминаниями детства?

Женщина заморгала; белки глаз выделялись на фоне сажи. Радужку скрывала молочная пелена.

– Глаукома, – пояснил Менгеле. – Это гречанка, пятидесяти с лишним лет. По меньшей мере трое родов. Не раз оставалась вдовой, намучилась. Здесь поставлена убирать в крематории. Похоже, у нее жар. Медленно, но верно слепнет. Думаю, уже недолго осталось. Смотри, на руках язвы. Наверняка ими покрыто все тело. Жуткая инфекция.

Я посмотрела на пораженные болезнью женские пальцы.

– Ты бесполезна, так? – жизнерадостно обратился к ней Менгеле, напустив на себя ложную доброту. – Ты – животное, правда? Низкое, вонючее животное?

И женщина, повесив голову, закивала, показывая лысину, покрытую синяками.

– Садись в машину, Стася, а то заразишься.

Но я еще ни в чем не удостоверилась. А потому сообщила этой загадочной особе, что не держу не нее зла, даже если она планировала сбежать без меня, оставив мне в утешение только рояльную клавишу. Если ей так лучше, то и хорошо. Я говорила с ней по-польски, потом на идиш, потом по-немецки и, наконец, на нашем тайном языке, перемежая свои нежные увещевания образами всего, что скрепляло нашу любовь: во мрак ее ума я бросала мягкость новорожденных котят, расшитый цветущими вишневыми веточками рукав маминого халата, книги с дедушкиного письменного стола. А когда и это не сработало, я удвоила свои усилия и обиделась; нарисовала перед ее мысленным взором убожество моего «Зверинца», мой узловатый хребет, скрюченный на шконке. Конечно же, думала я, эти отчаянные картины заденут ее за живое, заставят отбросить хлипкую личину и вернут мне мою желанную вторую половинку.

Но нет.

Чудовищная копия моей сестры испуганно вытаращила глаза и принялась совсем по-младенчески сосать свой старческий палец.

Я одернула эту полу-Перль. Сосать палец – не лучшее лекарство против боли. Но чмоканье не прекращалось.

Наклонившись к земле, я стала высматривать камни. По сей день благодарна судьбе, что не высмотрела ни одного; в противном случае камни полетели бы в нее, чтобы через боль сорвать эту нелепую оболочку. Заметив, как у меня трясутся руки, Менгеле втащил меня в кожаное нутро автомобиля, но я успела заметить, как женщина с неожиданной прытью, умноженной страхом, бросилась прочь и спряталась за каким-то грузовиком.

Менгеле вздохнул и с притворной жалостью крякнул. А потом достал из кармана жестянку с леденцами. Я заметила, что это не обычные его ликерные пастилки, а какие-то более замысловатые сласти. Положив одну карамельку мне в рот, он взял меня за руку и начал сочувственно поглаживать:

– Значит, это не Перль. Но я тебя порадую: можешь продолжать поиски. А теперь порадую тебя еще больше: искать сестру ты можешь хоть целую вечность. Пока не найдешь, твоя жизнь не оборвется. Многие ли могут этим похвастаться?

Я сказала, что ценю этот дар. Менгеле приказал Болеку ехать обратно.

Когда автомобиль взревел и сорвался с места, я бросила последний ищущий взгляд в сторону самозваной Перль – и увидела то, чего не должна была видеть. Пусть бы в воздухе висел мрак, пусть бы она изменилась до неузнаваемости – от голода, страданий, одиночества; пусть бы ее загородили другие, те, которые, возможно, старались заменить ей семью, которые могли бы накрыть ее застывшие глаза своими вытянутыми руками.

В кузове грузовика на куче трупов лежала наша мама. Лежало тело, принадлежавшее женщине, которая была нашей матерью. Хранительнице маков, которая некогда вмещала в себя целый плавучий мир. Я вовсе не ожидала, что когда-нибудь в него вернусь, но еще меньше ожидала увидеть такую жестокую кончину той, которая сделала его возможным. Эта фигура на куче трупов – она преобразовалась. Я не понимала, можно ли по-прежнему называть ее нашей мамой, или же она превратилась в нечто недосягаемое – звезду, чашечку цветка, морскую волну, которую выжившие, вроде меня, не имеют права считать своей.

Не плачь, говорили мамины заплаканные, широко раскрытые, устремленные на меня глаза.

И я сочла за лучшее с ними не спорить, но в глубине души, втайне от ее всевидящего взора, только утвердилась в своей решимости отомстить. Меня затрясло; под носками я ощущала холодные поцелуи прижатых к моей лодыжке ножей.

– Тебе нехорошо? – удивился Менгеле. – Что-то ты притихла. Не переживай: настанет день – и ваша семья воссоединится. Мы все вместе отправимся поужинать, Перль нам станцует. Как ты на это смотришь?

Я поблагодарила, а сама кивнула маме в подтверждение своей клятвы.

Менгеле что-то бубнил, но я не могла поддержать разговор. Молчать было безопаснее, потому что, заговорив, я сказала ему вот что:

Не сумев дважды убить мою мать, ты держишь меня в неволе, чтобы я испытала сотни лишений и мук.

Не сумев превратить моего деда во что-либо иное, кроме пригоршни пепла, ты превратил меня в серое, искореженное ничтожество, которое при желании способен унести любой ветер.

Не сумев подчинить себе факт моего появления на свет, ты отнял у меня то, с чем я родилась: мою любовь, мою половинку, которая единственно и делала меня цельной, а теперь я, расколотая надвое, обречена жить вечно, скитаться в поисках неизвестно чего неизвестно где, с неизвестной, неутолимой болью.

Перелитая им кровь отхлынула от моего мозга и сжалась в кулак. Пусть он сделал меня бессмертной, твердила я, пусть он обрек меня пережить всех, но это еще не значит, что я не сумею умертвить, прикончить, истребить его самого. Ножи у меня в носке согласно кивали. Менгеле подался вперед, чтобы окликнуть проходившую мимо медсестру, и подставил мне спину. Шея тоже оказалась незащищенной – он потерял бдительность. Ну давай, такой возможности больше не представится, убеждали меня ножи. Но не успела я последовать их совету, как Менгеле резко повернулся и окинул меня серьезным взглядом.

– Будущее, – произнес он. – Мы все должны смотреть в будущее. Понимаешь?

Я кивнула. Нащупала в кармане клавишу Перль, скользкую, глянцевую; мои пальцы ощущали ее блеск.

– Хочу тебе кое-что показать, – неожиданно сказал он на подъезде к «Зверинцу» и достал из-под сиденья какую-то коробку.

Такие коробки я видела в лаборатории, но к этой, очевидно, Менгеле относился по-особому: если остальные были помечены: «Срочно. Военные материалы», то на этой стояло одно лишь имя. «Д-р Йозеф Менгеле», – гласил тонкий и аккуратный рукописный шрифт; нетрудно было представить, сколько раз отрабатывался изгиб каждой буквы. Менгеле прижимал к себе эту коробку, как ребенок, получивший в подарок плюшевого медвежонка, как мальчик постарше, получивший воздушного змея, а потом бережно приоткрыл крышку, будто даже себе не мог доверить драгоценное содержимое.

– Все это, – начал он, – генетический материал. Ты даже не представляешь, какие открытия сулят нам эти образцы. Они позволят создать совершенно новый человеческий вид, идеальную личность.

Внутри звякали предметные стекла. Я провела пальцем по их краешкам.

– Идеальная личность, – повторила я. – Как Перль.

Он убрал от меня контейнер и накрыл крышкой все маленькие судьбы, не дав мне их запомнить. А потом схватил меня за шею, стиснул пальцы, запрокинул мне голову, ловко, как фокусник, достал из кармана пипетку и выдавил капельку жидкости мне в левый глаз.

Ох, какое было жжение, какая слепящая боль! Та капелька жидкости… от нее у меня хлынула река слез.

– Зачем? – выдохнула я, и рука сама собой потянулась к левому глазу, чтобы защитить его от новых мук.

– Чтобы ты меня почаще вспоминала, – ответил Менгеле.

Сквозь слезы я выдавила, что не хочу и не буду его вспоминать. Отказываюсь. Потому что вспомнить можно столько, что для других воспоминаний не хватит места. Продолжая говорить, я потянулась за хлебным ножом. Нашаривать пришлось вслепую: перед глазами у меня все потемнело, затем побелело.

– Ты мне льстишь, Стася. Это плохо. – (Не видя его, я знала, что он подмигнул.) – Скажи-ка мне… пока я не ушел… что ты видишь?

Я не видела ничего. Вообще ничего!

– Не волнуйся, Стася, завтра проснешься с голубым глазиком, обещаю.

Потом он распахнул дверцу и вышвырнул меня на землю, как старый хлам.

В этот день, семнадцатого января сорок пятого года, он покинул свой «Зверинец».

Я знала: при следующей нашей встрече все будет иначе. Мы окажемся в таком месте, где будет доказана одна из двух истин: что целый мир превратился в Освенцим или что мир больше не являет собой единое целое: что он тоже раскололся, разделился, канул в никуда. Хотя в тот момент я не ведала, даже отдаленно не представляла, какое событие могло бы свести меня с Менгеле. Мне, как жалкому, побитому зверьку, оставалось только доковылять до «Зверинца». Больной глаз я зажимала рукой, а здоровым высматривала свою бочку. О маминой смерти я не думала, о смерти зайде тоже… я поклялась гнать от себя эти мысли до полного отмщения за них обоих и еще за Перль.

Левый глаз видел только черноту. Много дней и недель: черное на черном. Я попыталась найти в этом хоть что-нибудь утешительное. Утешительное заключалось в том, что, закрыв здоровый глаз, я полностью слепла, а полностью ослепнув, получала возможность потенциально узреть в каждом встречном свою сестру Перль. Но стоило этому человеку со мной заговорить, как иллюзия развеивалась.

Когда глаз стал безнадежно никчемным, доктор Мири вытащила меня из бочки и определила в лазарет. Она думала, что от испуга я вновь захочу жить, и положила меня в четырехместный изолятор.

– Ты сама знаешь, – говорила она, – оказаться в лазарете – это не к добру. Из лазарета один путь – в грузовик.

Я кивнула.

– А грузовики сама знаешь куда едут…

Мне не пришлось требовать разъяснений. Я молча показала, что действительно сама знаю: грузовики свозят людей в газовку. Доктор Мири не могла взять в толк, почему от этой угрозы мне ни жарко ни холодно. Зато она, мне кажется, понимала, что я готова ехать куда угодно, лишь бы только отыскать след Перль, а потому с тревогой хлопотала надо мной в любую свободную минуту.

Просыпаясь по ночам, я пробиралась в главный корпус и бродила среди коек в поисках сестры. В этом кишащем, ревущем блоке скученность была почище, чем в бараках «Зверинца».

На узких, как щели, койках сплошными рядами муравьиных яиц лежали тела, укрытые белыми простынями. Каждое в отдельности походило на облако с прикрепленной головой. Головы по большей части смотрели не на меня, а в другую сторону или зарывались в матрасы, зато все тела одинаково тянули костлявые, шишковатые руки, вымаливая еду и питье.

– Ничего у меня нет! – кричала я.

Облака не верили, но и не злились. Им было слишком плохо, чтобы злиться. Они страдали от дизентерии, горячки, опасных инфекций. Они страдали от потери крови и потери родных, а сердца их с каждым днем ускользали все дальше от привычного места в груди. Зачем им было жить, этим людям-облакам? Они ворочались с боку на бок, засыпали, кашляли или думали о своем – у кого что лучше получалось.

Когда я плелась к себе в изолятор, за окном полыхнула белая вспышка.

Я поняла: это укор. Мама и зайде – не важно, где они находились, – призывали меня не быть тряпкой. Они стыдились, что я не выполнила свою миссию, и напоминали об этом раскатами, мощными, как пулеметные очереди. Я не винила их за эти крайние меры.

– Надеюсь, вы понимаете, – проговорила я в сторону окна, – без Перль я – не я.

Грохот усиливался. Больной глаз видел только размытое пятно, а здоровый позволил мне разглядеть дым, который подкрадывался к зданию.

У меня появилась надежда, что дым унесет меня туда, где ничего не осталось.

Эта мысль, похоже, встревожила маму и зайде больше всего. Оконные стекла задребезжали. Еще один укор. Искра, клубы дыма. Я понимала, о чем это говорит. Но не чувствовала своих слез до тех пор, пока чья-то рука не вытерла мне щеку.

– Простите, – сказала я доктору Мири, когда та предложила мне свой носовой платок.

Ее лицо оставалось странно неподвижным, а потом словно треснуло по всем швам и выплеснуло смех вперемешку с рыданиями.

– За что ты просишь прощения? – с трудом выговорила она.

– За все вот это. – Я указала на вспышки, озарявшие шеренгу окон.

– Ты тут ни при чем, – заметила она.

Я заверила, что очень даже при чем, и уже собиралась признаться…

– Понимаю, в это трудно поверить, – заговорила доктор Мири, положив трясущуюся руку мне на плечо, – но, похоже, лагерю приходит конец. Нам с месяц твердили о наступлении русских. Это кажется невероятным, но ведь… – Она ткнула пальцем в сторону дрожащих рам, густых шлейфов дыма, туда, где стоял грохот и вой. – У нас может появиться надежда, если только мы ее не спугнем.

Хотя ради меня доктор Мири пыталась придать своему голосу живость, ее тон свидетельствовал, что надежда если и забрезжила, то совсем небольшая, очень скромная, уже чуток потрепанная, сулившая нам новые тревоги и уравнения со многими неизвестными.

Трое людей-облаков поднялись со своих коек и заковыляли к окну. Им было приказано вернуться на свои места и отдыхать. По моим наблюдениям, медперсонал нервничал. Никто не знал, что несут появившиеся самолеты. Люди-облака и сами разделились на две фракции. Одни твердили: скоро все закончится. Это никогда не закончится, возражали другие. Я уже не знала, кому верить, и для ясности заглянула в лицо доктору Мири. Ее глаза светились энергией и оптимизмом, но губы по-прежнему сжимались в тонкую линию.

Мы ждали трое суток: зажимали уши, смотрели во все глаза, держали обувь под рукой на случай вынужденного бегства. Мы ждали, пока бомбы высвистывали непритязательный мотив, – ждали, даже не догадываясь, куда упадут снаряды. Ждали, пока снег смешивался с дымом и лагерь, не задавая вопросов, подергивался серой пеленой.

А я уже предвидела, что с наступлением истинной свободы для меня начнется другая вахта. Лежа в койке, я начала новое письмо сестре: выцарапывала его на стене, но дальше приветствия так и не продвинулась. Милая Перль, написала я в твердой уверенности, что в один прекрасный день она, пусть ненадолго, вырвется от своих тюремщиков – будь то смерть, будь то Менгеле, – увидит это приветствие и поймет, что мы остались людьми, что бы нам ни внушали.

Аушвицу каюк, говорили мрачные лица охранников, видевших эту бойню. Лагерь, который раньше поощрял любое их злодеяние, грозил стать их могильщиком. Запах паленых перьев, багровое небо, вездесущий пепел – все это было нам не в новинку, но теперь языки пламени на своем наречии возвещали близкую кончину Освенцима. Эсэсовцы подожгли беленый фермерский домик, переоборудованный под газовую камеру. Они предавали огню документы, разрушали все, что сами же построили, но действовали отнюдь не так методично, как при уничтожении нас, узников. Нет, эта огневая атака на королевство, которым они правили не один год, и произвольный характер разрушений обрекали нас на еще больший риск. Узники бродили, глядя в землю, чтобы только не встречаться глазами с охраной и не провоцировать новые жестокости. Если прежде охранники подчинялись лагерному начальству, то теперь они подчинялись только безысходности. Ходили слухи – причем все разные – о том, на что они способны. Поговаривали, что нас переведут в другой лагерь, а Освенцим сотрут с лица земли, чтобы уничтожить следы преступлений, и что все это – начало капитуляции.

Последнее казалось очень маловероятным. У меня не укладывалось в голове, что капитуляции должны предшествовать такие зверства: когда младенцев подбрасывают в воздух в качестве живых мишеней, когда женщин зажимают в углу, чтобы перерезать им глотки, а мужчин давят колесами автомобилей. Видя из окон лазарета весь этот хаос, я гадала, что быстрее пронзает небеса: пуля или человеческий вопль.

Двадцатого января сорок пятого года начался исход эсэсовцев. У нас на глазах они залезали в те же самые грузовики, куда прежде швыряли тела наших близких, и драпали. Они втискивались в легковые машины и перли напролом через ограждения, оставляя за собой обрывки колючей проволоки. А те, которые никуда не бежали, бродили по лагерю и где только можно показывали свою власть. Мири, выстраивая нас в шеренги, строго-настрого наказывала:

– Не высовывайтесь, запаситесь терпением. Советских войск пока здесь нет, но они наступают, и только с их приходом, а может и много позже, вы сможете безбоязненно выходить за дверь.

Да только я, бессмертная, проскользнула мимо нее. Меня было не удержать в четырех стенах. Тем более когда я увидела Бруну, которая с полными руками съестного махала мне из окна, отбросив назад угольно-черные волосы и мрачнея от скорого расставания.

Не успела я скатиться по ступенькам, как она появилась из-за угла в сопровождении Феликса. Мне на плечи Бруна набросила шубу.

– Шакал, – объявила она, истово поглаживая шкурку.

В игре «живая природа» мне ни разу не доводилось изображать шакала, но такая роль меня устраивала. Блестящий мех говорил о решимости умного животного, готового стерпеть любую клевету.

Феликс кутался в медвежью шкуру, роскошную, густую и грозную. Прикрыв таким образом свои собственные шкуры, мы с полным котомками съестного прошмыгнули мимо мундиров. Пробежали мимо блока, где когда-то выступал оркестр. Сейчас музыкальные инструменты с неистовым треском пожирало пламя. Мы слышали, как лопаются барабаны, как стонут гобои, оплакивая смерть своих язычков. От останков рояля поднимался гром. Но клавиша Перль была при мне.

– Красотища, – сказала Бруна, наблюдая за неуклюжим бегством эсэсовцев.

Мы согласились и решили не пропускать такой спектакль. Пообещали Бруне, что займем ее сторону и поможем ускорить разрушения. Но ее не вдохновил такой план; она буквально оттолкнула нас от себя.

– Возвращайтесь в бараки без меня! – потребовала она. – Я тут связана обещаниями.

Позже мы узнали, что Бруна связана обещаниями с доктором Мири. Они сообща разработали план эвакуации самых ослабленных пациентов на тот случай, если эсэсовцы начнут выдергивать немощных прямо из больничных коек. Валандаться с нами у нее желания не было. Конечно, вслух она бы так не сказала: наша Бруна сыпала только незлобивыми оскорблениями.

– Мотайте отсюда, мелочь пузатая, да заныкайтесь на своих шконках, – шипела она. – Тогда у вас, букашек, хотя бы шанс появится. А то ваши шансы давно тю-тю, но здесь в принципе можно выжить, прикинувшись жмуриком.

– Решено, так мы и поступим, – заявила я, поддергивая свои шакальи лацканы: я уже выяснила, что это обостряет инстинкты.

Но Бруна не разделяла моей уверенности.

– Слабоì вам жмуриков изобразить. К примеру, ты, Стася, прямо живчик. Нет уж, ступайте в бараки и затихаритесь. Ждите, я за вами приду. А если не спасетесь… – Бруна помолчала, – я прямо не знаю, что с вами сделаю. Вам же хуже будет.

– Например? – Феликс лез на рожон. – Тебе чем хуже, тем лучше. Мне подавай самое худшее. Другие девчонки как девчонки…

Она залепила ему звонкую пощечину. Феликс чуть в обморок не упал от счастья при одном ее прикосновении, но ее слова быстро его отрезвили.

– Убью тебя голыми руками, Феликс, медведь тупой. Может, не сию минуту. И даже не сегодня вечером. Будем надеяться, в этом вообще нужда отпадет. Но если на твою жизнь покусится кто-нибудь из нацистов, я его опережу, будь уверен. Кого люблю, тому не дам помереть от фашистских рук. Сама порешу.

Мы заметили, что в этом есть свой резон. А еще мы заметили, что за пояс юбки у Бруны заткнут пистолет. Как видно, Бруна и ее друзья-подпольщики не меньше месяца готовились к этому хаосу путем грабежа и планирования, даже не зная секретных планов нацистского командования относительно провианта и бесконечных совещаний, хотя и не могли предвидеть масштабов разрушения, обусловленных нашей свободой.

– Итак, – заключил с натужным оживлением Феликс, – мы уйдем. Обратно в бараки. Но только до поры до времени. А отсюда выдвинемся вместе, согласна?

Бруна воздела глаза к мерцающему небу, словно ждала, что языки пламени выскажутся за нее.

– Никогда меня не ждите, – распорядилась она.

Для Феликса эта фраза оказалась бессмысленной. Его не интересовало такое будущее, которое не предполагало воссоединения с Бруной.

– Ладно, сейчас ждать не будем. Но на тот случай, если вдруг… разминемся… надо бы назначить место встречи, – предложил он. – У друзей так заведено. А ты нам друг, Бруна, верно? Только друг вызовется тебя убить, чтобы не доставить этой радости другим.

Бруна из последних сил сохраняла каменное выражение лица. Она была тронута. Вероятно, слово «друг» никогда еще не звучало рядом с ее именем.

– Конечно, – ответила Бруна. – Только я, может статься, припозднюсь. Кто знает, что нас ждет? То ли будем месяцами нестись вперед, то ли годами хорониться.

Феликс стоял на своем.

– Мы со Стасей тебя дождемся, – сказал он. – Назначай место.

Я наблюдала, как до нее доходит вся глубина его решимости. У Бруны загорелся сперва один розовый глаз, потом второй. Мне всегда грезилось, что и слезинки у нее должны быть такими же розоватыми, но ничуть не бывало: они оказались кристальными и трепетными, каких я еще не видала. Под моим взглядом Бруна не устыдилась своих слез и даже приняла рукав моей кофты вместо носового платка.

– Всегда мечтала в настоящий музей сходить, – призналась она между прикосновениями моего рукава. – Хоть на денек стать культурной барышней, к искусству приобщиться.

– Решено: встретимся в музее, – выпалил Феликс. – Перед статуей. Билет с меня. А потом в приличное кафе зайдем, чаю выпьем.

– Вот и славно будет, – сказала Бруна и чмокнула Феликса. – Ты и сам страсть какой славный, Феликс.

До сих пор не понимаю, что побудило Бруну принять это приглашение, подарить Феликсу поцелуй. То ли она почувствовала, что все это вполне реально. То ли надумала потрафить Феликсу. То ли поняла – как понял бы любой имеющий глаза и уши, – что вести долгие разговоры, да еще привередничать под канонаду, неразумно, если хочешь выбраться из лагеря живым. Но скорее всего, она просто была к нему неравнодушна.

– Заметано, – пообещала она, а затем с улыбкой пожала мне руку. В этом рукопожатии ощущались остатки ее слез.

Что бы ни говорили про нашу любимую преступницу, мы знали, что слово свое она держит. Обещания составляли все ее богатство. Делать она ничего не умела, кроме как смотреть в будущее, притом что свое настоящее отдала разрушению. Она, эта Бруна, хотела как лучше. Ее доброта была низкой шуткой, двойной игрой; неузнанная и непризнанная, она врывалась к тебе в душу незваной гостьей, нарушала все запреты и обчищала до нитки, пока не создавала брешь, в которой могла расцвести настоящая доброта.

Только когда она отпустила мою руку, я содрогнулась от нелепости нашего уговора. Мало ли есть музеев. Шла ли у нас речь о Польше, о Европе или о земном шаре? Несусветная глупость.

Сообразив, как мы оплошали, я посмотрела на профиль Бруны и без труда разглядела ту особенную доброту, но не успела даже прояснить наши планы, как откуда ни возьмись появился Таубе. Накинувшись на Бруну сзади, он схватил ее за горло. И выполнил свое коронное движение, виденное нами не раз. У Бруны затрещали кости, щеки неестественно порозовели. Бледное лицо налилось кровью. Сломав Бруне шею, Таубе щелкнул пальцами в нашу сторону.

Мы уже стояли на коленях, потому что у нас на глазах Бруна медленно, как легкий шарфик, опустилась на землю. Волосы рукотворной черноты развевались на ветру гордым стягом. Таубе поймал несколько крашенных углем прядей и потер их между пальцами, чтобы обнажить белизну, которую Бруна отчаянно пыталась скрыть.

– Много о себе понимала, точно? – спросил Таубе, не обращаясь ни к кому в отдельности.

Боясь, как бы Феликс не стал отвечать, я хотела накрыть ему рот ладонью, но он рухнул на снег и попросту онемел. Мы с ним смотрели на Бруну. Ее шерстяная юбка задралась, обнажив белые ноги. Феликс потянулся вперед, чтобы поправить на ней юбку, но Таубе не позволил: ногой в ботинке он пригвоздил к земле безжизненное тело, утвердив свою окончательную победу. А после наклонился, достал у Бруны из-за пояса юбки пистолет, взвесил на ладони и направил дуло на нас с Феликсом.

– Эй, вы! Чего вылупились? А ну встать!

Феликс подставил мне плечо, но этого оказалось недостаточно. А кроме всего прочего, косточки оказались такими острыми, что грозили меня перерезать. И все же я за него придерживалась. Моя шаркающая походка привлекла внимание эсэсовца к нашим мехам.

– Ишь ты, какие шубейки. Откуда?

Рот Феликса раскрылся в беззвучном крике. Я отвернула его лицо от Бруны и сказала Таубе, что шубы подарил нам Доктор.

– Скажи на милость, – заржал Таубе, – ты всегда была такой вруньей? Или в Аушвице поднаторела?

Я сказала ему, что ответа не знаю, но вопрос, дескать, справедливый.

– Далась тебе эта справедливость. Ну не важно, – сказал он и внезапно хохотнул. – Эти вшивые шкуры оставьте себе. А то, не ровен час, околеете по дороге.

Пистолет Бруны смотрел нам в спину.

Вот так: мы потеряли шансы на побег, которыми наша любимица уговаривала нас воспользоваться. С неба падал снег; в небо уходили языки пламени. И то и другое Таубе оставил позади. Он гнал нас, как скотину, всех до последнего – и детей, и женщин, и раненых. Прежней четкости как не бывало: ей на смену пришли беспорядочный топот и волок, люди цеплялись друг за друга, люди спотыкались, люди хватались за других людей, старались поднять упавших.

Нам не оставалось ничего другого, кроме как примкнуть к этому рою, к постоянно растущему конгломерату, испещренному лицами, платками, бинтами. Мы в нем потерялись, и потеря оказалась настолько глубокой, что образ умирающей Бруны, выжженный у меня на внутренней поверхности век, начал меркнуть. Потом он возвращался не один раз, много лет я, просыпаясь по утрам, видела эту скорбную картину, но сейчас мне приходилось шагать вперед.

А Феликс, по-моему, так и шагал вперед с этим видением Бруны. Поддерживая меня, он весь дрожал, а разговаривал как во сне.

– Сколько нас тут? – спросила я.

– Не все, – только и ответил он.

В исторической литературе впоследствии появятся сведения, что в Освенциме осталось семь тысяч шестьсот человек – дистрофиков и лежачих. Нас в этом марше смерти шло двадцать тысяч. Колеблющихся расстреливали, захромавших тоже. Наши ряды стремительно редели. Солдаты для развлечения исхитрялись подстрелить какое-нибудь тело, чтобы оно рухнуло на другое тело, а другое – на третье и так далее и так далее, под жалобный треск костей, под свист пуль, щелчок за щелчком… наши попутчики падали, эсэсовцы ступали по их телам и пристреливали тех, кто осмеливался шевельнуться.

В этом марше смерти я могла оказаться среди истерзанных захромавших, среди расстрелянных колеблющихся, но попала в другую категорию.

Среди этих двадцати тысяч оказалось довольно много людей, которые совершали невозможное: они тащили на себе припасы и при этом четко держали строй. Таким был и Феликс. Он шагал так свободно, что даже умудрялся насвистывать. Насвистывал он ради меня, зная, что мне нравится смотреть на миниатюрные облачка пара, вылетавшие у него изо рта. Эти облачка я видела вполне отчетливо, потому что не шла строевым шагом. Я даже не спотыкалась и не хромала. За воротами я каким-то чудом сделала ровно три шага, после чего упала в сугроб. Феликс отреагировал на мое падение, развернув извлеченное из котомки шерстяное одеяло, которое красным языком забилось на снегу. По знаку Феликса я перекатилась на это одеяло и легла, как в сани. Очень скоро мы оказались в хвосте марша.

В языке человека есть много образных выражений, связанных с разного рода силами. Один может сказать, что у него упадок сил, другой – что собрался с силами. Феликс говорил о запасе сил. Впрочем, я услышала это от него только потому, что он спасал мне жизнь. А смогла бы я это услышать, спасай он кого-нибудь другого? Хочу верить, что да. Но если некто тебя ополовинил и расщепил, и рвал на куски, и натравливал на саму себя, а потом объяснял, что это для твоего же блага, тебе становится все труднее верить в чужие благодеяния, если, конечно, эти благодеяния не направлены на тебя лично.

Силы Феликса проявились особенно отчетливо, когда он замедлил ход. Каждый четвертый его шаг будто ставил ему подножку, каждый шестой отдавался болью. Облачка-свистки ужались. Тьма давила на нас невыносимой тяжестью.

И все же он тащил меня вперед.

Со своего одеяла я видела много смертей. Одна женщина нагнулась, чтобы утолить жажду снегом, и умерла. Один мужчина остановился задать вопрос – и умер. Умерли они быстро: в головах у них застряли пули.

Конечную точку нашего марша мы обсуждали только шепотом. Куда нас гонят – на скалистый берег, чтобы сбросить в море? Освенцим при всех своих новшествах не оправдал ожиданий фашистов; ясно, что они собирались нас прикончить самым примитивным способом. Я даже не знала, как объясню свое бессмертие, когда конвоир выстрелит мне в голову.

Феликс ловил ртом воздух, его душил кашель. Я потребовала, чтобы он меня бросил. Он уже не шел, а плелся. Но одеяло так и не отпустил. Я была не единственной его поклажей. На спине он нес котомку с нашими пожитками. Сделанный из шарфа узелок с организованной в лагере мукой он выбросил на ходу. Мука высыпалась прямо на меня и припушила белым. Следом он выбросил хлебные сухари, которые собирал не одну неделю. Их унесло ветром. Хотел разбросать по льду картофелины, но от слабости рука не слушалась, картофелины падали ему под ноги, и Феликс оступился.

Я подумала, что это конец: с глухим стуком он враскорячку свалился и ударился головой, руки-ноги разметались по моему одеялу, а приоткрытые губы поцеловали лед. Колонна узников перешагивала через нас. Мое лицо обмахивали юбки и пальто. Люди старались не задевать нас башмаками, особую осторожность проявляли захромавшие, но все без исключения прибавляли шагу, заслышав предупредительные выстрелы. Мы замерли без движения.

Я зашептала Феликсу: так нельзя, не смей умирать. А если уж этого не избежать, то постарайся хотя бы, чтобы я этого не видела, а если придется умереть у меня на глазах, то хотя бы дождись, чтобы у меня отказали все чувства. Он закашлялся, и снег у его рта окрасился алым. Наверно, в тот миг мне нужно было его поцеловать – от Бруны. Но не успела я собраться с духом, как ему на шею опустилась чья-то нога. Ботинок просил каши и будто расплывался в ухмылке, сквозь которую виднелся носок. Я остановила сердце. Хочу верить, остановила я и сердце Феликса. Но веки подрагивали.

Над нами вздыхал Таубе. Он убрал ботинок с шеи Феликса. Потом нагнулся за картофелиной, надкусил, глубоко вонзившись в нее зубами, – и с отвращением ругнулся.

– Гнилье! – объявил он и выпустил картофельный плевок на мою обритую голову.

Как видно, картошка оказалась не таким уж гнильем, потому что он откусил еще. И опять выплюнул. Угодил Феликсу в лоб. Таубе вновь повторил те же самые действия, потом еще. Теплые сгустки падали нам на щеки, на спину и рядом, на снег. Казалось, этой картофелины хватит до скончания века.

Потом чей-то голос окликнул Таубе с другого конца поля. Его зверства потребовались в другом месте. Нагнувшись, он обнюхал наши лица, определил вне всякого сомнения, что мы живы, а после с прощальным плевком отвернулся.

Нужно уточнить: Таубе пощадил нас вовсе не по велению совести. Не назло своему начальству. Он пощадил нас по той же причине, по которой делал все остальное: потому, что так было проще.

После его ухода до меня дошло, что канонада не столь уж масштабна. По обеим сторонам колонны шумно тараторили многочисленные автоматы. Но пока я изображала покойницу, завеса тайны приподнялась и обнажила скудость этого «та-та-та, та-та-та». Автоматов насчитывалось всего два, от силы три, а с боеприпасами было и вовсе худо. Мы с Феликсом по-прежнему прикидывались трупами, а канонада удалялась.

– Теперь-то можно оживать? – прошептал он.

Я обругала его за то, что он поднял голову. А вдруг бы кто-нибудь оглянулся и его уличил?

– Да кто сейчас будет оглядываться? – Он горько усмехнулся. – Даже целый мир не подумает оглянуться. А если какие-нибудь болваны и оглянутся, то наверняка скажут, что ничего не заметили.

Я слушала вполуха. Воспринимала то, что хотела услышать, а остальное тут же выбрасывала из головы. Например, я хотела услышать, что никто не станет оглядываться. Перед глазами стояла только бархатная чернота моих век. Если я зажмуривалась излишне резко, изо всех сил, то на этом бархате загорались искорки, как огни рампы вдоль сцены. Мне хотелось вывести на эту сцену мою сестру и посмотреть ее новый танцевальный номер. Какой-нибудь неслыханный прыжок, какой-нибудь пируэт, который перевернет все мыслимые представления. Но как я ни старалась вызвать это видение, передо мной оставалась все та же чернота, испещренная огоньками.

– Стася? Что притихла? Ты, часом, не умерла?

– Вроде бы нет. – У меня никогда не повернулся бы язык признаться, чтó я получила от Менгеле.

– А вот я, похоже, отдал концы. Вдруг мы с тобой жмурики? Мой отец-раввин не верил в Царствие Небесное. Но он не верил и в пришествие людей, которые готовы нас уничтожать. Может, мы с тобой уже на небесах?

Я ответила, что вряд ли. Разве эта мерзкая, жуткая чернота – Царствие Небесное? Эта промерзшая, грохочущая тундра – Царствие Небесное?

– Кто его знает, – не сдавался он. – Может, это какие-то особенные небеса – для таких, как мы.

– На райский ад не похоже. А на адский рай тем более.

– Откуда такая уверенность?

Убедить его, рассудила я, можно двумя способами. Во-первых, указать, что здесь его не встречает брат. Существует ли Царствие Небесное – кто его знает, но если да, то оно непременно воссоединит две половинки просто потому, что все подобные системы тяготеют к симметрии. А братских шагов мы не слышали. Но это жалкое лицо, эти окоченевшие руки не позволили мне приплести сюда его покойного брата. Феликс был настолько слаб и хрупок, да к тому же протащил меня через необъятную ледяную тундру, коварный белый туман и неизвестность, но теперь мы оказались в таком месте, которое все еще стремилось превратить нас в ничто. Мы оставались парой белых пуговиц, отлетевших от докторского халата. Парой пылинок под микроскопом. Парой образцов костной и мышечной ткани. Но при всей нашей малости Феликс все же был сильнее меня; не могла же я выбивать почву у него из-под ног упоминанием погибшего брата.

А во-вторых – и я воспользовалась этим вторым способом, – можно было ему внушить, что мы не умерли. Расправив на снегу тяжелое, промерзшее одеяло, я скомандовала:

– Тащи меня дальше. И сразу поймешь: мой вес – это вес человека, а не кого-нибудь бестелесного.

В ответ Феликс утер глаза и потянулся к моей руке. Он искал в небе солнце, и, клянусь, я слышала, как склонилось у него в груди сердце в знак признания великого подвига, который ему предстояло совершить.

Мы могли бы остаться лежать там навеки. Но благодаря Феликсу этого не произошло. Как выжить в этой белой пустыне, мы не представляли. И даже не знали, как разделить предстоящие путевые обязанности. Кто-то должен был отвечать за кров, кто-то – за пропитание, карты местности, обувь, надежду. И что вообще требуется для выживания – этот вопрос вырастал в большую проблему, которая придавливала к земле нас обоих.

Перль, думала я, нельзя было поручать тебе прошлое. Такое будущее мне не по плечу.

Часть вторая

Перль

Глава десятая. Хранительница времени и памяти

У меня по-прежнему сохранялось какое-никакое лицо. Я забыла свое имя, зато другие имена и названия помнила. Знала название Аушвиц: его выкрикивали где-то за пределами коробок, в которых я жила. Насколько я могла судить, коробок было три. Большая коробка – некое строение, средняя – комната, а третья – моя проволочная клетка на замке. Швырнул меня в клетку человек в белом халате, предварительно осмотрев на своем столе. Мое тело глухо ударилось об пол; одеяло отобрали, я осталась нагишом, и проволока впивалась прямо мне в туловище. Тот человек приходил и уходил. Сквозь кромешную тьму направлял на меня луч фонарика и делал записи: как я щурюсь, как реагирую. Он еще много чего со мной творил, но я сразу решила напрочь все вычеркнуть из памяти. В ту пору я еще знала его имя. Но и его предпочла забыть.

Из того времени мало что хочется вспоминать. Поведать я хочу о другом – о моем, потаенном.

Возможно, остального мира это не коснулось, но там, в клетке, такова была моя реальность: произошло одно явление, длиной буквально в один миг, отличное от всего, что ему предшествовало. Когда Освенцим рухнул, все жизни, которые он забрал, на долю секунды вернулись, чтобы наши мертвые увидели его падение.

И в тот миг наши мертвые были не какими-то там призраками. Они вовсе не походили на духов, не имели ничего общего с привидениями. Пришли обыкновенные люди, которых замучили до смерти, но сейчас призвали засвидетельствовать справедливость. Я слышала их шепот, их ликование. Им даровали – пусть на считаные мгновения – жизнь после смерти, право лицезреть уничтожение того, что когда-то уничтожило их самих.

Когда с Освенцимом покончили, среди миллионов стенаний и стонов мне удалось различить два знакомых голоса.

Я услышала старика, пытавшегося произнести тост, но неспособного подобрать слова: стоило ему начать, как у него надламывался голос. Услышала я и женщину, которая, утешая его, сказала, что девочки не погибнут, – в этот миг я узнала в ней маму. Моя мать и мой дед – они хранили меня, когда в лагере полыхали пожары, охранники разбегались, а заключенные не понимали, что делать с обретенной свободой.

Я услышала, как мама предлагает сыграть в игру, которая сейчас поможет мне выжить. Что такое игры, я знала еще из того отрезка времени, когда обреталась – долго ли, коротко ли – за пределами клетки. Женщине в облике моей матери я сказала, что даже не представляю, какая игра меня примет: хотя я могла немного шевелиться, понятно было, что меня искалечили; хотя я могла мыслить, понятно было, что сознание мое изломано. Но мама уговаривала попытаться.

И дедушка тоже.

Изобрази муравья, подсказал зайде. Муравьи поднимают вес, в пятьдесят раз превышающий их собственный. Такая сила тебе пригодится.

Изобрази обезьянку, подсказала мама. Достоинства в ней маловато, я понимаю, зато этот недостаток компенсируется сообразительностью. Ты должна быть умной.

Тут на подоконник прямо напротив меня, буквально в паре метров, приземлился голубь и начал молиться. Он был окольцован; серебристый ободок на лапке указывал, что голубь либо подопытный, либо почтовый, либо декоративный. Я могла отождествить себя с любым.

– Изображу голубя, – решила я.

– У голубей превосходная память, – одобрительно прошептал дедушка. – Они находят дорогу, спасают, дают надежду. – И добавил: – И это замечательно. Все будет хорошо.

– Прекрасный выбор, – согласилась мама и эхом повторила: – Все будет хорошо.

Но мне даже не удалось поднять руку, чтобы показать взмах крыла. От малейшего движения пальца меня насквозь пронзала нестерпимая боль. Я спросила: как же эта игра поможет мне выжить, если она меня не принимает? Но голоса растворились. Свидетели падения, они, как мне думалось, и сами канули в небытие – туда, где вечный покой.

Именно так я осознала, что еще жива: до покоя мне было бесконечно далеко.

Тем не менее, когда голоса давно уже отзвучали, я продолжила игру. Изобрази мышь, приказывала я себе. Изобрази лису, оленя, слона. Я нараспев проговаривала Систематику Живой Природы, заканчивая этот перечень, как молитву. Звучало это так: вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство, и все будет хорошо.

Стася

Глава одиннадцатая. Медведь и Шакал

Когда я подняла голову от одеяла, впереди и позади простирались все части света; по обеим сторонам дороги крыльями голубки раскинулись заснеженные равнины. Марш обреченных еле-еле продолжал свой путь; вдалеке конвоиры по-прежнему истязали наших собратьев-узников, и у нас в головах застряли звуки отчаяния. Бескрайняя пустошь выбрала нас, но мы об этом не просили. Медленно, очень медленно влачились мы по этой вечной земле, ожидая конца, как никогда прежде; мы льнули к зиме, вспоминая, что у нас под ногами таится пульс и шепот весеннего цветения. Я знала, что обязана уберечь Феликса, провести его сквозь будущую весну. Без него я даже не ориентировалась в пространстве.

Привязки к местности для меня не существовало. Феликс мог сколько угодно мне втолковывать, что мы находимся в лесах близ деревни Старе Ставы, совсем недалеко от Освенцима. Но для меня это был пустой звук. А вот Систематика Живой Природы пустым звуком не была.

Мы брели вдоль реки совсем как звери. Отделившись от марша обреченных, мы родились заново. Наши инстинкты перестроились и теперь без труда приспособились к звериным тропам. Феликс стал медведем – это фуражир и заступник, грозный, загадочный, не поддающийся дрессировке. Я стала шакалом: это скорбный зверек, смышленый, вороватый, привычный к разрушению и запустению. Мы изголодались и брели наобум. Какой-то час отделял нас от марша смерти. То есть мне представлялось, что мы спаслись всего час назад. А вообще я уже сомневалась в существовании времени.

Понятно, что тащить меня было тяжко, у Феликса руки покрылись кровавыми мозолями, но он как ни в чем не бывало сыпал рассказами о своем любимом городе.

Я даже не спросила, что это за город. Мысли мои были совсем о другом. Единственное, что я поняла: город пал, фабрики заброшены, книги сожжены, синагоги приспособлены под оружейное производство, а захлебнувшееся от невзгод население просто исчезло. Но Феликс, черепашьим шагом продвигаясь вперед, твердил, что там по-прежнему светит солнце, обещал показать мне памятные места. Рассказывал, что там в чести доброта и ценится прекрасное. Я понимала: таким способом он хочет меня убедить, что мы должны начать там новую жизнь, как брат с сестрой, вместе со своими близнецами: призраком-сестрой и призраком-братом, а еще внушить, что я теперь буду совсем другой девчонкой, которая перестанет думать, что язык у нее сделан из пепла. Эта девчонка появится не вот-вот, а в будущем, и при мысли о ней у меня потеплело на душе.

– И настанет день, – заключил Феликс, потрясая лиловым от холода кулаком, – когда мы уйдем из этого чудо-города на поиски нацистов и заставим их платить по счетам. Но после каждой удачной поимки мы будем возвращаться в город, достойный таких героев, как мы.

– Твои планы насчет этого города меня не убеждают, – заметила я.

Мы оказались в лесной чаще; в ушах журчала промерзшая река.

– А кто сказал, что я стараюсь тебя убедить? – бросил он.

Выпустив угол одеяла, Феликс с преувеличенным отвращением вытер ладони. Из котомки, собранной для нас Бруной, он достал картофелину и две бутылки воды, которые опустил на землю рядом со мной. Я смотрела ему в спину: он удалялся, медвежья шуба мелькала среди деревьев и превращалась в размытое пятно, а потом и в пылинку. Мой палец указывал в ту сторону. После выхода из теплушки я не слышала слов прощания. Сейчас впервые появилась возможность проститься по-человечески, но даже в этом мне было отказано. Я не кричала ему вслед, даже не хныкала. А лишь смотрела на глупое солнце, стоявшее в вышине.

Оно смахивало на ребенка, виновато засунувшего руки в карманы. Если у солнца есть совесть, то, наверное, грех ею не воспользоваться. Казалось бы, смотри на него подольше – и зрение обретет прежнюю остроту.

Ибо пелена, затянувшая мой глаз, который изуродовал Менгеле, с каждым днем становилась все плотнее: вокруг очертаний всех предметов теперь плясала черная тень. Вокруг моих башмаков. Вокруг кружки, шапки. Вокруг наших котомок. Я так и не поняла, чего она добивается, эта тень. Почему цепляется за все самое насущное? Не пора ли бросить такие шутки?

– Нет, Стася… не могу я тебя бросить.

Он вернулся и услышал, как я по привычке говорю сама с собой.

Когда Феликс протянул мне руку, оказалось, что вездесущая чернота прицепилась и к ней.

– Ушел – и только время потерял, – продолжал он. – Да еще столько же назад плелся. По справедливости, сейчас твоя очередь меня на одеяле тащить, да что с тебя возьмешь? Что предлагаешь теперь делать?

Я пообещала, что буду его смешить.

– Не сомневаюсь, – процедил он. – Но, хочу верить, к месту?

Он помог мне подняться. У него едва хватило сил на такое простейшее действие: он согнулся в три погибели, как-то весь перекрутился, взял меня за руку мокрыми ладонями и чуть заметно содрогнулся, а когда сумел улыбнуться, с бровей посыпался иней.

– Ради Перль, – сказал Феликс и нетерпеливым жестом приказал мне шевелить ногами.

Я представляла, как танцует моя сестра. Как отбивает подошвами ритм, как прихлопывает в такт. Все движения выполнялись попарно, с повтором.

Сейчас пойду, говорила я себе. Один шажок, за ним второй. Один – вместе с солнцем, второй – через сугроб. Нужно идти в память о Перль, чей каждый шаг был проникнут музыкой и мог остаться в веках, если бы только Менгеле выполнил свое обещание сделать бессмертными нас обеих. От этой мысли у меня вновь отказали ноги. Но стоять было смерти подобно. Пришлось начинать заново.

Вот так я иду рядом с тем, кого люблю и еще не потеряла, думала я; рядом с тем, кто должен был бы меня бросить, но вместе мы продвигались вперед, пока не нашли укрытие: в лесных зарослях показалась стенка из валежника, и лапы шакала вместе с лапами медведя выкопали под ней неглубокий ров. Укрывшись ветвями с прошлогодними листьями, мы решили, что будем спать по очереди, а то, не ровен час, кто-нибудь наткнется на наше убогое гнездо и бросит спичку.

Феликс, в своей медвежьей шубе, свернулся рядом со мной калачиком, как положено брату. Даже во сне он давал какие-то клятвы. Вопреки моим ожиданиям это были не клятвы мести. Он клялся самому себе, что никогда больше меня не покинет, никуда не уйдет, ни за что не позволит, чтобы между нами вклинилась разлука. Когда он разволновался и стиснул голые десны, я решила его растолкать.

– Теперь твоя очередь, – выговорил он, протер глаза и всмотрелся в темноту, опасаясь незваных гостей.

Я попыталась уснуть. Молила свой ум, чтобы он во сне прислал ко мне Перль. Пусть даже не самый радужный сон, в котором действие происходит в мире, не знавшем войны, пусть даже не второй среди лучших, в котором на месте Освенцима хлюпает исконное болото, а хотя бы третий из лучших, в котором Менгеле дает нам бессмертие одновременно, в унисон: делает каждой укол, мы поворачиваемся лицом друг к дружке и понимаем: жить вечно – это тяжкий груз, но по крайней мере мы будем нести его вместе, как привыкли.

Она возьмет на себя самое лучшее, самое яркое, самое забавное.

А я возьму на себя вину, стыд, тяжесть. И если ей суждено обездвижеть, я стану двигаться за нее. Потому что теперь, вновь начав ходить, я не остановлюсь. Мне уже грезилась победа, но лодыжки сковало кандалами боли, причем не от холода. Странное было ощущение, даже не лишенное приятности, потому как напоминало, что чувствительность не утрачена, и обещало, что скоро я научусь шагать быстрее, а там, глядишь, и прыгать.

Наш папа, опытный врач, рассказывал, что люди, потерявшие руку, ногу или палец, еще долго испытывают в них боль и щекотку, причем столь явственно, будто никогда не знали увечья.

Но никогда меня от этого не предостерегал.

Наутро мы услышали, как вскрывается река Висла. Льдины терлись одна о другую, словно карты в колоде. Погода выдалась ясная, деревья голыми ветвями тянулись к облакам. Небо синело, как заколка в волосах у Перль. Мы разбросали накрывавший нас сугроб и поразились, что еще живы.

Покрытая трещинами необъятная река смотрела, как мы подползаем к ней на коленях. Лед манил нас молочной белизной – его поверхность казалась самой свежей, самой невинной на всем свете. Сквозь полумрак мы разглядели зайца, провалившегося в ямку.

– Все равно не жилец, – сказал Феликс, заметив, что у зайца сломана нога.

Я отвела глаза от взмаха хлебного ножа, но заставила себя смотреть, когда Феликс подвесил тушку на сук дерева, освежевал, первым делом выковырнул глаза и тут же их проглотил, а потом срезал с косточек мясо.

– Ешь!

– А почему нельзя костерок разжечь, а? На одну минуту.

– Как будто сама не знаешь. Тут бродят лихие люди, которые нас самих освежуют за милую душу. Им даже эсэсовцами быть не надо – только дай еврея изловить.

Феликса было не узнать: он заговорил по-отечески назидательно. Я вызывала у него раздражение: в голосе то и дело прорезались жесткие нотки. Надумай я отказаться от мяса, он бы своими руками засунул его мне в глотку. Лучше уж было не спорить.

Без зубов он не сумел разжевать нашу кровавую добычу. Пришлось мне сделать это за него: я выплевывала пережеванное мясо в ладонь и протягивала ему. В его взгляде читалась смущенная благодарность, но мясную кашицу он глотал как лекарство. Заставил и меня подкрепиться. Спорить уже не было возможности; я повиновалась.

– Тебе силы нужны, – покивал Феликс. – Мы же поклялись отомстить, а от мешка костей разве будет прок?

Пришлось и тут согласиться. Отмщение стояло для меня на первом месте, но я уже стала сомневаться, что подопытные кролики вроде нас на что-то способны. Я ведь уже пыталась. Но Менгеле, скользкий змей, держал ухо востро. В нем я видела мальчишку, чересчур избалованного жизнью. А жизнь не всех балует, правда? Неужели нам, изможденным, никчемным, светило его прикончить? Мы даже понятия не имели, где его искать.

Мой спутник в задумчивости вонзал хлебный нож в ствол дерева. Засечки он делал попарно: раз-два, раз-два. А потом, собравшись с духом, повернулся и испытующе посмотрел на меня.

– Должен тебе кое-что сказать, – осторожно начал он. – Город, который не сходит у меня с языка, – на самом деле не мой город. Я все наврал, хотя из лучших побуждений, чтобы тебя убедить. На самом деле это Варшава, куда я с самого начала и собирался тебя отвести.

Уж не знаю, какие нужно было придумать доводы, чтобы заманить меня в такую разруху. Даже в лагерной изоляции я слышала, что этот город войдет в историю как полностью стертый с лица земли.

– Варшава – одни сплошные развалины, – сказала я.

Присев на корточки, Феликс взялся рубить снег. Раз-два, раз-два. Движения были решительны, как доказательства в споре.

– Но тот, которого мы должны убить, живет-поживает именно в этом городе, – сказал он. – Я подслушал: в последние дни он говорил открытым текстом. Сидел я как-то на скамье в больничке, а он обсуждал по телефону свои планы. Так вот, он собирался бежать в Варшаву. И назначил там несколько встреч. Если не ошибаюсь, говорил он с фон Фершуером. У них вся лагерная документация, сведения о нас, ценные пробы. Результаты исследований. Информация, одним словом. А может, и кости – все эти военные материалы, предметные стекла, которые ты упоминала не раз и не два.

Я не могла понять: с какой стати этот разговор возник только сейчас? Почему было с самого начала не сказать все как есть? Присев рядом с ним, я тоже принялась вонзать ножик в снег. Вам когда-нибудь случалось рубить снег, чтобы дойти до сути вопроса? Если нет, то и не советую.

– Допустим, тебе можно верить, – решилась я. – Что еще ты подслушал?

– Ну, не знаю, – беззаботно протянул он, как будто, сидя в гостиной, решал, сколько ложечек сахара положить в чай. – Что-то насчет Варшавского зоопарка.

– Это было бы вполне в его духе, – бросила я.

Мне представились живые клетки зоопарка, которые сливались, делились и образовывали причудливые варианты, до которых Менгеле был сам не свой.

– Ты тоже согласна, да? – В его словах звучало непонятное удовлетворение, как будто он сам наделял события смыслом.

Если честно, вся эта безумная история казалась мне одной сплошной нелепостью, но я не хотела обижать Феликса сомнениями. Раз в жизни можно и поверить, оно даже к лучшему. От этого у меня появилось ощущение реальности. Когда веришь, мало-помалу превращаешься из подопытного кролика в обыкновенную девчонку.

Итак, на берегу Вислы, под сенью заснеженных деревьев, созрело решение отправить Менгеле на тот свет именно в Варшаве. А после взять у него все мыслимые пробы и образцы, шаг за шагом, пока не останется один ус – доказательство его злодейства.

Он хотел превратить нас в уродов. Но в конце концов изуродовал себя самого. Будущих младенцев, говаривал он, необходимо защищать – и поплатился за свои зверства. Во имя Перль ему предстояло стать нашей первой жертвой. Мне представились его глаза: как от ужаса они изменят цвет, когда он заметит мое приближение; я вообразила, как он будет сдаваться, вскидывая рукава ненавистного белого халата. Как будет кричать, умолять. Пусть умоляет: это долгожданная сцена, а когда его унижения нам наскучат, мы его прикончим, но по доброте своей тянуть не станем. Наградой нам станет лицо Менгеле: на нем отразится потрясение, оттого что мы живы и вершим правосудие.

Я знала, что животные, которых содержат в Варшавском зоопарке, возрадуются при виде победы Медведя и Шакала, возвысят свои голоса, крики, гогот и вой так, чтобы даже Перль услышала их из иного мира и поняла, что за нее отомстили.

Перль

Глава двенадцатая. Мое второе рождение

Кое-что я все же знала: есть другие двери, они запираются; есть другие крики; кто-то скребется под полом; в клетке напротив сидит кто-то еще, круглые сутки декламирующий стихи знакомым мелодичным голосом. Не могу точно сказать, когда прекратилась его декламация, знаю только, что она прекратилась, и я уже стала сомневаться, слышала ли вообще этот голос. Не исключено, что за мелодичный голос ценителя поэзии я приняла перестук капель, падающих с потолка. Музыкальное «кап-кап». Точно знаю лишь одно: я пыталась вступить в переговоры с протечкой, молила о помощи, но она ничем мне не помогла, а просто умолкла.

Рядом пищали крысы, а я, лежа в клетке, вспоминала: вид, род, семейство, отряд. В потемках видела усы, носы, лапки. Конечно, их части тела отличались от моих, человеческих, но я начала в подражание этим соседям принюхиваться и вообще больше полагаться на обоняние. Отмечала, как пахнут отбросы, ржавчина, моя кровь, присохшая к лодыжкам, швы на животе, затхлая лужа. Рассказывала о своих наблюдениях крысам, но те воротили носы. Я принюхивалась повнимательней, втягивала все запахи, но из новых различала только один – запах смерти.

Запах смерти не страшен. Если притерпеться, он даже внушает некое странное уважение, пытается заговаривать с твоими ноздрями и ценит то обстоятельство, что со временем его перестают замечать. При всей его ненавязчивости этот запах я возненавидела. Чтобы его не чувствовать, училась вынюхивать другие запахи. Это занятие было мне доступно и помогало скоротать время. Крысы не желали делиться со мной своими навыками. Голубя, прилетавшего на подоконник, давно и след простыл.

Мне казалось, что такая учеба полезна: если сохранить обоняние, думала я, то мир, возможно, пожелает вернуть меня себе после моего освобождения из клетки. Потом я начала связывать запахи с голосами, которые меня посещали. От мамы пахло фиалками. От зайде – фаршированной рыбой. От папы… его запах припомнить не удалось, но это меня не огорчало, потому что я нашла новые дорожки памяти. Точнее, их нашла моя боль. Когда до меня дошло, что мои ноги истерзаны и отечны, что лодыжки переломаны, а ступни похожи на огромные лиловые башмаки, я подумала, что отец это исправит – придет и вылечит, только позови.

Я вспомнила: отец у меня врач. Что-что, а это я вспомнила.

И это открытие своей масштабностью заслонило другое открытие, совсем иного рода: даже если вырваться из этой клетки, ходить я не буду никогда.

За дверью (как я впоследствии узнала, случилось это двадцать седьмого января сорок пятого года) послышались шаги. А потом слова, близкие к тем, что звучали у меня в голове на моем родном языке, но все же другие. Мои слова были на польском. А эти, сходные по звучанию и по смыслу… Да ведь там говорят по-русски, сообразила я. Русские слова, а вместе с ними и тяжелые шаги приближались. Ко мне направлялась пара красных точек, которые вскоре приняли форму звездочек, и я увидела, что они закреплены на солдатских пилотках.

Кто-то обшарил лучом фонарика все углы и потолок.

Сапоги и звезды двигались сквозь полумрак. Огни множились. Что-то падало на цементный пол, с лязгом сыпались металлические лотки с инструментами, а солдаты стучали по клеткам и, как в музее, спорили, кто увидел самое любопытное и небывалое чудо природы. Слыша, как они перечисляют эти кошмары, я на миг возблагодарила судьбу за то, что в потемках ничего такого не видела. Мне захотелось поделиться с ними свой историей, – в конце-то концов, они, похоже, намеревались выяснить, что тут происходило, но, открыв рот, я обнаружила, что могу только хрипеть.

– Слыхал? – спросил грубоватый солдатский голос.

– Крысы, – ответил другой.

Фонарики обшарили противоположную стену, перешли к следующей, а потом остановились на моей клетке.

– Ох, батюшки! – вырвалось у кого-то в отдалении, причем с запинкой, с испугом.

Другие подтвердили, что в клетке лежит дитя малое – да еще в таком виде; это ж надо было так ребенка покалечить.

Заслышав это, я расплакалась. Хотела заговорить с тем ребенком, который привлек их внимание. Хотела сказать этому ребенку: жаль, я раньше не знала, что ты здесь. Надеюсь, ты не подумал, что я заношусь. Могли бы вместе поболтать с каплями, падавшими с потолка!

Само собой, из горла у меня вырывались только скрежет и хрипы. Голос мой звучал не громче дыма.

Луч фонарика задрожал.

– Мертвяк, что ли? – спросил тот, что держал фонарь.

– Да уж конечно, – ответили ему.

– Говорю же вам, я что-то слыхал. Бормотанье, что ли.

– Тут чего только не померещится. У меня аж в ушах звенит. – И он предложил вызвать кого-нибудь забрать мой трупик, а самим двигаться в следующий блок.

Я уже подумала, что обо мне больше не вспомнят, но тут до них долетел мой всхлип. Грубоватый солдат нащупал замок, подергал, а потом нашел поблизости топор. Я понимала, что меня хотят спасти, но при виде лезвия вся сжалась в комок. Другой солдат все время меня утешал, приговаривая: «Ну, ну» – вроде как «Ничего, ничего» (так говорил зайде, когда меня убаюкивал), и я готова была согласиться: изверг не оставил от меня ничего, разве что самую малость. Меня даже не тянуло покидать это сумрачное убежище, потому что я, дрожа и прикусывая язык, глядела на протечку в потолке и думала, что больше не пригодна к жизни.

Но спорить с грубоватым солдатом никто не решался: он твердо решил сбить замок и вытащить меня из клетки, поэтому я не противилась, когда он нагнулся, взял меня на руки и поднял из бедны. Я оказалась на свободе.

Не похоже ли это на рождение?

Здесь было над чем подумать.

Я ловила ртом воздух и жмурилась от света. Голая, как новорожденный младенец, руки бессильно свисают по бокам. Инфантильная во всем. Но разве у младенцев бывают лица, исполосованные шрамами? Разве младенцам вырезают сокровенные внутренние органы, о чем напоминают лишь небрежные стежки на животе? Новорожденные не могут ходить, потому как только что явились в этот мир. Я не могла ходить совсем по другой причине.

Грубоватый солдат прижимал меня к груди.

– Отродясь такого не видал, – проговорил он.

– Нечего тут сопли распускать! – цыкнул в мою сторону его товарищ.

Я открыла рот, чтобы заспорить. Пусть я намучилась в этой клетке, пусть усохла и обезножела, пусть знала, что меня сделали неполноценной, отняли нечто важное, равное отдельному человеку – или, во всяком случае, отдельной девочке. Но я никогда не распускала сопли. И только когда мне на щеку упала капля, я поняла, что одернули не меня, а грубоватого человека, который, дрожа, прижимал меня к груди, и с трудом высунула язык, чтобы слизнуть это доказательство его потрясения и радости.

– Ты глянь, – выдавил он. – Слезы мои глотает!

Стася

Глава тринадцатая. Соломенный храм

На третий день наших скитаний, когда лес остался позади, мы вышли к деревне Юлианка – двое сгорбленных, промерзших зверьков, чье единственное богатство составляла пара картофелин. В небе открылась безбрежная синева, и облака, прикинувшись бесформенными и бессмысленными, не видавшими ни страха, ни голода и холода, ни Ангела Смерти, гордо поплыли у нас над головами. Меня так и тянуло сказать облакам, чтобы они не больно-то заносились: я и сама больше не страшилась. А знают ли они, какой у Феликса план? Я выкрикнула это в голос, чтобы все небо услышало.

Мне ответил далекий взрыв. Слабый, но раскатистый, с рваными краями.

Феликс в панике стрельнул глазами в мою сторону, зажал мне ладонью рот и сложил меня вдвое, как пустую коробку. Держа меня у мерзлой земли, он озирался, чтобы проверить, не слышал ли кто-нибудь моего дурацкого выкрика. По счастью, вблизи не оказалось ни души.

«С ума сошла», – только и сказал он. Но в этих словах звучало понимание: он и сам, я уверена, сходил с ума, потому что мы были выжаты до предела, во время редких привалов умирали от голода и рисковали отморозить пальцы ног, которые выглядывали из дырявых башмаков. Возможно, мы тронулись рассудком от этих лишений, но взрывы были настоящими: за многие мили от нас еврейские повстанцы взрывали железнодорожные пути. Но в ту пору мы еще не знали, что это дружественный огонь.

Поэтому, завидев из своей опустошенности какой-то золотистый конус в самом дальнем конце пути, мы бросились на это сияние, подгоняемые сменой ландшафта.

Как медный колокол, припорошенный снегом, из земли решительно поднимался соломенный храм. Вблизи мы увидели, что золотистый конус привлек не нас одних. Из его нижней части вытащили несколько охапок, чтобы получилось убежище: клочья сена были разбросаны по льду, а через тонкую стенку за ними следили настороженные блестящие глаза – целое созвездие, как созвездие. Мне они показались приветливыми, но я уже прежде ошибалась насчет приветливости взгляда.

Что это было? Ловушка? Обманка?

Темнота содрогнулась от следующего раската.

Даже не посоветовавшись со мной, Феликс раздвинул хлипкую стенку и заполз внутрь. Он и меня потащил в эту глубокую, колкую берлогу. Стоя на четвереньках, мы оказались так тесно прижаты друг к другу ребрами, что я перестала понимать, где заканчивается он и начинаюсь я. Учитывая дефекты моего слуха и зрения, вы, наверное, решили, что ощущение было желанным, но нет: я чувствовала себя аморфной и растерзанной.

Тем более что этот стог явно оказался перенаселенным и дрожал от скопления беженцев. Не мы одни стояли на четвереньках. В темноте я насчитала очертания еще пяти расположившихся по периметру фигур, причем таких мелких, что я приняла их за детей лет семи. Впрочем, изгибы тел, оказавшихся вплотную к нам, были вполне взрослыми; к нам обратились по-чешски.

Мы не говорим на этом языке – был наш ответ. Тогда на наши головы посыпались проклятия на польском. Да, брань понятна, сказали мы, извинившись, что стеснили тех, которые пришли первыми.

– Вы тут не останетесь, – прошипел мужской голос.

Помнится, я заметила, что у незнакомца на удивление чистый выговор.

– Это еще почему? – прошипели мы в ответ.

– Места нет! Не для того мы бежали, чтоб нас тут передавил неизвестно кто. Убирайтесь!

– С нами вам же будет теплее, – отметила я.

Температура в этой низкой берлоге оказалась чрезвычайно приятной; когда я озиралась по сторонам, соломинки ласково щекотали макушку. Меня совершенно не тревожила такая суровая встреча: я не собиралась покидать этот золотистый дворец.

– Допустим, – согласился мужской голос. – Только мы и без вас не замерзнем, а вы мою матушку совсем стиснули. Этот стог только с виду большой. И хозяева тут мы! Голыми руками берлогу вырыли! Знали бы вы, чего нам это стоило в такой мороз! Да на такие подвиги только от отчаяния идешь!

Я с уважением выслушала, но даже не подумала сдвинуться с места. В стогу было чудесно – как среди лета, некогда мне знакомого. Аромат сена был сладок, запахи обитателей – терпимы. Я готова была поселиться здесь навек и недвусмысленно показала это своим нежеланием уходить.

Откуда-то донесся могучий вздох. Видимо, из нутра матушки. Говорливый незнакомец вновь обратился к нам:

– Придется вам уйти, ребята. Уж извините, места для вас нету!

Меня охватило изнеможение; я могла только плакать. И не задумывалась, на кого падают мои слезы в этой тесноте.

– Стася! – одернул Феликс. – Возьми себя в руки.

В стогу все притихли.

– Стася? – переспросил мужской голос. – Уж не сестренка ли Перль?

Поначалу, каюсь, я его не узнала.

– Вы видели Перль? – вырвалось у меня, и стог едва не рухнул от моего напряжения. – Или, может, вам известна ее судьба?

– Нет, я ее не видел, – ответил мужской голос.

Моей первой мыслью было: врет.

– А кто вы такой? – требовательно спросил Феликс, настоящий медведь в лучших традициях игры в «живую природу».

В его голосе зазвучали наступательные, если не грозные нотки. И Бруна, и зайде – они могли бы гордиться его лицедейством. Но незнакомца ничуть не смутил такой допрос.

– Я из тех, про кого вы говорите «шпротины», – ответил он.

Ничто в его ровном, четком тоне не напоминало о мелкой маслянистой рыбешке из консервной банки. Трудно было представить себе более неуместное прозвище для этого достойного лилипута. От стыда за нанесенные ему обиды я повесила голову.

– Мы виноваты, – сказал Феликс. – Честное слово. Не знаю, как просить у вас прощения!

Потому что этот соломенный храм по праву занимал Мирко со своей родней. Извинения были адресованы им всем, потому что мы, дети «Зверинца», по наущению Бруны обзывали всех лилипутов шпротинами. Теперь, похоже, от шпротин зависела наша жизнь.

Поняв, что судьба свела нас с товарищами по несчастью, мы увидели в этом стогу целый мир. Все остальное отступило на второй план. В этом соломенном храме, думала я, возможно, и не найдешь счастья, но зато отыщешь надежду – замену счастью, хотя бы кратковременную. Мы вместе прошли через смерть, так неужели теперь мы подеремся в стогу сена?

– Эта девочка мне друг, – сообщил Мирко своим родным. – Насчет ее спутника не скажу, но девочка – бриллиант. К тому же она понесла тяжелую утрату.

Что-то в его тоне подсказало мне спросить: откуда ему известно про мою утрату? Какое-то скорбное знание указывало, что он знаком с истоками моего горя.

– Шапочное знакомство, – проскрипел другой голос, его матери. – Сдается мне, кто Аушвиц прошел, все нынче к нам в друзья набиваются, а раньше нос воротили. Что ж нам теперь, всех приблудных к себе под крыло брать?

Остальные, похоже, согласились с этим суждением: закивали так, что едва стог не опрокинули.

– У Менгеле она ходила в любимчиках, – твердо сказал Мирко. – Ей ли не знать, как нам живется.

Вроде бы он высказался в мою защиту, однако пришлось ему возразить.

– Ничего подобного, – сказала я. – Никогда я не ходила у Менгеле в любимчиках. И Перль тоже.

– Ну, не знаю тогда, за кого он вас держал, – вздохнул Мирко. – У него ведь как: день кровь твою пьет, день конфетку дает. Согласна?

– Да, все верно, – ответила я, по-прежнему не расслабляясь.

Я тоже могла бы поддеть Мирко: хотя бы за то, что он получил от Менгеле радиоприемник. Могла бы припомнить его матушке, что она кушала на кружевной скатерти, а всем им вместе – что их поселили в настоящие хоромы, тогда как мы, все остальные, сажая себе занозы, втискивались на убогие шконки, где кишели помеченные черными крестиками вши. Но я смолчала, и не только потому, что Перль осудила бы подобный выпад. Просто меня мучил вопрос поважнее.

– Ты хоть раз встречался с Перль? – не отступалась я. – Не может ведь такого быть, чтобы ты ни разу ее не видел?

Мирко будто не расслышал и тут же сменил тему:

– Мой дед – он, между прочим, наизусть «Метаморфозы» Овидия шпарил. Мне казалось, это за гранью возможного. Но в лагере я попробовал с ним сравняться. История Сотворения мира уже от зубов отскакивает. Как начинался этот мир. Что ты об этом думаешь, Стася?

– Думаю, ты подвираешь, – прошептала я. – Подвираешь, что не видел Перль, и мне это не нравится. Ты не хочешь рассказывать мне о ее страданиях. Но после смерти ее страдания переходят ко мне!

Могу поклясться: в стогу раздались согласные шепотки. Но Мирко уперся, как будто лучше меня знал мою сестру. Я могла только гадать: сколько же времени они провели вместе, чтобы у него появилась такая уверенность?

– Перль бы охотно научилась жить заново, – скорбно прошептал он. – И была бы рада, что ты стремишься к истокам мироздания.

Я ответила, что меня и конец света вполне устраивает.

В ответ мой приятель начал декламировать:

Не было моря, земли и над всем распростертого неба, –

Лик был природы един на всей широте мирозданья, –

Хаосом звали его. Нечлененной и грубой громадой,

Бременем косным он был, – и только, –

где собраны были

Связанных слабо вещей семена разносущные вкупе…[1]

Пока он распинался насчет этих выдуманных истоков мироздания, я проковыряла дырочку в стенке стога и здоровым глазом выглянула наружу. Над всем распростерлось небо, это правда: новорожденное, но растревоженное, как и я сама. Знало ли оно, как погибала моя сестра? Эти звезды – выкованные из разрушения, праха и огня, они знали, что такое страдание. И пусть бы этим довольствовались. Но им, по-моему, тоже не терпелось прослыть прекрасными.

– Ты видишь то же, что и я? – шепотом спросил Феликс, тоже проделавший глазок.

– Вижу звезды, – только и сказала я.

– А я не вижу крематория, – только и сказал он.

Сквозь смотровые отверстия к нам в стог проникали предрассветные блики. Мы заснули спиной к спине, как котята, вместе с семьей, которая нас не выгнала, и проснулись в золотистых стенах нашего храма. Я протерла глаза и убедилась, что все это наяву: с нашим появлением свободного места на расчищенном пятачке вообще не осталось. Попытавшись сесть, я стукнулась головой о мерзлую солому.

И все же я заявила Феликсу, что хочу остаться тут. Шутить не было никакого желания, но он рассмеялся. Меня так и тянуло ему рассказать, что мне уже доводилось жить в таких же стесненных обстоятельствах. В нашем с Перль плавучем мирке. В складках дедушкиного пальто. В кислой тесноте бочки. Что уж говорить о «Зверинце»! Но эти доводы я оставила при себе: понятно, что он бы стал насмешничать, а у соломенных стен были уши.

Напротив нас сидела сестра Мирко, Паулина, с сыном и дочкой, миловидными сонными крошками. Паулина ловко заплетала дочери косички. Перехватив мой внимательный взгляд, она улыбнулась, и я уже собиралась извиниться, что так беззастенчиво глазею, и объяснить, что от этого зрелища я еще сильнее затосковала по своим родным, по их прикосновениям, но тут сквозь маленький лаз в стог пробрались Мирко с матерью: у каждого в руках была жестяная кружка со снегом. Кружки пошли по рукам. Потом Мирко достал из кармана шмат колбасы.

– От красноармейцев, – объяснил Мирко нам с Феликсом, открывая свой хлебный нож, чтобы нарезать ее на порции. – Когда они вошли в Польшу, мы их покорили. Выступили, спели. А они нас провезли на танке через Старе Ставы до этого поля. Нам показалось, что здесь лучше всего будет отсидеться и продумать наши планы. У мамы было сильное истощение, но за неделю она оклемалась. Если будут ходить поезда, уедем в Прагу. Вернемся в свой театр. Хотите с нами?

Ответить я не смогла: у меня был набит рот. Я было попыталась отказаться от съестного, но мать семейства и слушать не стала. Схватила квадратный кусок колбасы и сунула мне в зубы, а чтобы я не вздумала, как привередливый ребенок, выплюнуть еду, зажала мне рот и не отпускала, пока не дождалась глотательного движения. А в довершение вытерла мне лицо уголком своей шали и попыталась ущипнуть за щеку, чтобы вернуть здоровый румянец.

– Мама всю жизнь мечтала заполучить огромную куклу, – отметила Паулина.

Тут все захохотали, как будто заранее готовились вспомнить, что такое смех, и выбрали самый подходящий момент. Веселье, правда, длилось недолго: все стали допивать талый снег, а Феликсу перепали вторая и третья порции мяса.

На сытый желудок Мирко с Феликсом начали обсуждать проблему возвращения. У нашего друга была масса планов. Он рассказывал, какие роли хочет сыграть в Праге и что представляет собой театр, где они собираются прокантоваться до лучших времен. В его рассказе сквозил такой оптимизм, что перебивать было грешно, и тем не менее я не удержалась. Из меня хлынули слова, которые я вынашивала с момента пробуждения:

– Ты утверждаешь, что в глаза не видел Перль. Я тебе верю. Но смею заметить, что ты, Мирко, актер, а значит, передергиваешь слова, говоришь неискренне.

Мирко потупился; я видела только море завитков.

– Я верю, что ты в глаза не видел Перль, настоящую Перль, потому что ее уже не было в живых. От нее оставалось только тело, в котором ничего не было от нее прежней.

Мирко покивал и спрятал лицо в шарф. Я не ждала от него исповеди. Но он решился.

– Однажды мне послышался ее голос, – прошептал он. – Пригрезилось, не иначе.

– Где?

– В лаборатории. В секретной, про которую ты не знаешь.

Он сделал знак Паулине зажать дочурке уши. Его сестра повиновалась, но всем своим видом показывала, что и сама предпочла бы ничего не слышать. Зажав уши племяннику, с любопытством стрелявшему глазами, мой знакомец продолжил.

– Я сидел в клетке, – проговорил он. – Хочешь, чтобы я об этом распинался? Что сидел в клетке?

Нет, сказала я, это можно пропустить. Мирко смягчился:

– Тогда этим и ограничусь. Но дальше вместо слова «клетка» буду говорить «стог сена». Привык, знаешь ли, подтасовывать слова. Это для тебя приемлемо?

Я ответила, что вполне.

– Так вот, представь себе, сижу это я в стоге сена. Сижу дня три, может, четыре. И этом стоге сена такая теснота, что мне даже с боку на бок не повернуться. Сижу без еды; зато попить дают. Это уже ближе к концу было. Покуда еще не отправили ни одного марша смерти. В том стоге сена я умом тронулся. Там, в темном помещении, было пять таких стогов и два источника света: щель под дверью и крошечное оконце под потолком – из него было видно только небо. На подоконник изредка слетались голуби. По полу сновали крысы. Шуму от них было больше, чем от обитателей других стогов. Я решил, что в других стогах сена люди либо приказали долго жить, либо так одурели от уколов, что уже языком не ворочали. Но вскоре я понял, что верно второе, поскольку время от времени вокруг меня вспыхивали фонарики, а затем чья-то ручища отпирала замок, трепала меня по голове и чем-то гремела. Сама знаешь, что это была за рука. Что ни день – очередной укол. От этих инъекций у меня подскочила температура, а он поражался, что я еще жив. Конечно, я предпочел бы умереть, лишь бы только от него отделаться. С каждым днем рука, что меня колола, становилась все неуверенней. Куда подевалось его хваленое четкое «я»? Он даже не заметил, что у меня ненадежный замок: слабый, проржавевший. А может, заметил, но меня недооценил. Так или иначе, я сделал вывод, что его власть надо мной пошатнулась: с приближением конца его жестокость росла не по дням, а по часам, словно он хотел успеть опробовать на мне все известные ему пытки. Однажды ко мне в стог сена бросили маленькое тельце. Я пощупал его лицо. Оно оказалось мертвым. Это был мальчонка лет четырех – ростом примерно с меня. Пришлось сидеть рядом с ним. Клянусь, деваться было некуда. Похоже, Менгеле знал, что иудаизм запрещает прикасаться к покойникам. Он пообещал забрать у меня из стога мертвое тело, если я почитаю стихи. Декламировал я весь день без передышки, а потом еще полночи, на последнем издыхании, а сам понимал, что надеяться не на что. В какой-то момент меня перебили мольбы и плач. Пнув ногой соседний стог сена, Менгеле заткнул тот голос, и больше я его не слышал.

– Голос был детский?

– Голос был тоненький.

– Девичий?

– Нежный.

Мне даже не пришлось напрягать воображение – так явственно зазвучал для меня тот голос.

– Потом в помещение ворвались озверелые эсэсовцы и перевернули мой стог сена. В преддверии эвакуации они пытались урвать все, что только возможно; у них над головами барражировали самолеты, а они обыскивали помещение, переворачивая вверх дном все, вплоть до последнего стога сена, и доводя нас до помешательства. Когда они убрались, я с беспрестанными извинениями встал ногами на детский труп и повозился с замком. От налета эсэсовцев он расшатался окончательно – и ржавая дужка, считай, развалилась! Я выбрался в темноту и провел руками по всем стогам стена. Ни малейшего писка – даже из того стога, где, по моим расчетам, сидела ты. Если кто-то раньше в нем и жил, то ее уже там не было.

– Но голос-то был ее?

– В ту пору мне показалось, что голос твой.

– Значит, это была Перль.

– Там стоял холод, я обезумел от дистрофии, а Менгеле избивал меня и слепил фонарем. Тягостно это вспоминать.

– Если я повторю, что говорил тот голос, это, вероятно, кое-что для тебя подтвердит, – решилась я. – Как по-твоему, ты сумеешь вспомнить, если я воспроизведу слова?

– Вероятно.

Мирко не горел желанием напрягать память. Мне пришлось его подбодрить. И даже слегка покривить душой.

– Не сомневаюсь, ты вспомнишь, – сказала я. – Ты лучше нас всех, Мирко. Самый умный, самый жизнестойкий.

Моему спутнику не понравились эти похвалы. Он смотрел на нас подозрительно, как отверженный.

– Если будешь льстить, – буркнул Феликс, – это исказит его воспоминания.

Вскочив с места, Мирко ударился головой о солому. У него сжались кулаки, словно для потасовки.

– Я запомнил это навсегда с доподлинной точностью. И забуду лишь тогда, когда сам себе прикажу, то есть не раньше, чем мы доберемся до Праги. Как только я переступлю порог – или то, что от него осталось, – фюить! Вы все будете поражены, как много я забуду!

Он поднялся с пола, внезапно забыв, что должен оберегать уши племянника, и принял боксерскую стойку, за что получил мягкий упрек от мамаши: она потянула его за штанину и заставила сесть.

– Тем более нужно сейчас все рассказать, – подтвердила я. – Говори, что сказал тот голос, я повторю, и ты подтвердишь, после чего сможешь вычеркнуть это из памяти.

– Может, лучше письменно? – предложил Мирко.

– Давай.

И верно, так будет лучше, подумала я, потому что эти слова навсегда останутся при мне. Из котомки, полученной от Бруны, я вытащила последние клочки бумаги и огрызок карандаша. Взяв в руку эти бесценные предметы, Мирко заколебался, но, повернувшись ко мне спиной, все же начал писать. Его родня зашикала, как будто мы сидели в бархатной ложе театра. Наконец он вручил мне обрывок бумаги, на котором вывел: «Скажи моей сестре что я».

В прежние времена такая записка могла бы меня доконать. Но сейчас эти пять слов стали мне друзьями.

Скажи моей сестре что я

На Мирко больно было смотреть. Судя по всему, его лицо оказалось последним из увиденных моей сестрой. Для нее могло быть и хуже, подумала я. Как-никак Мирко привлекателен, с хорошими манерами – прямо киногерой. Она, должно быть, черпала надежду в его терпении. Была в нем какая-то незабываемая доблесть. К сожалению, с этого момента он стал для меня не просто Мирко, а Мирко Прощальный Взгляд.

Смотреть на него было невыносимо, и я попросила, чтобы Феликс меня увел. Тот потянулся к нашим котомкам и сунул в руки матери семейства драгоценную бутылку воды. К этому дару добавилась половина картофелины, отрезанная хлебным ножом.

– Никак вы уходите? – воскликнула Паулина. – Это же опасно!

И она стала молить брата остановить нас, убедить остаться.

– Нам нужно найти одного человека, – объяснила я ей. – Позарез нужно его найти.

Я не слушала ни уговоров, ни предостережений. Шакалу они ни к чему. Но во мне сохранялось и кое-что человеческое. И вот доказательство: положив записку Мирко в карман, где хранилась рояльная клавиша Перль, я простилась с Рабиновичами и почувствовала, как в дверцу глаза стучится слеза – признание смерти моей сестры и близости Мирко к ее последним часам. Он потянул меня за рукав и знаком попросил наклониться, а сам привстал на цыпочки, чтобы донести до меня слова прощания.

– Перль теперь свободна, – прошептал он, и тут голос у него сорвался под тяжестью скорби. – Проникнись этой мыслью, Стася.

Унося с собой поведанную нам историю, мы покинули нашего великодушного героя и его золотистый храм, чтобы отправиться, как считало его семейство, навстречу неминуемой гибели.

Перль

Глава четырнадцатая. Русские снимают кино

Раз за разом проникая в свое тело, я пыталась его изучить, застолбить за собой хоть какую-то его часть. Тело это было безвольным; я его стыдилась. В нем не осталось и следа тех сил, которые, по моим воспоминаниям, ощущались мною в проволочном гробике. Ни силы муравья. Ни памяти голубя. Только способность дышать да единственная мысль: цифры на моей руке – указание на то, сколько раз понадобится доказывать, что я могу приносить пользу этому миру и потому заслуживаю права в нем остаться. И хотя я знала, что все это – игра ума, но такова была логика моей клетки и моего тюремщика, которую мне предстояло побороть.

Чтобы вновь обрести пальцы и руки, мне понадобился хлеб. Когда он провалился в глотку, я поняла, что у меня есть живот. Я заново познакомилась со своей спиной, когда красноармеец поместил меня на больничную койку. Там я смотрела в окошко, время от времени переводя взгляд на стену, иногда на потолок, и, хотя сверху не падали капли, с которыми можно переговариваться, счастье мое было безграничным.

Когда меня извлекли из мрака клетки, я жадно смотрела по сторонам, но на самом деле не сознавала, что у меня есть глаза, пока ближе к вечеру не увидела съемочную камеру. То есть я знала, что у меня есть глаза, но не знала на что они способны, поскольку им еще предстояло пообвыкнуться в мире света.

Русский оператор, снимавший фильм, оказался неулыбчивым, тонкогубым парнем. Если другие красноармейцы свободно давали выход самым разным чувствам, то этот сохранял невозмутимость. Я воображала, что камера показывает ему слишком многое из того, что видеть не под силу, или же подсовывает детали, о которых он предпочел бы не догадываться. Как ни странно, впервые я увидела его улыбку именно тогда, когда заинтересовалась кинокамерой.

На удивление ласково он протирал объектив белоснежной ветошью. Поднимал камеру к свету, смотрел в видоискатель, вновь протирал, а я невольно тянула руку, будто гладила сам воздух, в котором перемещался этот киносъемочный аппарат.

– Она ведь ничего не просит, – благоговейно сказала женщина.

Именно эта женщина первой обняла меня после моего вызволения и теперь не отходила ни на шаг. Помню ее кукольные глаза, ее прикосновение – и больше ничего. Впрочем, кто-то сказал, что она – врач, что ей можно верить и бояться нечего. Я поверила, тем более что мне нравилось, как она зовет меня по имени: будто старинная знакомая.

Они с оператором общими усилиями дали мне возможность посмотреть на мир через линзы: женщина взяла меня на руки, передала оператору, и я прильнула глазом к стеклу. Наверное, мне представлялось, что кинокамера покажет кого-нибудь из моих любимых. Того, кто остался в живых. Но нет.

Камера принесла мне одно разочарование. Не знаю, с чего я взяла, будто небольшой черный аппарат может показать нечто лучшее, чем просто окружающую обстановку. Я видела лишь узников, малолетних узников, которых русские с целью создания особой атмосферы обрядили в полосато-серые мешковатые робы для взрослых. Ребятам было холодно и тоскливо; по их лицам никто бы не сказал, что дети уже освобождены.

С азов познавая свой характер, я сочла себя покорной, безобидной, а потому разыграла изумление от этого зрелища, увиденного через глазок кинокамеры. Когда я нахвалилась, женщина-врач опять взяла меня на руки, посетовала на мою невесомость, и мы влились в массовку. Нам пришлось топтаться у каких-то заборов и дрожать от холода на снегу. Совсем юные и неискушенные, мы пришли в смятение, внезапно заделавшись актерами. Зачем нас так одели? – спрашивали мы и выкрикивали: нас даже в лагере не заставляли такое носить! Почему мы маршируем – и никуда не уходим? Но киношников не интересовало наше мнение: им требовалось, чтобы мы топали стройной колонной – якобы навстречу свободе.

Освещаемые размытой белизной снега, все мы двигались как спросонья. Камере в особенности полюбились личики десятилетних двойняшек из Румынии, которых поставили впереди. С виду неразличимые, сестры цеплялись друг за дружку, но в кадре вели себя совершенно по-разному. Одна шла спокойно и скромно, а другая вздернула подбородок и даже показала язык. Не знаю, сделала ли она это умышленно, дерзко поддразнивая оператора, или по привычке, из девчоночьего озорства, а может, просто облизала губы от жажды. Ясно лишь одно: судьба призвала этих близняшек поведать миру о человеке, который не может считаться ни ангелом, ни доктором, ни дядей, ни другом, ни гением. О человеке, которого мы, его подопытные, хотели вычеркнуть из памяти навсегда и вспоминать лишь для того, чтобы предупреждать других о существовании бездушных изуверов, живущих среди нас: они творят зло просто из любопытства, для тренировки, ради удовлетворения своей врожденной жестокости. Когда-нибудь Еве и Мириам Мозес предстояло напомнить миру, что с нами сделали.

Но в тот день, 28 января 1945 года, когда камера катилась по рельсам, сестры крепко держались за руки, будто страшась разлуки и готовясь защищаться, а сами недоумевали вместе с остальными. На ребячьих лицах отражалось в первую очередь недоумение. Мы, вроде как уже свободные, шли по какой-то тропе; впереди по обе стороны тянулись заборы, но пресловутых ворот с леденящей надписью не было и в помине; а потом нас загоняли обратно, словно узников, в ту же неприметную калитку. Когда нам объявили, что съемки прошли успешно, мы уже не понимали, куда приведет наше будущее, однако русские заверили, что нас прославят во всех газетах, покажут в каждом кинотеатре. И тогда люди поймут, что мы выжили.

Пока нас гоняли колонной туда-сюда, мне бросилось в глаза, что все ребята идут по двое и половинки в этих парах совершенно одинаковы внешне, голосом, повадками. Да и шли они в ногу, как один, словно не могли двигаться по отдельности. Вот тут-то я и поняла, что утратила свою целостность.

Пусть это было невеликое открытие, но оно стремительно ширилось. Мы все еще находились в том месте, где должны были умереть, но выжили. А для чего – я затруднялась сказать, и не я одна. Никто не мог мне ответить, хотя источников информации вокруг было хоть отбавляй, – у всех развязались языки. Прежде запуганные и затравленные, в больничке ребята просто сходили с ума: все время кричали и прыгали с койки на койку.

Я им завидовала. Меня тоже тянуло прыгать, скакать, бегать, танцевать, но надежды таяли от каждого взгляда на мои перебинтованные ноги.

Можно, конечно, было кричать, да только не хотелось. Совсем. Хотя другие освобожденные дети горланили вовсю. Надо отдать им должное: кричали они организованно и осмысленно, в едином порыве.

– Уколы долой!

– «Хайль, Гитлер» долой!

– Замеры долой!

А потом весь хор косился на меня.

– Долой, – кивала я, – долой.

Из жалости мне подбрасывали начало следующей речевки: «Построения…», «Баланду…», «Вливания…», «Рентген…», «Эльму…», Менгеле…».

От последнего имени я содрогнулась. Оно, как я помнила, относилось к тому, кто бросил меня в клетку. Мне тут же расхотелось играть дальше. Но я заставила себя продолжать.

– Клетки долой! – гаркнула я во всеуслышанье.

Вот и все, на что я оказалась способна, потому как запомнила только свою клетку. Любопытно, что у меня сохранялась уверенность в собственном имени. Оно было нацарапано на стенке. Милая Перль, гласили буковки. Я любила водить по ним пальцем и в темноте размышлять: кто же это меня так сильно любил, что выцарапал там эту надпись?

Ближе к вечеру та женщина, которая во время съемок держала меня на руках, проявила ко мне такое внимание, что я даже смутилась и хотела спросить: уж не состоим ли мы в родстве, если она ко мне так добра: купает, кормит с ложки, обихаживает даже в ущерб другим своим подопечным. Я чуть не указала ей, что они тоже настрадались, но почему-то подумала, что в этих вопросах повлиять на нее будет непросто.

Когда она устроила меня в отдельной торцевой палате, на пороге возник мужчина – только силуэт.

– Папа? – воскликнула я.

– Она тебя знает, – отметила женщина.

Мужчина хранил суровость: его тень шевельнулась, как будто он собирался уйти. Но потом он снял шляпу и прижал к груди.

– Скажи: пусть не думает, что я ее отец, – попросил он.

– А разве ей это повредит?

– Больше, чем ты думаешь, – прошептал в ответ мужчина.

Я не сомневалась: он говорит за нас обоих. Ему, похоже, было так же тяжело, как и мне, завязывать простые человеческие отношения. Обескураженная его первой реакцией, я постепенно прониклась к нему сочувствием. Еще во время нашего исхода я поняла, что это бывший солдат-чех, который тоже сидел в клетке, где его терзал и мучил все тот же палач, выбравший, впрочем, методы воздействия, отличные от моей изоляции.

Шагнув с порога вперед, он подошел ближе – ровно настолько, чтоб я разглядела его лицо: лицо человека, некогда наказавшего мне заучивать имена других ребят. К своему глубокому стыду, я давным-давно забыла их все; хорошо, что сейчас он не стал меня проверять. Для него было важнее другое.

– Я тебе не отец, Перль, – сказал он. – Чтобы ты понимала. И женщина эта – она тебе не мать. Все твои родные, включая сестру-близняшку…

Подскочив к нему, женщина зашикала. Он смешался, потом кивнул и вышел, расстроенный ее вмешательством, но не отказавшийся от своих слов.

В то время повсюду только и разговоров было что о капитуляции. Сейчас, наверное, капитулировал он.

А что же я? Хотелось верить, что моя способность капитулировать осталась в той клетке, но кто знал?

Вечером, укладывая меня спать, та женщина открыла мне глаза. Мужчина, приходивший в палату, – это Отец Близнецов, а сама она – Мири. Но она велела мне никогда больше не обращаться к ней «доктор». Я поняла.

Отец Близнецов вел список. В нем значились все дети, с указанием фамилии, возраста, места рождения и даже номера барака, где их держали. В этот список мне удалось подглядеть из рук Мири перед уходом из Освенцима, 29 января 1945 года.

Понятно, что некто по имени Перль – это и есть я. Тоже мне новость. Даже на стенке так было написано.

Стало быть, мне тринадцать лет. Похоже на правду. Другие тринадцатилетние девчонки были такими же костлявыми недоростками. Вопросов у меня не возникло.

Мое место рождения можно было обозначить прочерком, но в соответствующей графе стояло: «Неизвестно».

У меня на глазах Мири зачеркнула «Неизвестно» и написала: «Мири». Перехватив мой взгляд, она постучала карандашом по бумаге.

– Возражений нет? – спросила она.

Отец Близнецов с любопытством взглянул на это исправление, когда Мири отдала ему список, но промолчал. Думаю, он был слишком занят, чтобы выяснять, зачем вместо названия города кто-то вписал человеческое имя. Переходя от одного ребенка к другому, он проверял содержимое вещмешков: бутылка воды, хлеб, консервы, конфеты, выданные русскими; справлялся о состоянии обуви и раздавал шубейки, извлеченные из «Канады».

С этими приобретениями дети сразу округлились и раздались вширь. Утопая в мехах, они выглядывали из-под капюшонов. Ни дать ни взять – армия неприкаянных медвежат; Отец Близнецов обратился к ним соответственно:

– Старшие смотрят за средними, средние – за младшими. Все ясно? Держаться вместе. Не отставать. Кто отстанет, того мне будет очень жаль. Теперь вы – солдаты.

Когда он закончил эту небольшую речь, множество носов гордо вздернулось кверху. Я бы тоже рада была так воодушевиться. Все бы отдала, чтобы моя сестра шагала рядом с тележкой, на которой меня повезут, склонялась надо мной и шутила на ходу.

Всего нас было тридцать пять душ. И моей Бесценной среди нас не было.

– У меня была сестра-близнец, – доверилась я Мири. – Только я ее не помню. Твержу себе: она почти во всем такая же, как я, но есть и различия. А какова я сама – тоже не знаю.

Мы шагали, ехали, плелись за ворота в отсутствие кинокамеры, которая могла бы запечатлеть величие момента. В отсутствие всякого маскарада. В отсутствие фотографов. Тогда я этого не понимала, но подспудно желала, чтобы весь мир увидел вот что: как дети стайками нащупывают путь по заледенелой дороге: одни, слишком юные, не берут в голову, что написано над главными воротами, где дугой выгибается навстречу освенцимскому небу какая-то фраза; а другие, тоже юные, но успевшие состариться, зажмуривают глаза от смысла этих слов. У меня перед носом четырнадцатилетний парнишка с разорванным ухом и лохматой шевелюрой высматривал на земле камень, чтобы запустить в девиз над воротами. Он объяснял Отцу Близнецов, что ищет каменюку потяжелее, чтобы те слова застонали металлическим лязгом. Когда он шарил в снегу, мне показалось, что я его узнала. Где-то я уже видела эти плотно сжатые губы, эти движения: как будто он привычно раздобывал предметы совершенно особого назначения. Извлечь из памяти его имя у меня не получилось. Если бы он нашел подходящий камень и швырнул его в надпись, тогда, возможно, я бы и вспомнила – разобрала бы это имя в металлическом отзвуке. Но наша колонна не могла задерживаться: Мири толкала мою тележку, малышня жалась к Отцу Близнецов, и у этого парнишки оставалось все меньше шансов найти увесистый камень. Наш командир приказал двигаться дальше.

Мы и так опаздываем, сказал тому парню Отец Близнецов, на целую жизнь. Не стоит терять драгоценные минуты, чтобы оглядываться назад.

Стася

Глава пятнадцатая. Мы придем сюда, чеканя твердо шаг[2]

Повсюду в Коло сообщения, надписи. Клочки бумаги расклеены по всей железнодорожной станции. Люди писали, куда они идут, откуда пришли, кого ищут. Они писали, кем были, но не упоминали, кем стали. Прежде мне не доводилось посещать этот город, но от бывших его жителей я знала, что он служил перевалочным пунктом для евреев, взятых в окружение: отсюда их увозили в Лодзинское гетто. Пара узников дружили с моим отцом: познакомились они тайно, в подвале нашего гетто. Папины друзья с великой скорбью повествовали о судьбе своего города, некогда привечавшего еврейских ремесленников. Их Коло разительно отличался от того, который я когда-то видела из окна поезда. Этот безмятежный в свое время город с ветряными мельницами и живописными реками удостоился похвалы Гиммлера за разрыв с прошлым.

Мне не хватало сил смотреть на эту картину. Я сосредоточилась на именах и посланиях.

И даже заметила, как Феликс нацарапал свое имя на спинке переднего сиденья, решив, что я не смотрю. Сделал он это поспешно и сконфуженно, смущенный бессмысленностью сего действа, с одной стороны, и его необходимостью – с другой. А все оттого, что нас никто не искал. Никто и нигде не написал наших имен. Никто не написал: «Если ты читаешь это, значит мои сокровенные молитвы услышаны: ты все-таки жива, но просто далеко от меня, что одно и то же, но хоть как-то поправимо». Мне всегда хотелось написать что-нибудь подобное для Перль. Однако среди всех имен и надписей не было места для пространного послания. Столько имен – они отовсюду бросались в глаза, словно моля о прочтении.

По правде сказать, среди всего множества надписей я искала свое имя, написанное почерком Менгеле. У меня даже не возникало сомнений в том, что он меня ищет. Я уверяла себя, что в одном из этих хранилищ посланий и сообщений – на станциях, в вагонах поездов – он непременно шастает в поисках нас. Могу сказать, что была счастлива, когда он сбежал, именно по-настоящему счастлива от мысли, что выслежу его и затравлю, потому что только так я смогу в полной мере выразить свою любовь к Перль. И все же я терялась в догадках: почему он бросил меня, свою бесценную подопытную крысу. И тогда у меня закралась мысль, что по большому счету мне всегда была грош цена. Надломленная половинка, плывущая по течению в бескрайнее никуда.

Железнодорожные составы бездумно продолжали свой путь. В ту пору еще шла война, но шла она к своему завершению: повсюду скитались беженцы, лежали огромными черепахами перевернутые танки, а пешеходы с равной осмотрительностью пропускали колонны солдат – как советских, так и германских. Ненадежные поезда, как видно, были для нас единственным способом добраться до дому. Люди добровольно набивались в вагоны, а потом прятали глаза, прибывая вовсе не туда, куда собирались. Я поражалась всеобщей вере в благополучный исход, а сама старалась не засыпать, чтобы наутро не увидеть трубы крематория.

Увозя нас прочь от Освенцима, поезда вызывали сумятицу и сбивали с толку. Единственное их преимущество заключалось в том, что они давали укрытие от непогоды, причем даже тому, кто ездил зайцем. Мы с Феликсом втискивались на одно сиденье, а при появлении проводника, бросавшего на нас косые взгляды, закатывали рукав шубейки, чтобы предъявить свои номера. Их синева служила билетом в любую сторону.

Уйдя из соломенного храма, мы провели на колесах трое суток. Состав то и дело менял направление и делал остановки. Вначале ехали на восток, потом на запад. Наши склоненные головы тихонько тряслись под стук колес – возможности прилечь не было. Когда утро плавно перетекло в сумерки, мы въехали в Коло, где наш путь в очередной раз прервался. Нас высадили прямо на рельсы.

Мы с Феликсом жались друг к дружке, притворяясь, что не разумеем по-польски, и упрашивали позволить нам заночевать в вагоне. Притом что проводники смотрели сквозь пальцы на безбилетников-беженцев, наше удобство никого не заботило. Нас за уши выдворили из вагона и столкнули на лед; мы тут же скатились под откос. На сей раз даже Феликс поднялся еле-еле. Бесценные дары Бруны разлетелись по снегу. Мы засуетились, подбирая и запихивая обратно в котомку остатки пропитания: две картофелины и одну бутылку воды.

В расстройстве мы поплелись к лесу и увидели какой-то сарай, не предвещавший никаких опасностей. Там обитали непомерно жирная свинья и обиженно мычавшая корова бленхеймской породы с лопавшимся от молока выменем. Феликс взялся ее доить и поразил меня своей сноровкой. Мы обрадовались таким хоромам: свинья и корова занимали всего два стойла из четырех, а мы обосновались в самом дальнем, оставив стойло между нами и скотиной пустым. Обретя крышу над головой, мы поспешили закутаться в шубы и увидели во сне то утро, когда смогли отбросить личины Медведя и Шакала.

Как же крепко спится, когда знаешь, что рядом течет молочная река.

Однако наутро нас ждал не завтрак, а испуг: мы услышали конское ржанье и сквозь щель между полом и воротами увидели пару грязных сапог. Всадник стал привязывать лошадь, мы с Феликсом, затаив дыхание, вжались в пол и наверняка остались бы незамеченными, кабы Феликса не угораздило чихнуть. Привязав лошадь в третьем стойле, хозяин сапог направился к нашему. Оказалось, это пожилая, аккуратно одетая женщина в добротном пальто. Ее круглые щеки-солнца прыгали при ходьбе, а глаза были небесно-голубыми, как у слепцов. Мне они сразу не понравились, но, когда женщина подошла вплотную, я убедила себя в ее доброте, потому как мы плутали наобум, голодали и бедствовали, а бедствовать можно лишь до того предела, пока в каждом встречном не начнешь видеть своего избавителя. С минуту она постояла в раздумьях, будто просчитывая свой следующий шаг, а затем решилась и раскрыла нам объятия.

– Деточки мои! – воскликнула она. – Я вас искала! Уж отчаялась! – С этими словами она обняла нас обоих.

Несмотря на крупное телосложение, она, видимо, слегка усохла: обхватившие нас руки оказались дряблыми, с обвислой кожей.

– Никогда больше не убегайте!

Вжимаясь в стену, я попыталась вывернуться.

– Мы не ваши, – спокойно ответила я. – Меня зовут Стася Заморска. Я – сестра-двойняшка Перль.

– Неужели? Прости меня, старую. А это, верно, Перль, да? – Женщина потрепала Феликса по щеке.

– Да что вы?! Это же мальчик! Но он действительно мой брат-близнец, в этом вы правы.

– Клянусь, я приняла вас за своих потеряшек, – с сожалением выдохнула она. – Ну, думаю, вернулись. А может, вы подсобите мне их отыскать? За кров и кормежку?

Взглядом Феликс показал, что решение остается за мной. Как ни подозрительно выглядела эта женщина, он повелся на ее обещания.

Если бы не холода и наше изгнание из поезда, если бы не пустые желудки и худые башмаки, если бы не заснеженный мир, мы бы даже не стали рассматривать такую возможность. Феликс оттащил меня в сторону посоветоваться.

– Как по-твоему, – зашептал он, – в случае чего мы сможем ее перебороть?

Я тут же поклялась, что не позволю ей причинить нам вред. Феликс отнесся к моему обету скептически, но повернулся к хозяйке, чтобы поделиться своими планами.

– Мы пробудем до вечера, – объявил он. – Или сколько потребуется. Девочка слаба, сами видите. А поесть дадите? У нас животы подвело. И еще, может, хлеба нам с собой в дорогу?

– На кров и хлеб можете рассчитывать, – искренне заверила хозяйка.

– Тогда по рукам, – провозгласил Феликс. – Сударыня, мы приложим все усилия к поиску ваших детей.

Он отвесил небольшой, но умопомрачительно светский поклон. А затем, оставив сарай где-то в стороне, мы последовали за женщиной через сугробы и дальше по узкой заснеженной тропинке к побеленному сельскому домику, мирному, как перевернутый детский волчок. У меня и в мыслях не было, что оттуда может исходить опасность. Тем не менее я понимала, что доверять чужакам – большой риск. Белесые глаза женщины ничуть не потеплели, и, пока мы шли в поле под ее отрешенным, мутноватым взглядом, мне показалось, что первейший ее изъян – не подслеповатость, а какая-то червоточина.

В таких обстоятельствах я могла полагаться на свое бессмертие. А Феликс? Мне предстояло убедиться, что угрозы ему нет.

Хозяйское жилище было ничем не примечательно. Застеленная какой-то тряпицей лежанка, у двери снегоступы. Унылый домотканый коврик, традиционный венок с праздника урожая. Ведерко, подставленное под течь в потолке. Этот низкий потолок в одночасье превратил нас с Феликсом в великанов; хозяйка ссутулилась, чтобы не задеть головой притолоку. Интересно, как она жила в такой конуре? Горбунья, не иначе, и все же хорошая мать, поскольку хибара сияла чистотой. Отполированная лавка вишневого дерева, простые, аккуратные шкафчики. Над столом важно красовался на стене блестящий тесак.

– А ваши дети… давно они пропали? – робко спросила я.

Женщина ответила не сразу. Я переспросила. В придачу к своей подслеповатости она была туга на ухо. Ей можно было только посочувствовать, поэтому я не допытывалась и стала смотреть, как она режет хлеб. Тогда-то меня и удивила пустота и суровость ее дома. Нигде не было детских фотографий. Ни намека на других жильцов. На полках – ни одной книги. Не было ни музыкального инструмента, ни спящей в корзине кошки. До того как нас загнали в гетто, семья наша жила в окружении чудесных вещей. Подчас, когда мне не спалось под боком у Феликса в наших временных укрытиях, я вспоминала домашнюю обстановку. Вспоминала мамин сервиз, цвет дедушкиного телескопа. Потерявшимся детям впору было посочувствовать: не знаю, за что они могли бы зацепиться в своих воспоминаниях. Зажги тут свечку – ей и освещать будет нечего. Тут я заметила на каминной полке вильчатую куриную косточку во главе процессии маленьких фарфоровых ангелов. Их вид меня успокоил: на месте пропавших ребятишек я бы непременно сохранила этот образ в своем сердце.

Я спросила женщину, как звали детей, как они выглядели. Вместо ответа она легонько ткнула меня под ребра, как бы щекоча и намекая на мою худобу, а потом заставила поесть.

Феликс за обе щеки уплетал хлеб, а мне кусок в горло не лез. От хлеба я отвыкла. Мне, как Шакалу, больше подходила сырая зайчатина. А хлебный каравай будто пришел из моего цивилизованного прошлого. Буквально каждая клеточка моего тела вопила о том, что я не заслуживаю этого хлеба, если допустила, чтобы моя сестра умерла. Одним словом, меня стошнило прямо на стол.

– Это еще что? – заверещала тетка совершенно не тем голосом, каким договаривалась с нами в сарае.

Она замахнулась. Не знаю, собиралась ли она схватить со стены тесак или просто хлопнуть меня по спине, но я нырнула под стол и утащила за собой Феликса.

– Холера, – пробормотала тетка, выхватывая из угла метелку.

Вооружившись, она пригнулась и стала осыпать ударами наши спины и плечи. Мы отпрянули, опрокинув стол, и разбежались по углам хибары. Тетка двинулась к Феликсу. Черенок метлы беспорядочно приземлялся на разные участки его тела. Мой брат-Медведь трясся от вполне понятного страха, но не пикнул даже тогда, когда черенок с треском переломился о его спину. Этот треск послужил мне сигналом выполнять данное обещание. Выхватив из-за пазухи хлебный нож, я стала подкрадываться к хозяйке, а та в запальчивости даже не уловила шороха моих шагов.

Но мою миссию прервал стук в дверь, бодрый и четкий.

Хозяйка осеклась и, подскочив ко входу, посмотрела в глазок. Неожиданный визит ее обрадовал, и мы поняли причину: на пороге стояли парень и девушка в серой форме с молниями на груди. Молодые люди представились как службисты концентрационного лагеря в Хелмно. Парень назвался Генрихом, а девушка – Фритци.

– Сам Бог вас послал! – воскликнула хозяйка дрожащим голосом.

Парень объяснил, что Хелмно захвачен русскими. Командованию лагеря стоило невообразимых усилий бежать вместе с узниками; при отступлении офицеры, рискуя жизнью, старались уничтожать жидов. К великому сожалению, те разбежались по всей округе. Но они, Генрих и Фритци, с остатками своих сослуживцев намеревались отловить всех до единого.

– А у меня для вас есть два подарочка, – пробормотала хозяйка, впуская их в дом.

Тетка злобно покосилась в нашу сторону: мы сидели в обнимку, вжавшись в угол, и дрожали, хотя и не снимали шуб. Она засуетилась, наливая чай, и с гордостью продемонстрировала нас своим гостям.

– Эти двое не уйдут отсюда живыми. Мы с мужем на пару истребляли евреев. Выполняли священную миссию. Видите тесак на стене? Им сподручно черепа крошить. А действовали мы так: я находила и заманивала детей, а муж завершал остальное. Да только преставился он, я одна осталась.

Управленцы из Хелмно выразили ей свои соболезнования.

– Достойный был человек, преданный делу, – продолжала она. – Спору нет, в последние годы евреев поубавилось благодаря политике фюрера! А ведь было дело – накрыли мы в лесу целый кагал. Порой они сами к нам в руки шли: притащутся, бывало, на порог и еду выклянчивают. Без мужа мне охотиться на них тяжелей стало. Я сменила тактику: выслеживаю, втираюсь в доверие, потом кормлю, а как закемарят – приканчиваю. Не поймите превратно: этих двоих я только едой и заманила.

– Неплохая тактика, – процедил Генрих. – Только расточительная: хлеба не напасешься!

– И не говорите, – посетовала хозяйка. – А как иначе их залучить? Читать я не умею, игрушек в доме не держу. Что ж мне, песни им петь прикажете?

У нее в голосе прорезался сарказм. Я поняла, что хозяйку раздосадовал комментарий Генриха. Она явно ждала похвалы и большой благодарности за свои зверства. Как ни странно, никаких восхвалений ей не перепало.

Генрих навис над нами, пристально всматриваясь. Думаю, разглядеть меня ему не удалось: я свернулась клубком и уткнулась Феликсу в бок. Сейчас мы были просто дрожащими шкурами медведя и шакала. Старуха подошла и встала рядом.

– Не окажете ли честь? – предложила она Генриху. – Или хотя бы подержите, чтоб не дергались.

Ее пятерня, испещренная зеленоватыми венами, вцепилась в воротник моей шубы. Я оцепенела. Не знаю почему, но я даже не пыталась бежать. Феликс хотел было рвануться вперед, но от страха запнулся и рухнул на пол. Девушка усмехнулась его неловкости, но ее смех не показался мне жестоким. А потом… потом служаки Хелмно повернулись к хозяйке.

– Вы, стало быть, поете? – холодно спросил Генрих.

– Немного. – Тетка оробела и нахмурилась, почуяв неладное, потом выпрямилась и разгладила на себе фартук. – В детстве училась, в другой жизни. Что изволите послушать?

– «Не считай свой путь последним никогда…» – без запинки ответил Генрих.

– Еврейскую песню? – поразилась хозяйка.

– А вы что же… ее не разучили? – медленно проговорила Фритци, доставая свой пистолет и наводя на нее дуло. – Она пользуется большой популярностью в лагерях и гетто.

Дуэтом они завели песню, хорошо знакомую нам с Феликсом: партизанский гимн – гимн еврейского Сопротивления:

Так не считай свой путь последним никогда,

Вспыхнет в небе и победная звезда.

Грянет долгожданный час, и дрогнет враг,

Мы придем сюда, чеканя твердо шаг.

На последней строчке старуха вытаращила подслеповатые глаза и стала пискляво подпевать. Может, так она пыталась умаслить незваных гостей, показать, что она с ними заодно… как знать? Возможно, она обладала прекрасным голосом, обещавшим остаться в веках, и ее голос мог бы понравиться как Гитлеру, так и Менгеле. Возможно, на спине своей музыкальности она могла бы въехать в совершенно другую жизнь. Это осталось тайной. Потому что в ее раскрытый рот пчелой влетела пуля и вылетела из седого затылка. А затем ударилась в стену и там застряла, тихая и недвижная, словно довольная выполненной работой. Мстители хладнокровно перешагнули через труп и обошли место действия, не упустив из виду куриную косточку и ангелочков, сияющих восторгом юности.

– Доедайте, – распорядилась Фритци.

Феликс поднялся с пола, в суете повторно стукнулся головой о стол и наконец уселся на прежнее место, чтобы с аппетитом умять свой хлеб. Я последовала его примеру.

– Это ваши настоящие имена? – обратился Феликс к паре мстителей.

Ответа не последовало. Те продолжали расхаживать по хижине. Фритци напоминала довольную барышню в антракте спектакля. Генрих тоже смягчился. Пододвинув третий стул, он сел за стол.

– Можно? – вежливо спросил он, прежде чем его указательный и средний пальцы зашагали наподобие пары ног в сторону моей тарелки.

Я подтолкнула тарелку к нему поближе. Он и бровью не повел оттого, что ее обрамляли мои извергнутые взаимоотношения с едой. Его вниманием целиком завладела напарница. Фритци сдернула фуражку, и лишь тогда я заметила, что ее светлые волосы у корней черны как вороново крыло. Она хрустнула суставами пальцев, словно готовясь к драке, а потом стала плевать на старуху: на ее белесые глаза, на фартук. Ни одна часть мертвого тела не избежала надругательства. Фритци плюнула даже в лужу крови на полу. Плевки не прекращались до тех пор, пока у Фритци не пересохло во рту. Тогда она уставилась на мою кружку с молоком, взяла ее со стола, осторожно понюхала и выпила все до капли. Ее карие глаза, как два кораблика на горизонте, подрагивали над краями кружки.

В бессмертии есть одна загвоздка: тебе дается целая вечность, чтобы решить, кем ты стал. И смерть сестры-двойняшки отягощает это затруднение вдвое. Оставаясь половинкой Перль, я поняла, что вовсе не прочь уподобиться этой кареглазой мстительнице. Должно быть, я глазела на нее с большим восхищением, потому что она отвернулась и скорчила гримасу, будто отмахивалась от моей благодарности.

– Своей жизнью ты не обязана никому.

Тут я заспорила, потому как она не знала Перль, не знала, что я обязана жизнью моей сестре, но девушка-мстительница вовсе не собиралась разводить дискуссии; ее больше заботило содержимое ящиков стола и буфета, которое сейчас перекочевывало к ней в заплечный мешок. Все мясо, весь сыр и хлеб. Стоя прямо над трупом, девушка достала пачку сигарет и дала напарнику прикурить. Между ними метались искорки чувства, приятного и на удивление невинного: казалось, они напрочь забыли, что у ног лежит труп, но в какой-то момент девушка захлопотала, пытаясь оттереть запятнавшие нагрудный карман Генриха капли крови, яркие, как бутоньерка. Кончики тонких пальцев на миг помедлили, а Генрих с довольным видом вернулся к столу и подмигнул.

Он поел еще немного, деликатно пережевывая пищу, и посмотрел на нас с Феликсом. Нам не пришлось предъявлять свои номера – он прекрасно понимал, кто мы такие.

– Как собираетесь распорядиться своей свободой, молодежь? Какие у вас планы?

Он протянул Феликсу раскуренную сигарету и кивком предложил затянуться.

– Как любил приговаривать мой отец-раввин… – начал Феликс, пытаясь затянуться и не раскашляться, – он любил приговаривать: мертвые умирают, чтоб живые дальше жили. Я только сегодня понял смысл его слов. Думаю, в первую очередь они относятся к нашим мучителям.

Генрих одобрительно взглянул на Феликса и поднял стакан в знак единодушия. У Феликса был такой вид, будто он встретил своего героя. Могу сказать, что я и сама испытывала то же чувство. Меня так и тянуло поделиться с мстителями своей тайной: сказать, что я благодарна им за мое спасение, но нужды в этом не было. Если кто и рисковал жизнью, так это Феликс. Но в воздухе уже витали планы на будущее.

– Полагаю, мучителей у вас было изрядно, – проговорил Генрих. – Не слишком ли вы замахнулись: отомстить им всем?

– Нам нужен лишь один, – ответил Феликс. – Йозеф Менгеле…

– Малы еще убивать, – перебила девушка.

– У меня на глазах живьем вскрывали моего брата, – огрызнулся Феликс.

– Оно вас уничтожит. Я имею в виду убийство. Посмотри на нас. Мы – конченые люди.

Я хотела опровергнуть ее утверждение, сказать, что по ним этого никогда не скажешь. Наоборот, от них исходит свет, какого я не видела с довоенной поры. Но Феликс не унимался, как будто испрашивал у них благословение нашей миссии.

– Мы с братом – близнецы. Когда нож вонзился в его тело, он вонзился и в меня.

– Силенок у вас маловато, – фыркнула Фритци.

– Этот нож вонзается в меня каждый день, – не успокаивался Феликс. – И я покуда жив.

Генрих и Фритци переглянулись. Вы не удивитесь, если я скажу, что между ними каждая возникшая пауза заполнялась любовью?

– Лады, – изрек наконец Генрих. – Никто не имеет права препятствовать намерениям свободного человека.

Так началось наше обучение. Целый час Генрих инструктировал нас, как правильно стрелять из револьвера. В качестве первой мишени я выбрала пятерку фарфоровых ангелочков на каминной полке. Даже ангелы не избежали моего гнева: они годами безучастно смотрели на гибель детей. Первый ангелок послушно взлетел в воздух. Потом курок взвел Феликс. Ангелочки один за другим отправлялись в небытие. Прикончив по две фигурки, мы повернулись лицом друг к другу: каждый боролся с искушением взять на себя последний выстрел. Трудно поверить, но эта пальба вовсе не казалась нам варварством.

– Он твой, – сказали мы одновременно.

Мстителей поразила наша вежливость.

– Хватит вам, заканчивайте! – дружно прокричали они.

Феликса не пришлось просить дважды: он с большим удовольствием прицелился в последнюю статуэтку, и когда ее разнесла пуля, наши новые знакомые закинули свои мешки за плечи.

Нам, конечно же, хотелось, чтобы фигурки не кончались, чтобы мы могли стрелять по ним вечно, чтобы наши новые знакомые остались с нами и увидели показательную казнь безделушек. Но парень с девушкой определенно решили идти своим путем.

Чтобы нас приободрить, они помогли нам вооружиться посолиднее и заговорили с нами как с равными. Пусть нехотя, но Фритци позволила нам оставить себе револьвер. Генрих протянул мне снятый со стены тесак.

– Тяжеловат, – заметил он.

– Управимся, – заверил его Феликс и подскочил ко мне.

Проверив заточку кончиком пальца, он, недолго думая, выхватил у меня из рук холодное оружие:

– Этот тесак забудет все, что успел сотворить. Я отправлю его в новый путь – в сердце Менгеле. А если не в сердце, то в живот, а не в живот, так в спину.

Слова Феликса развеселили наших друзей. Они попытались это скрыть, но безуспешно. Если они подумали, что мы шутим, то решили поучаствовать в нашей комедии до самого финала, потому как Фритци наклонилась ко мне и протянула сложенную лодочкой ладонь. Сперва я подумала, что там у нее жемчужина. Однако меня подвел изуродованный глаз. Присмотревшись получше, я разглядела пастилку. Она, как объяснила Фритци, убьет на месте любого, кто ее проглотит. Величиной с горошину, в коричневой оболочке, она содержала смертельный яд: концентрированный раствор цианистого калия. Фритци сунула облатку мне в ладонь и сложила мои пальцы в кулак. Она посоветовала подбросить яд в еду или питье Менгеле перед каким-нибудь тостом, чтобы выпустить силу, которая убьет мозг и остановит сердце.

Я была потрясена. Сама смерть у меня в руке! Призванная скользнуть в глотку Менгеле во имя возмездия. У этой пастилки есть сила, которой нет у меня. И сила эта превосходит мой хлебный нож, а возможно, и новенький пистолет Феликса, и тесак. В моем понимании такая пастилка могла соперничать с заколдованным шприцем Менгеле. Хотелось только верить, что она не подчинит меня себе, как игла шприца подчинила себе Менгеле.

Я покатала облатку на раскрытой ладони, ожидая, что она закрутится жуком. Мне казалось, она живая. Машинально я поднесла ее на ладони к уху: послушать, что она говорит. Я всегда буду сильной, прошептала она. Во мне хранится безбрежная справедливость.

У нее был голос Перль. Или мой? Неужели мы до сих пор существовали в одной тональности, даже теперь, когда она взяла на себя роль покойной, а я – обездоленной?

Я едва не спросила у таблетки, что она имела в виду, но заметила, что все глаза устремились на меня. Феликс покраснел, когда я перехватила его взгляд, и поспешил отвернуться, будто стеснялся нашего с ним родства. Мстители усмехнулись моей рассеянности.

– А труп? – Феликс не знал, как с ним быть.

– Сами решайте, – на ходу ответили соратники.

Они торопились вернуться к истреблению врагов. С порога мы видели, как они садятся в машину с чистым и блестящим багажником; со стойки жалко свисал нацистский флаг. Вместо «до свидания» они призвали нас к возмездию: «Месть!» И были таковы. Их возглас растворился в сизых клубах выхлопного газа. Эти двое уже были не с нами – они вернулись в царство оборотней, которые под прикрытием воздают отмщение при каждом удобном случае.

Мы постояли в дверях, а потом вспомнили про труп на полу. Поглядели на печку, на кладбище ангелов.

– А дальше что? – спросил Феликс, бросая в огонь фарфоровое крылышко.

Нас обоих осенило. Идея мерцала в нем, но разгорелась во мне. При помощи черенка от метлы мы подожгли занавески. Хибара жаждала огня и отдалась языкам пламени. Искры птицами взмывали ввысь и долго мерцали в ночи. У нас на глазах огонь пожирал тряпицу, стол, каминную решетку – все. Когда пламя подобралось к мертвому телу, венком ложась на седые виски, мы ушли не оглядываясь. От увиденного во мне проснулся страх перерождения. Я едва поспевала за Феликсом, тащившим наш новый арсенал. Сквозь сугробы мы вернулись к сараю, который почему-то сулил покой и отдых. Нас приветствовал Коняшка: как видно, почуял, что без него нам никак. Оценил вес тесака, пистолета, съестного – и еще раз удостоверился, что без него мы не справимся. В конце-то концов, кто, как не он, мог искупить кровавые злодеяния хозяйки; он был обязан помочь, он настаивал.

– Старенький, – с сожалением произнес Феликс, поглаживая конский бок. – Лучше его съесть.

– Кто из нас его забьет? – поинтересовалась я.

Наверное, Фритци оказалась права: убийство – это не про нас. У меня оставался вопрос: какова мне цена, если я даже за сестру отомстить не могу?

Верхом мы продолжили путь через лесной валежник навстречу будущему, не зная наверняка, примет оно нас или нет.

Перль

Глава шестнадцатая. Великое переселение

День первый

Пока мы продвигались на восток, в сторону Кракова, мне пришлось заново открыть, что такое день. На марше я наблюдала, как на небосводе меняются местами Солнце и Луна, перенимая друг у друга пост и обязанности.

Солнце принимало на себя голод, бесконечные мили, опухшие и сбитые ноги. Луна принимала на себя ночные кошмары, скользкую дорогу, взорванные рельсы – все преходящее. Трудно сказать, которому из светил досталась ноша тяжелее. Помню только, что свет лился постоянно – то от одного, то от другого.

– Смотреть вперед, – напоминал Отец Близнецов. – А по сторонам за вас буду смотреть я.

И все смотрели вперед, только вперед. Я же видела лишь то, что вверху: меня уложили в тележку, завернули в драповое пальто, поверх него накинули овчину, а поверх еще одну – словом, погрузили до самых глаз в какое-то чрево. Сверху ложилась простыня холодного воздуха, кусался мороз, а в зимнее небо облачками поднималось мое дыхание. Я наблюдала, как эти облачка плывут прямиком к Мири, которая толкала мою тележку и потому становилась неотъемлемой частью неба.

Зачем нужны небесные светила, когда есть Мири? Для меня, унылой исковерканной планеты, она оставалась и Солнцем, и Луной одновременно.

Мы делали все возможное, чтобы командир нашего каравана был нами доволен, и старались вести себя по-солдатски, как он нам наказывал. Какие-то отряды шагали с песней, а мы с самого начала двигались молча, без слова, без звука. Потому что любой звук, твердили мы про себя, может привлечь какого-нибудь злодея или по меньшей мере доведенного до крайности бедолагу. С такими мыслями мы нервно, по-паучьи скользили по разбитым дорогам.

– Как она? – раздался мальчишеский голос.

Мири кивком привлекла мое внимание.

– Перль, знакомься, это Петер, твой друг. У него много друзей. Так ведь, да, Петер?

Петер подтвердил. Во всяком случае то, что мы с ним друзья. Но об остальных своих друзьях распространяться не захотел, поскольку их большей частью…

Мири перебила его.

– Лучше, Петер, поведай-ка нам о себе, – предложила она. – Во всех подробностях.

Петер сказал, что родители его погибли. Что ему четырнадцать лет. Что в Освенциме…

– Полно, угомонись. – Мири вновь не дала ему договорить. – Просто объясни, кто ты такой, чем занимаешься.

Петер шумно сглотнул. И сообщил, что однажды украл рояль…

– В этом весь Петер, – вклинилась Мири. – Умен не по годам, и это порой ему не на пользу. Хотя отзывчив, легок на услугу. – И добавила: – Наверное, у тебя и недостатки есть, правда? Но что-то припомнить не могу.

Я заметила, что Петер глазеет на меня с жалостью. Возможно, это и был один из его недостатков: бесцеремонность.

– Ей лучше, чем можно было ожидать, – пояснила Мири. – Только память не возвращается.

– Неужели совсем ничего не помнит? – усомнился Петер и настороженно замолчал.

– А ты посиди в клетке, – зашептала Мири, но я тем не менее слышала каждое ее слово, – да еще в кромешной тьме. Время от времени тебя будет сверху ощупывать чужая рука. Изредка она же будет бросать тебе еду. Сущие крохи. Тебя будут слепить фонарем, оглушать звонками, поливать водой…

Мири не смогла заставить себя рассказать все открытым текстом. Я заметила, как она вцепилась в рукояти тележки. Петер спросил о цели таких опытов.

У Мири нашлось единственное объяснение: Менгеле хотел узнать, что будет, если разлучить двух сильно привязанных друг к другу близнецов.

Несмотря на всю свою примитивность, объяснение было верным. Впрочем, со своей стороны, я могла предложить Петеру еще один вариант: меня заточили в клетку потому, что я слишком сильно любила. У меня было невероятно мощное единение Кое-с-Кем, и наш тюремщик сгорал от зависти. Холодный и пустой, он был не способен к привязанности – ни сыновней, ни супружеской, ни отеческой. Им двигало одно лишь тщеславие, и этот пустозвон, как и многие другие, ему подобные, надумал прославиться. И вот как-то раз ему пришел в голову простейший способ оставить свой след в истории: установить, что получится, если разлучить близнецов, которые чересчур сильно друг друга любят. Сказано – сделано. Меня бросили в клетку, а ее… Ее судьба была мне неизвестна. Помню, он стреножил меня, как животное, которое хочется оставить себе, но без лишних хлопот.

Пока я мысленно выстраивала эти доводы, передо мной всплывало лицо палача. Я не могла выдавить ни слова. Чтобы избавиться от ненавистного видения, я спросила о моей Бесценной. Клин клином вышибают: я постаралась вызвать в памяти совсем другое лицо, и если бы это удалось, то, возможно, образ живодера покинул бы меня навсегда.

– Мы с ней были похожи? – задумалась я вслух.

– Как две капли, – подтвердила Мири.

– А где она сейчас?

Я знала, что такое марши смерти. Я слышала, какой переполох начался при вторжении советских войск и сколько было жертв. Но Менгеле – это чудовище не поддавалось описанию. Моя Бесценная – уникальная личность, и Менгеле определенно это знал. Не прихватил ли он ее с собой? У меня в голове крутились разные возможности, одна страшнее другой, а потому надеяться на лучшее не стоило, но Мири убедила меня в обратном.

Эти жуткие возможности она не рассматривала. Но во взгляде у нее появилась тоска, всколыхнулась скорбь, и стало ясно, что из всей нашей семьи выжила я одна. Отчаянно пытаясь сменить тему, Мири подключила Петера к рассказу о местах и предметах, составлявших тот мир, куда мы стремились вернуться.

Сама она перечисляла пространства и здания. Взять хотя бы парк, говорила Мири. Открытое пространство, где можно устроить пикник. А пикник – это когда люди выезжают на природу с провизией. Или музей: это здание, где выставлены картины и статуи. Или храм: туда ходят помолиться.

А Петер делал упор на отдельные предметы. Телескоп, дескать, нужен, чтобы разглядывать звезды. Часы – чтобы показывать время. Лодки… это такие средства передвижения… ну вроде телеги, только перемещаются по воде. А еще бывают музыкальные инструменты, добавил он, будто для меня это несло особый смысл, – хотя бы рояль.

Название этого предмета возникло уже вторично. Для меня оно было пустым звуком, но я не возражала: пусть повторяет сколько угодно – мне нравилось, как Петер и Мири в деталях объясняли мне мир.

При желании я могла бы поправить многие лишние детали, но воздержалась: на то были свои причины.

Во-первых, объясняя мне мир, оба получили удовольствие.

Во-вторых, я при этом обретала целостность.

Кстати, от меня не укрылось, что в тот вечер ни один не сделал попытки описать мне железнодорожный вокзал, когда мы оказались на опустевшем перроне. Отец Близнецов решил, что его маленькой армии необходим привал. Укутавшись каким-то рваньем и соприкасаясь боками, все ребята провалились в сон; одна я лежала в своей тележке, как младенец-переросток в грязной колыбели. Мири устроилась рядом прямо на полу, даже во сне сжимая край тележки. То тут, то там кто-то мерно сопел, и я попыталась распознать, как храпит Петер, но среди этих звуков услышала один поважнее.

Мой слух уловил ночной кошмар Отца Близнецов – тот во сне защищался, бормоча: кому нужна такая глупость – создавать близнецов на пустом месте? Заслышав его протест, я уже стала думать, насколько вообще безопасны сновидения? И удалось ли мне скрыть их от изверга в белом халате? Чтобы немного себя приободрить, я его переименовала. Отныне он у меня звался Никто.

– Прощай, Никто, – шепнула я, понимая, что веревка, которая меня стреноживала, навсегда останется при мне, даже если я сумею сделать хоть один шажок.

День второй

Настало утро, но поезда по-прежнему не ходили. А солнце опять нас подвело. Кто на своих двоих, кто на тележке, мы продолжили путь. И в тот же день стали понемногу распеваться, но с заминками и с жаркими спорами насчет выбора песни.

Песни Отца Близнецов, бывшего офицера, не очень-то подходили. Песни Мири оказались чересчур серьезными, романтическими и печальными. И только одна, «Изюм да миндаль», пришлась по душе всем, потому что в ней пелось про сласти. Эта колыбельная сама собой приходила на ум каждому, и мне даже стало казаться, что лежу я не в тележке, а у мамы на коленях. Мы пели:

Уголок за люлькою нашла

Козочка пушистая, вся бела.

Только за окошком рассветет,

Козочка на ярмарку пойдет.

Принесет, коль грошиков ей не жаль,

Нашему малютке изюм да миндаль.

Спи, малютка, спи.

После третьего повтора этой песенки нас окружила добрая дюжина женщин, которые скоротали ночь на лесной опушке, прислонясь к деревьям.

Одна из них спросила:

– Последние из Освенцима? Мы ждем своих детей. – И помрачнела. – Стоит ждать дальше? Есть хоть малейшая надежда?

– Кое-кто еще остался, – уклончиво ответил Отец Близнецов.

Женщина кивнула, пытаясь скрыть волнение.

– И дети?

– Да, группа детей по-прежнему находится в лагере – он взят Красной армией. Здесь всего тридцать пять человек, включая меня.

По лицу женщины было видно, как ужаснулась она такой ничтожной цифре, как пошатнулась ее вера.

– Среди вас есть Хирам? Мальчик из России.

– Да, есть. – Отец Близнецов повернулся к детям. – Хирам! Два шага вперед.

Из строя вытолкнули какое-то создание, похожее на мальца. А следом – его тезку. Внимательно присмотревшись, женщина рухнула на колени.

– Моего тут нет, – зашептала она. – Моего тут нет.

Наступила гробовая тишина; все замерли. Казалось, материнская скорбь, смешанная с болью, придавила всю нашу колонну, и мы осмелились пошевелиться лишь после того, как женщина поднялась с колен, отряхнула юбки и поплелась на свое место под деревом.

– Постойте! – окликнул ее Отец Близнецов. – Дети – они ведь рисуют других детей, понимаете? Увидят, что где-то мелькают им подобные, и вроде как забывают страх. Присоединяйтесь к нам. Может статься, ваши ребятишки заметят нашу колонну, а вы уже тут.

– Я оставляю надписи где только можно, – ответила женщина.

Она кивнула на заветный ствол. Я предположила, что на нем вырезаны имена ее детей, но прочесть не сумела: букв было не разобрать. Наверное, нож оказался тупой, да и рука сильно дрожала.

– Только этого недостаточно, – продолжила она. – Кто может поручиться, что они вообще заметят мои каракули?

Мне хотелось заверить ее, что дети, бывшие узники, читают все подряд. Хотелось рассказать, как я сама, лежа в тележке, пыталась прочесть хоть слово, какое угодно, чтобы только стереть из памяти слова, выкованные над воротами лагеря, покинутого нами двое суток назад. Хотелось надеяться, что имена детей смогут перебороть силу надвратного девиза, но для этого они должны быть выписаны четко и разборчиво. В этом-то и заключалась главная ошибка той женщины: оставленное ею послание было едва заметным, а потому слабым, и каждая буква в нем показывала капитуляцию ее воли.

По доброте душевной Отец Близнецов не стал критиковать ее бесполезную надпись и аккуратно углубил каждое словечко своим ножом. Покончив с этим делом, он взял ее узел и махнул рукой, приглашая влиться в нашу колонну.

– А мои п-п-подруги… – запинаясь, выдавила женщина. – Как же они?

Взглянув на вернувшихся под деревья женщин разного возраста и накала страданий, Отец Близнецов жестом показал, что мы примем их тоже. Единственное, о чем он попросил, – это чтобы каждая внесла свои данные в его список для упрощения согласований с местными властями при прохождении нашей колонны.

Женщины повскакали на ноги, и мы увидели, что на каждом дереве осталось имя, воззвание. Они бы изрезали все стволы в лесу, если бы только хватило сил. Никогда еще я не видела Отца Близнецов таким взволнованным. Но он быстро привел себя в чувство и пустил по рукам список. Вскоре колонну уже замыкали примкнувшие к нам женщины. Некоторые пытались окружить нас заботой, но мы вежливо сопротивлялись. Так и хотелось им сказать: мамы у нас и так есть. Свою, например, я вспоминала ежеминутно. Думала о ней, молила ее и зайде показать мне образ моей Бесценной. Но ответа не было. Неужели их отняла у меня смерть? Или же они так тревожились за мою будущность, что даже не могли толком порадоваться моему спасению? Мои пальцы забегали по лицу, чтобы запомнить мои черты, а значит, и черты моей Бесценной, но нашли только множество шрамов да глаза, которые слишком многое повидали.

Вокруг нас толпами кишели беженцы – сплошные лица и тела. Каждый жив, каждый кого-то ищет, и все не мои. Неужели той, кого искала я, уже не было в живых? Я задала свой вопрос Солнцу, Солнце посоветовало спросить у Луны, заметив, что неудобные вопросы – это по ее части. Думаю, от моего вопроса Солнце слегка заюлило. Оно отвернулось, и вслед за тем меня накрыла тьма. Но оказалось, это Петер своей ладонью заслонил мне глаза, пытаясь оградить от шока.

– Не смотри! – приказал он.

Время от времени ему доверялось толкать мою тележку. Я дернула головой, скинув щиток его ладоней. Мне хотелось увидеть, на что смотрел он сам. Судя по его тону, где-то впереди ждал ужас. Собственно, так оно и было.

Поодаль в кювете лежало тело. Вернее, то, что от него осталось.

– Говорил же тебе: не смотри, – буркнул Петер.

– Это она, – прошелестела я.

– Ничего похожего, – отрезал он.

А сам, вопреки настоянию Мири, развернул тележку и подвез меня к обочине, чтобы я удостоверилась.

Мужчина это или женщина, я так и не поняла. Возраст тоже не поддавался определению… голова изуродована: ни лица, ни скальпа, а вдобавок кто-то отрезал покойнику ноги, наверняка из-за сапог. У русских сапоги в сто раз лучше. Это сказал Петер, когда понял, что я не собираюсь отворачиваться. Он добавил, что именно отличное качество сапог заставляет немцев отбирать у русских обувь самым непотребным способом.

– Теперь убедилась, что это не твоя Бесценная? У твоей Бесценной и сапог-то никогда не было.

Я постаралась утешиться этими словами. Но не смогла. Неужели моя Бесценная в такой мороз ходит босиком?

– Смотреть вперед, и только вперед! – скомандовал Отец Близнецов.

– А как она выглядела? – обратилась я к Петеру.

– Так же, как и ты.

– Я не знаю, как выгляжу.

– Спорим, ты похожа на свою маму, – ответил Петер. – Помнишь хотя бы, как она выглядит?

Я не могла вспомнить, разве что в общих чертах. Решила, что приберегу этот вопрос для Луны. Близились сумерки, а значит, и ее восход. Тянуть с вопросом смысла не было, хотя мне казалось, что ответ будет одним и тем же для всех нас: все мы похожи на смерть – бледные, изнуренные, с ввалившимися глазницами и стертыми, неразличимыми чертами. Доживем ли мы до того дня, когда обретем себя вновь, – вот вопрос, и я беспрестанно задавалась им до самого привала.

К вечеру мы набрели на каменное строение в лесу. Для дома слишком маленькое, для приюта слишком большое. На полу валялись созвездия из зубов. В помещении стояло четыре мраморных ложа. У каждого была крышка, но только у одного из них закрытая. В трех остальных просматривалась лишь кромешная тьма.

– Саркофаги, – с ходу определил Отец Близнецов.

Строение это служило подобием склепа. Три захоронения из четырех кто-то разорил: не то наш собрат-беженец, не то мародер, алчный до богатства покойников. В углу желтела челюстная кость – беззубая, немая, окаменелая свидетельница давних событий.

Хотя мы не относились к постоянным посетителям, эта обитель мертвых охотно предоставляла ночлег таким, как мы. Отец Близнецов расчистил пустые гробницы от листвы и мусора. В каждую поместилось двое детей. На крышке четвертой гробницы растянулся Петер и сладко зевнул. Из своей тележки я сквозь открытую дверь наблюдала за восходом Луны, но ответа не дождалась. На улице белыми кулачками падали с неба дрожащие легкие снежинки.

День третий

Поезд с легкостью перенес нас на три мили в сторону Кракова. Я смотрела в окно: дороги заполонили беженцы, возвращавшиеся домой фермеры, бредущие в неизвестность красноармейцы. Мерзлые поля были изрыты гусеницами танков. Вскоре мы оказались в деревне, которую война обошла стороной: об этом говорил ряд целых и невредимых сельских домов, прямоугольных и белых, словно кубики рафинада. Следы траков заканчивались как раз там, где начинались дома. Из поезда нас высадили. Когда Отец Близнецов закончил перекличку и сосчитал всех по головам, рядом возник высоченный, свирепый русский солдат, с потным от усердия лицом.

– Свиньи! – проорал он. – Свиньи!

И грозно замахал руками, одна из которых сжимала винтовку. На сером лице лиловыми ранами – а может, слабо пришитыми пуговицами – выделялись глаза. Наша неровная колонна двигалась вперед, а он горланил одно и то же:

– Свиньи! Стоять, свиньи!

Отец Близнецов объявил привал. Такое бывало редко, но сейчас его охватил ужас; выглядел он словно сейчас сложится внутрь себя и исчезнет. Неужели нас ждет такой конец? По его лицу можно было догадаться, что сейчас он задает себе именно этот вопрос.

Направляясь к горлопану, он держал в вытянутой руке свой список. Бумага дрожала почище, чем от порывов ветра. Но солдат даже не удосужился взглянуть на длинный перечень имен. Он просто вскинул винтовку и прицелился. Средние дети попрятались за спины малышни. У Мири затряслись руки, впившиеся в рукояти тележки. А мы стояли и смотрели на солдата, пока не раздался выстрел. Пуля прошла значительно левее дороги.

На нас с возмущенным видом, хрюкая и повизгивая, неслась пара здоровенных кабанов, пятнистых и круглых, как бочонки, и с пеной на рылах. Солдат прервал их забег: для начала он прострелил им передние ноги, а затем пустил каждому пулю в голову. Нам оставалось только смотреть, как эти туши утопают в снегу с какими-то младенческими стонами и всхлипами.

К виду окропленного красным снега нам было не привыкать. От вида крови никто не грохнулся в обморок. Но из-за этой расправы что-то в нас надломилось, и многие беззвучно заплакали, как научились в лагере. Дети бились в истерике, а потом София, крохотная четырехлетняя девочка, наделенная царственными манерами, неуклюже повалилась на землю и, вопреки своему обыкновению, разразилась диким воплем – она рыдала за всех. Солдат покосился на нее в недоумении: мол, с каких это пор голодные девчонки воротят нос от такого изобилия? Он опустил винтовку, победоносно кивнул в сторону туш и пожал руку нашему командиру. Да, стоит сказать, что в этот вечер все, и взрослые и дети, отлично поужинали, напрочь забыв о том, что такое голодное урчание в животе, хотя я не могла забыть панику в глазах зверей, даже когда утоляла голод их плотью.

В тот миг мне захотелось, чтобы у меня вообще отшибло память, насовсем.

С наступлением темноты нас откуда-то с обочины позвал фермер. Сперва мы видели только его бороду, мирно белевшую во мраке. Он предложил нам заночевать у него в сарае. Отец Близнецов, хотя и намеревался как можно скорее добраться до Кракова, который, по слухам, пострадал очень незначительно, не смог упустить такую возможность, тем более что его армия заметно сдала. Кляйны канючили на каждом шагу, Боровские жаловались на холод. У Петера башмаки прохудились настолько, что голые пальцы ног торчали наружу.

И что еще хуже, Давид Хершлаг слег окончательно: мальчишеский желудок не справился с такой тяжелой пищей. Тощий живот сильно раздулся, будто лопался от яда. Последние десять миль Отец Близнецов и без того нес его на руках. И хотя наш командир всегда проявлял осторожность в отношении сельских жителей, он с благодарностью согласился на предложение старика-фермера.

Мы благоговейно вошли в сарай, где обитала только стая кур-пеструх, распространявшая свои куриные запахи. Тут и там белели кладки яиц. В сарае было тепло и живо, костлявый петух разгуливал туда-сюда, гоняя грудастых несушек. Для кур наше вторжение не представляло никакой опасности, поскольку мы запаслись свининой, и, когда все, кроме Давида, наскоро поужинали во второй раз, Отец Близнецов отправился в угол сарая и попытался вздремнуть, а Мири тем временем переходила от ребенка к ребенку, делая перевязки, растирая ноги и давая напиться из фляги.

После каждого обхода она возвращалась к Давиду, который в поту и ознобе лежал на соломе. В тревоге переглянувшись со мной, Мири попросила Петера помочь устроить Давида поудобнее. Петер соорудил надежное гнездо, выстелил его моим шерстяным одеялом и бережно, словно драгоценное яйцо, перенес туда мальчонку. Тот силился улыбнуться… а потом уставился на потолочные балки, созерцая какое-то невидимое нам зрелище, и Мири вновь завела «Изюм да миндаль»:

Спи, малютка, спи.

Она по-птичьи перегнулась через край гнезда и тихо баюкала Давида, создавая для него какую-то иллюзию покоя.

День четвертый

Наутро мы увидели, что Отец Близнецов стоит на коленях. Он нагнулся над фигуркой в соломенном гнезде, взял ее за плечи и начал трясти, словно пытался разбудить от глубокого сна. По тому, как наш командир держал мальчика, мы догадались, что Давида больше нет: вместо него осталась только бренная плоть.

– Цви, – вполголоса обратилась к нему Мири, – ты их напугаешь.

Она и сама была убита этой потерей. А Отец Близнецов не останавливался. За ночь детское тельце изменилось. Я узнала его только по той примете, которая, собственно, и стала причиной смерти: по вздутому как шар животу.

Мири положила руку на плечо нашему командиру, но тот был безутешен. Он вытаскивал перья из волос уснувшего вечным сном ребенка и причитал, как будто напрочь забыл про свою армию и остался наедине с мертвецом, который – единственный – мог его слышать.

– Надо было создать еще с дюжину пар ложных близнецов, – спокойно проговорил он и посмотрел на Мири, прося поддержки.

– Девятнадцать, – шепнула она, – ты создал девятнадцать пар.

– Девятнадцать, – эхом повторил Отец Близнецов. – Но ведь Давид и Арон… они же были самыми первыми.

Мири кивнула и сняла пальто. Она хотела накрыть тело мальчика, но Отец по-прежнему сжимал его в объятиях.

– Поначалу они не умели лгать. Совсем крошки – четыре года и пять лет. А я даже голландским не владел – других языков они не знали – и потому не мог внятно объяснить, что от них требуется. Каждое утро перед построением я твердил им: вы – близнецы! Заставлял их повторять это снова и снова, выдумал для них день рождения, внушил, что Арон родился первым, а Давид вторым. И разницу в возрасте – целый год – ужал до пяти минут.

Он провел пальцем по веснушчатой переносице мальчугана, прямо как Менгеле во время своих замеров.

И тут я перестала слушать Отца Близнецов. Не могла вынести того, как он выворачивал душу. Сколько раз, всхлипывал он, ему хотелось зажать Менгеле в углу лаборатории, выложить ему, что все его исследования – фальшивка, что они – туфта, идиотизм, который с легкостью был развеян враньем малолетних! Да, Менгеле в ту же секунду мог бы его пристрелить. Однако, продолжал он, лучше умереть от пули, нежели заниматься спасением детей, чтобы потом увидеть, как они гибнут.

Побледнев, Мири пыталась отделаться от лишних ушей. Преувеличенно звонким голосом она убеждала нас пойти и предложить фермеру свою помощь. Мы нишкнули. Даже куры прекратили кудахтанье. Я попробовала проследить траекторию от все еще открытых глаз мертвого ребенка до стропил на потолке. Что же он там увидел, покидая нас? Мне самой еще не доводилось умирать, но случалось подходить вплотную к смерти, и таких случаев набралось достаточно для понимания того, что Давид смотрел на крохотное отверстие в потолке, сквозь которое сверкала одинокая звездочка.

– Не стоит их обманывать, – вдруг твердо и хладнокровно проговорил Отец Близнецов.

В нем снова проснулся солдат. Он вытер глаза рукавом и поправил оторванный воротник на фуфайке Давида.

– Дадим им возможность проститься.

Мы сгрудились вокруг мальчугана, павшего от пищи, которой он так долго был лишен. Лицо его исказила боль. Отец Близнецов взял Давида на руки и понес на пастбище по примороженной, распаханной под пар желто-бурой земле. И холодная, неподатливая почва все же раскрыла свои объятия и приняла тело. Все прошли по краю могилы; каждый принес с собой камешек.

Но у жены фермера были свои понятия. Она принялась разбрасывать на могиле семена мака.

– На пропитание покойному, который будет прилетать сюда в облике птицы, – объяснила фермерша.

Мелкие зернышки взмывали в воздух и падали на мерзлую землю. Не знаю, почему этот обряд был мне так дорог, но когда их разбрасывали, я вроде как и сама уменьшалась. Их крохотные жизни уже вмерзли в лед, но не успели мы развернуться, чтобы идти к себе в сарай, как я услышала хлопанье крыльев: слишком нетерпеливая птаха прилетела поживиться богатствами, рассыпанными по случаю смерти Давида.

В кузове фермерского грузовика мы расселись вдоль деревянных бортов. Отец Близнецов покрасневшими глазами смотрел на мятый листок, водя указательным пальцем по списку имен.

Мы помахали на прощание жене фермера (та еще держала в руке мешочек мака) и шести матерям, решившим задержаться на ферме в надежде увидеть своих детей, которые вот-вот придут за ними следом в отчаянном марше. И все же они всматривались в наши лица, дабы напоследок удостовериться, что их любимых среди нас нет.

Грузовик завелся, просигналил клаксон, и мы тронулись в сторону Кракова; я услышала, как Мири шепчет ветру имя Давида. Она произнесла его нежно, словно отсюда Давид мог слышать ее там, где он лежал, глухой ко всему, под мерзлой землей.

– Прости меня, – шепнула Мири.

Загадочно: ведь ее вины в смерти Давида не было. Мири заботилась о нем до последнего. И эта непонятная, таинственная мольба задела меня за живое.

Весь мир, наверное, жаждал мести.

Что до меня, то я хотела простить. Мой мучитель никогда бы не попросил у меня прощения, но я чувствовала, что прощение – это единственная возможность, которая у меня осталась, единственный шанс отрезать его от себя, единственная сила, присутствие которой я ощущала, просыпаясь по утрам. И если я сумею, если возьму на себя смелость простить, тогда, быть может, моя Бесценная ко мне вернется. И по меньшей мере я перестану видеть ненавистный облик палача в каждом встречном, живом или мертвом.

Стася

Глава семнадцатая. Глядят на нас руины

Конь взбрыкнул. С каждой милей нашему доходяге-спасителю приходилось все тяжелее и тяжелее везти нас двоих. Если бы кто-то увидел, как жеребец с огромным трудом пытается идти галопом, то подумал бы, что даже парнокопытное жаждет священного убиения Йозефа Менгеле. Однако до Варшавы путь был неблизок.

Через два дня нам преградили дорогу танковые колонны; мы поневоле развернулись и по причине отсутствия выбора оказались в Познани. Город нашего дедушки: здесь он преподавал в университете. «Познань, – любил говаривать зайде, – это алмаз преданности науке, кузница величайших умов, поклонников искусства». Впрочем, теперь здесь преподавали одну жестокость, и ничего более. Солдаты вермахта прохаживались по городу; пустынные улицы то и дело оглашались предупредительными автоматными очередями и отголосками немецких песен, грубых и вульгарных, – так нацисты собирались с духом перед наступлением русских.

Опасаясь, что эти вояки могут отвлечься от своих песнопений и попробовать развлечься пыткой Коняшки и двух беженцев, нам пришлось спешиться и максимально слиться с местностью. Феликс взвалил на себя наши котомки, а я вела под уздцы Коняшку. Пробираясь гусиным шагом по улице, заваленной фонарными столбами, напоминавшими выкорчеванные сорняки, мы избежали встречи с серыми мундирами, однако наткнулись на беженца, который, завидев нас, стал тянуть руку.

Этот незнакомец посчитал нас достаточно состоятельными, способными поделиться с ним продуктами или звонкой монетой. Однако у нас был свой интерес.

– Кусок хлеба взамен на дату, – огласил условия сделки Феликс.

– Февраль, – ответил попрошайка. – Число шестое или седьмое. Мне бы горбушку. – И продолжил: – Знайте: русские идут. Бегите из города немедля. Мой вам совет. И заметьте… – он откусил еще, – за эти сведения доплаты не требую!

С этими словами он заковылял прочь, а мы остались гадать, что за строение маячило позади.

Оказалось, это самый настоящий старинный музей, только с обрушенными стенами, зазубренной кирпичной кладкой, разновысокими колоннами. Уцелевшие оконные проемы зияли дырами, некоторые были затянуты грязной пленкой. Величественный портал не выдержал штурма, и сквозь рваную брешь я мельком увидела развалины зала. Можно было подумать, внутри нет ничего, кроме обломков. Но, заглянув еще дальше, в собственную память, я смогла увидеть прекрасное здание, где бродят дедушка и Перль, а я поспеваю следом. У меня на глазах моя семилетняя сестра приподнималась на цыпочки перед каким-то полотном, а зайде объяснял ей, что такое перспектива.

Память – вот что привело меня в этот музей.

Солгав и себе, и Феликсу, я сказала, что внутри могут найтись кое-какие припасы. Если честно, припасы меня не интересовали; главное – что внутри рядом со мной окажется зайде. Я даже услышала, как он насвистывает. Я даже втянула носом запах нафталина от его пальто.

Итак, верхом на коне, с высоко поднятой головой, мы приготовились к восшествию в эти руины. Коняшка предельно аккуратно поднимался по крошеву ступеней, и в сумеречном свете его белые бока отливали серебром. На расколотом мраморном пороге у него разъехались передние копыта, он едва удержался на ногах, и жалобное ржание эхом прокатилось по разрушенному вестибюлю, после чего Коняшка, по своему обыкновению, собрался с силами и двинулся дальше.

В музее положено висеть картинам. На них можно увидеть реальность и вымысел, пейзажи, людей. Но в этом музее реальность свелась к одним лишь руинам. У нас над головами через прореху в скате крыши ураганом вылетела стая черных голубей. Разверзнутый пол грозил нас поглотить. На уцелевших островках стояли черные лужи. Сквозь щели в стенах с содроганием пробивался последний свет дня. Из нор проповедовали крысы.

– «Блаженны крысы, ибо они утешатся кровию», – нараспев провозгласил Феликс. – Так сказал бы сейчас мой отец-раввин.

Словно разгневанные такой заповедью, крысы прибавили громкости.

– Разворачиваемся. – Феликс содрогнулся. – Так сказал бы мой брат. Разворачиваемся!

Но разворачиваться я не стала, потому как среди этих обломков меня ожидал настоящий клад. Здесь сохранились дедушкин сочувственный образ мыслей, его воля, его наука – все, что он любил. А то, что любил зайде, нельзя ни разбить, ни сжечь, ни украсть. Это и было мое истинное наследство.

В этом варварском хаосе мы не теряли бдительности. Коняшка впотьмах поблескивал глазами. Ориентирами нам служили следы медной утвари, оброненные грабителями монеты, куски проволоки. Рассыпанный по полу гравий приоткрывал частицы древности. Наконец мы оказались в зале, где уцелела люстра. Коняшка заставил нас вздрогнуть, раздавив копытом фарфоровую чашку, и мы поняли, что здесь когда-то было очень приличное кафе, в каком мечтала посидеть, как культурная барышня, наша бледная подруга, пока Таубе не свернул ей шею.

Эти руины, как никакие другие, напомнили нам, что мы покамест живы, а нашей подруги больше нет. Из уважения к ее памяти мы спешились.

– Хочу выкупить еще один день для милой Бруны, – шепнул Феликс небесам.

Ветер не смог предложить ничего.

– Я не принимаю твоего ответа. – Голос Феликса опасно возвысился над шепотом. – Она была храбрейшей девушкой во всей Польше, а ты позволил бренному миру ее погубить.

Запрыгнув на пьедестал, лишенный статуи, он принял скульптурную позу, поиграл бицепсами и погрозил кулаком божеству, в которое верил. Глядя на сей памятник нашему гневу, я поняла, что мы еще дети, но дети небескорыстные, недобитые смутьяны, у которых от голода разыгрались неслыханные новые аппетиты. И невольно задумалась: а как же выглядят такие дети? Тогда я пошла бродить среди раскуроченных бархатных кресел в поисках какого-нибудь подобия зеркала. Но в беспощадной темноте осколки стекла не давали ни малейшего представления о внешности. Я что-то сказала Феликсу насчет таких густых сумерек, но ответа не получила. Заметив, что пьедестал пуст, я начала в панике озираться. Всякий раз, когда Феликс хотя бы на миг исчезал из моего поля зрения, меня покидали все чувства, кроме ощущения утраты. В ужасе я стала высматривать медвежью шубу.

Тут мне постучали мне в спину. Причем с музыкальным звоном.

А когда я обернулась, надо мной уже был занесен серебряный кулак рыцаря в доспехах. Кулак покачивался у меня над головой; пальцы в латной перчатке пронзали небо. Охваченная смятением, я подумала, что этот воитель прослышал о моем сговоре с Менгеле. Всей своей статью рыцарь свидетельствовал о любви к справедливости, а также о знании моих нечаянных преступлений.

От растерянности я не сообразила позвать Феликса. Я даже не сообразила, что скажу в свою защиту. А ведь можно было указать на мою высокую цель, на планы уничтожения Менгеле, заметить, что моей сестре тоже была обещана заветная инъекция.

Но вместо этого я рухнула на колени прямо в россыпь осколков и согнулась в поклоне, подставив голую шею карающей деснице. В такой смиренной позе я молила этого воина вынести мне самый суровый приговор, какой только был в его власти. Лучше уж смерть, объявила я, чем разлука с сестрой. Будь у меня побольше сил, я бы и сама себя убила, чтобы только перенестись к Перль!

– А вот я бы никогда не смог тебя убить! – раздался невероятно жуткий голос, подходящий для такого устрашающего спектакля.

Этот скрипучий голос, без сомнения, принадлежал Феликсу. Как такое возможно? Неужели я настолько отчаялась, что спутала своего обходительного друга, облаченного в доспехи, с божественной фигурой правосудия?

– Разыграть тебя хотел. – Феликс вопросительно смотрел на меня. – Думал, после наших злоключений посмеяться не вредно. Да вот только… – Он озадаченно покачал серебряной головой.

– …почему-то не смешно, – подхватила я.

К счастью, Феликс так увлекся своим приобретением, что продолжил этот спектакль. Он повернулся спиной, чтобы я могла получше разглядеть его в обличье летучего гусара, но доспехи громко скрипели и плохо держались. Панцирь болтался и хлопал поверх медвежьей шубы, а когда Феликс сделал шаг, коленный щиток отцепился и с грохотом упал на пол. Тем не менее мой дорогой друг заслуживал похвалы за свой свирепый облик.

Кроме шуток: я так и сказала, что выглядит он бесподобно.

– Будь я фрицем, от одного твоего вида я бы уже драпала в противоположном направлении, скидывая сапоги.

Феликс необычайно обрадовался. Жаль, что я не могла разделить его восторг: меня терзала душевная боль. Угадав мое настроение, Феликс решил ободрить меня с помощью другой находки, отрытой им среди камней и земли. В воздух взметнулась изящная фляжка. Схватив ее обеими руками, я глотнула. Внутренности обожгло огнем – это была не вода.

– Водка, – констатировал Феликс, забирая у меня фляжку. – Пойдет на обмен, да и нам самим тут хватит.

Он сделал большой глоток, и я поспешила отобрать у него находку. Но как только я завинтила крышку, до меня долетел голос дедушки, произносящего тост:

– За Перль – хранительницу времени и памяти!

Грешно было за это не выпить, и я разрешила Феликсу хлебнуть чуток вместо меня. Но он так не привык. Он привык себе не отказывать. Выпитая на пустой желудок водка быстро ударила ему в голову. Шатаясь как слабоумный, он сделал пару шагов и опрокинулся вместе с грудой серебра. Я испугалась, как бы мне не пришлось тащить его волоком. Но Феликс с явным отвращением стянул с себя доспехи и сумел взобраться на Коняшку, который недоверчиво покосился на хмельного седока.

– Ты же не усидишь на лошади, – ужаснулась я, но он и слышать ничего не желал.

А что еще нам оставалось? Только ехать. Городским патрулям не было дела до состояния тринадцатилетнего пацана.

– Ладно, – смирилась я. – Поехали.

Позади оставались руины, впереди всплывали далекие деревни. Увязая копытами в липкой грязи, Коняшка огибал черные на белом оспины проталин. Та же самая Луна, что равнодушно созерцала нашу неволю, осветила нам путь, но вскоре юркнула за облака. Суждено ли ей было пережить свой стыд? Я понадеялась, что нет. Быть может, во мне говорила мелочность. Но нас, голодных, изможденных, растерянных, гнали вперед только наши утраты и лишения. Из-за ввода советских танковых войск в Познань мы не могли выбирать направление; на пути в Варшавский зоопарк нас то и дело разворачивали куда придется. Оставалось только молить наших высочайших покровителей (Феликсу – своего бога, мне – судьбу), чтобы у нас достало сил уничтожить того, кто вживил столько лютой злобы в наши сердца.

Перль

Глава восемнадцатая. Расставания

Добравшись до Кракова, мы стали бродить по городу, от дома к дому. За оконными стеклами то тут, то там шевелилась занавеска и чьи-то пальцы поправляли краешек тюля, как будто взрослые впали в детство и задумали поиграть в прятки. Многие даже не удосуживались на нас взглянуть. Например, та девушка: она сидела у стены, на фоне цветочных обоев, и читала книгу. Мне тоже хотелось когда-нибудь почитать книгу. Чтобы найти в ней ответ, кем же я была, пока не оказалась в клетке.

И чтобы в этот момент рядом сидела Мири. Но всю дорогу до Кракова она шепотом молила нас о прощении, так что я уже стала опасаться, как бы ее скорбь не нарушила то будущее, которое я для себя придумала.

– Бывает и хуже, – отозвался о Кракове Отец Близнецов.

Он ждал подтверждения от Мири, но та молчала. Губы ее сковала немая тревога: мы раз за разом ломились в закрытые двери. На улицах женщин преследовали русские солдаты, тащили в закоулки и прижимали к стенам домов. Назад женщины уже не возвращались. К нам бросались попрошайки, которые всякий раз заходились бранью, не сумев поживиться едой. Из всех выделялся мужчина, наблюдавший за нами со скамьи у часовой мастерской. Держа блокнот для записей и газету, потягивая кофе, он слушал женщину, которая отчаянно жестикулировала и явно взывала о помощи. Таких было несколько. Вдовы, беженки, горожанки – человек шесть – ожидали своей очереди переговорить с этим молодым человеком. Заметив наши лохмотья, тот вскочил с места и подбежал к Отцу Близнецов справиться, откуда мы приехали.

У молодого человека было обветренное, помятое лицо старика, словно он всю свою жизнь прожил на улице охотником и дичью одновременно. В нем угадывался солдат, но совсем не такой, как в Отце Близнецов. Глаза выдавали отеческий инстинкт: будто мы, едва переступив границы города, уже влились в его семью. Позже выяснилось, что он состоял в подпольной организации «Бриха», помогавшей евреям бежать в другие, более безопасные страны. Но тогда ясно было одно: этот человек, по имени Якуб, решил обеспечить нам кров в пустующем доме рядом со своим собственным. Это серое, унылое строение с заколоченными окнами смахивало на гнилой зуб.

– Хозяева не вернутся, это точно, – сказал Якуб.

Заметив на поблекшей стене яркое пятно краски, где еще недавно желтела мезуза, Отец Близнецов помедлил у порога, но Якуб сказал: «Не дури!» – и, широко распахнув дверь, не оставил нам выбора; пришлось войти.

Так в нашем распоряжении оказался заброшенный особняк – четыре стены и ветхая кровля. Повсюду виднелись следы бегства прежних обитателей. Перевернутые книжные полки, в раковине – женская ночная рубашка в голубой лужице. В одной стене брешь размером с три кирпича – бывший тайник. На кухонном столе – ручка и клочок бумаги с выведенным обращением, – и только.

Мы с благодарностью осмотрели помещение, после чего Отец Близнецов объявил ужин и принялся скупо раздавать свеклу из огромной банки, одиноко стоявшей в чулане. Свеклу откусывали по очереди, пачкая ладони и рот бордовым маринадом. Отказалась только Мири. На улице снова повалил снег, но в кои-то веки он оказался желанным. Подкрепляясь свеклой и пуская по кругу единственный стакан для воды, дети радовались отсутствию ненавистных примет жизни.

– Кобылы нету! – наперебой выкрикивали они. – Крыс нету, бараков нету, забора нету, уколов нету!

Настал мой черед. От долгого молчания в клетке язык у меня до сих пор ворочался плохо, но в тот миг слова пришли сами собой. Уж не знаю, откуда они взялись, но то были слова моего зайде, упавшие с неба легко и свободно, как снежинки.

За возвращение моей Бесценной! – провозгласила я.

В знак солидарности Мири подняла стакан, но при этом лишь вяло улыбнулась. Может, ей страшно было остаться одной? Может, думалось, что она станет ненужной, когда я обрету мою Бесценную?

Дремала я урывками, то и дело просыпаясь с мыслями о причине ее грусти. Каждый раз протирая глаза ото сна, я видела, что Мири так и не ложилась, а просто застыла в кресле, сцепив руки. Так до меня дошло, что страшиться одиночества надо не ей, а мне.

Утром наше новообретенное пристанище преобразилось. Мое внимание привлекла клетка в углу комнаты. Открытая проволочная дверца безвольно висела на одной петле. Вид пустой клетки, думы о вырвавшейся на свободу птице, пусть и улетевшей навстречу гибели, пробудили во мне желание не сидеть на месте. Чтобы самостоятельно двигаться навстречу светлому будущему, которое вдруг стало возможным, мне требовались костыли.

Я поделилась этой фантазией с Мири; та как раз надевала пальто, готовясь выйти в город. Она предупредила, что костылей нынче днем с огнем не сыщешь, и пообещала справиться в госпитале. В Кракове Мири быстро включилась в новые обязанности по примеру Отца Близнецов. Тот полушепотом обсуждал что-то с Якубом за кухонным столом – я тщетно пыталась подслушать их разговор, пока остальные ребята носились вверх-вниз по лестнице, устроив наверху форменный сумасшедший дом.

Иногда быть калекой даже выгодно. Беситься вместе с детьми я не могла, зато сумела разузнать, что нас ждет. Изображая неподдельный интерес к птичьей клетке, я тайно слушала Отца Близнецов, излагавшего свои опасения.

Его тревожило состояние некой женщины. По его словам, она повидала такое, что и вообразить невозможно, спасла всех, кого могла, но остаться после этого прежней, полной жизни – выше человеческих сил. Это он знал доподлинно, поскольку и сам пережил то же самое.

Якуб отвечал не сразу, осмысливая сказанное, словно все это было ему слишком хорошо знакомо. Наконец он проговорил:

– Это тяжкое бремя помогает выжить, потому как не оставляет ни минуты, чтобы его осознать… прочувствовать, если угодно, его тяжесть.

По-моему, Отец Близнецов согласился, но я не расслышала.

Якуб заверил Отца, что сильнее и важнее его преданности – лишь нужды детей. А затем дал дельный совет: близнецов необходимо вверить заботам Красного Креста. Только так они смогут поправить здоровье, а взрослые – восстановить свои силы.

Она никогда их не оставит, с отчаянием в голосе ответил Отец Близнецов. Он говорил и о себе. Якуб призвал его подумать. Тридцать четыре ребенка, все на грани болезни и страданий. Якуб пообещал навещать нас в Кракове и сообщить нашим опекунам. Он поклялся, что нас не забудут.

Я подумала о Мири. Это о ней забыли. Без нас ей не жить. Неужели никто не заметил перемены, когда нас стало на одного меньше?

Если уж этой разлуке суждено быть, я сохраню память о Мири. Сначала я спасусь сама благодаря костылям. Потом спасу и ее от грусти.

Остальным я не стала рассказывать об услышанном. У детей и так полно забот. Ведь они неожиданно столкнулись со свободой. А это не так-то просто, как можно подумать. Только оправившись от путешествия, мы все еще были полны сомнений и тревог. Даже приятный смех, доносившийся из окна сверху, повергал нас в оцепенение. Но, желая хорошо провести первые дни в Кракове, мы полдня катались на трамвае бесплатно, предъявляя кондуктору свои лагерные номера. Местные жители были зачарованы – никогда еще им не приходилось видеть такое количество детей-близнецов. Только мне, Петеру и Софии не хватало половинки.

Петер поднимал коляску в трамвай и спускал ее, катил по улицам и завозил в магазины, чтобы нам вместе справиться о костылях. Он поклялся добыть костыли, и, пока мы занимались поисками, я попыталась донести до него, что помощь нужна Мири, ведь скоро придется ее оставить. Но слова не шли. Вскоре все стало понятно и без слов.

Вернувшись в новое пристанище, мы обнаружили заплаканную Мири – она сидела на стуле, сжав в руках пустую чашку. Стоя у очага, Отец Близнецов велел нам собраться. Пересчитав детей, он сверился со списком и сказал, что пора обсудить будущее, – и тут все наперебой начали делиться планами. Дети говорили о воссоединении с семьями, одноклассниками, возвращении домой.

– Вы можете вернуться, – предупредил Отец Близнецов, – но, возможно, в ваших домах живут другие люди. Возможно, в вашей стране вас никто не ждет. А ваши пожитки… может статься, они принадлежат кому-то другому.

Произнося эти слова, он смотрел на Мири, словно ожидая опровержения. Но та уставилась в чашку, будто на дне лежало решение нашей проблемы.

– Лучше Красного Креста о вас никто не позаботится, – промолвил Отец Близнецов и стал посвящать нас в подробности, но младшие дети заглушили его словами протеста, карабкаясь на стул Мири, обращаясь к ней с мольбами, от огорчения спотыкаясь друг о друга; Мири спрятала лицо в рукав пальто, словно пытаясь отгородиться.

Старшие тоже начали протестовать, но, хорошенько подумав, выкрикнули единственный вопрос: когда?

В ответ услышали: через четыре дня.

Отец Близнецов переговорил с каждым по очереди. Софии сказал, что добудет ей новое пальто, близнецов Блау заверил, что их не разлучат. Все эти обещания звучали вполне обычно, но потом я услышала, как Цвиллингефатер очень мягко сказал Петеру, что планы добраться до Брно в силе. Петер заметил мое смятение.

– Подруга тетки, – сдержанно произнес он. – Она говорит, что теперь станет мне матерью. Живет в Брно. Отец Близнецов отвезет меня к ней по дороге в Крнов.

Эта новость удивила не меня одну.

– Как тебе это удалось? – спросили остальные. – Ты обманул ее? Как ты добился ее расположения?

Я могла бы объяснить: Петер не мог не нравиться. Он отдавал, дрался, искал – кто бы отказался от такой компании? Именно это мне хотелось сказать остальным детям, для которых он вдруг стал загадкой и – судя по выражениям лиц: косым взглядам и неприкрытому презрению – объектом неприязни. На мой вопрос, что их так разозлило, Петер ответил, что и мне следует на него сердиться. Ведь семья нынче – редкость.

Конечно, Петер многое для меня сделал. Зная, что нас разлучат, я хотела и сама что-нибудь для него сделать. Но были только слова. Поэтому я сказала, что у меня десять воспоминаний. Из них – желанных только шесть. Так что у меня всего шесть воспоминаний. Первое – лицо доктора Мири. Второе – Петер, везущий мою тележку. Третье – ворота, но те ворота, из которых мы вышли. Четвертое – Петер, швыряющий камень в эти ворота. Пятое – Петер, бегающий по улицам в поисках костылей. Шестое – не совсем воспоминание, а скорее желание его иметь – Кое-Кто.

– Три из шести моих воспоминаний связаны с тобой, – заявила я.

После этого Петер стал искать с удвоенной настойчивостью. В оставшиеся дни мы прочесывали улицы в поисках пары костылей: стучались в двери, останавливали прохожих, справлялись в госпитале, даже у Якуба поинтересовались.

– Нет ли у вас костылей? – спросила я в первый день поисков.

– Костылей нет, зато лучок имеется, – ответил он, протягивая Петеру две желтые головки лука.

Как видно, ему очень трудно было нам отказывать.

В тот вечер, в заброшенном доме, я опустила луковицы в суповую кастрюлю и наблюдала, как они кружатся и перекатываются, излучая безграничный золотистый оптимизм. В этих золотых переливах я увидела знак – до заката Якуб найдет костыли.

На следующее утро он встретил нас весело:

– За едой пришли?

Нет. Мы поблагодарили его за суп. Спросили, нет ли костылей.

– Нет, – произнес он с сожалением. – Возьмите вот это.

Он укрыл мне ноги пледом. Тепло пледа было мне знáком, что до заката Якуб найдет костыли.

Но на третий день, завидев нас, Якуб опустил голову. Он просто не мог сказать «нет», поэтому я и не стала спрашивать. В благодарность Якуб вложил в мои руки перочинный ножик.

– Больше у меня ничего нет, – сказал он с горечью.

Поблагодарив Якуба, мы отъехали. Я стала рассматривать ножик. Заметив мое разочарование, Петер стал уверять:

– Его можно обменять на что-нибудь дельное.

На крыльце нашего заброшенного дома я стала выводить пальцем рисунок на замерзшем стекле. Сначала один костыль, затем второй, а потом поднялась вьюга и уничтожила мои фантазии.

Я решила больше не доверять знакам.

В конце-то концов, зачем ждать Провидения – я сама должна окрепнуть, чтобы позаботиться о Мири, пусть мне и суждено до конца дней оставаться прикованной к коляске.

Если рядом не было Петера, я проводила время с Мири, которая каждое утро бродила по улицам Кракова. Я была при ней как сиделка – по крайней мере, так говорила Мири. И правда, она просто не могла оставить меня в покое. Вместе мы зашли в здание Красного Креста, прошлись мимо многочисленных коек. Мири, конечно, понимала, что я все время высматриваю костыли, но хотела занять меня, посадив накладывать бинты под ее руководством. Эта работа мне нравилась. Но моей наставнице она нравилась еще больше, ведь чужая боль помогала ей забыть свою. Занимаясь ранеными, Мири словно возрождалась. По большей части это были женщины, ведь не каждый солдат, попавший в Краков, стоил нашей заботы. Женщины, девушки и девочки, которые из-за войны слишком быстро повзрослели. Я смотрела на них и думала: «А понравилась бы им броня моей клетки?»

Днем Мири сменял на посту другой врач, и мы шли на станцию. Там искали имя. Имя сестры Мири. Или имя самой Мири на случай, если ее разыскивает Иби. Вся стена станции была заклеена именами, но Иби среди них не было, да и Мири она не искала. Сотни имен, писем, обращений – и ни одного для нас. Но однажды, за день до расставания, Мири схватила клочок бумаги, сказав, что автору записки надо нанести визит. Рука ее дрожала, а глаза наполнились слезами – удивительно, что сквозь слезы она смогла прочесть написанное. Мне удалось мельком увидеть лишь адрес. По поводу содержания записки спрашивать не пришлось – всем своим видом Мири дала понять, что это визит долга, а не счастливое стечение обстоятельств, и в отчаянии повела меня по адресу.

На стук из двери показалась голова, обмотанная платком. У женщины были ярко-красные губы и кудри в тон – одним словом, колоритный персонаж. Позади нее виднелась некогда роскошная комната, гостиная с золочеными обоями и прекрасной мебелью, поблекшей за годы запустения.

Женщина с любопытством покосилась на нас и уже собиралась что-то сказать, как какой-то пьяный мужик, спускаясь по лестнице, споткнулся и пообещал вернуться назавтра для продолжения веселья. Так мы узнали, что это не обычный дом. Мири отвернулась, но женщина сбежала по ступенькам, взяла ее за плечи и стала внимательно изучать.

– Очень хороша собой, – сказала она с одобрением. – Вижу у вас дочь, которую надо кормить. – Женщина с сожалением посмотрела в мою сторону. – Да только девочек у меня хватает.

– Прошу п-прощения, – пробормотала Мири. – Мы ошиблись адресом.

Она глянула на записку, которую теперь заметила и женщина. Глаза ее округлились.

– Если вам знакомы эти имена, – с мрачным видом женщина взяла записку из рук Мири, – я не могу вас отпустить. Надо поговорить. – Представившись Габриэллой, она жестом велела нам войти. – Не беспокойтесь, – сказала женщина, заметив сомнение на лице Мири. – Ничего дурного ваша подопечная тут не увидит. – Мадам, девочки, ну и чашечка чая.

Мы поднялись по ступеням за Габриэллой, через гостиную вышли в кухню; мрачного вида девица-подросток, руки и ноги которой были сплошь покрыты синяками, с ненавистью глянула в сторону Мири, будто та – ее давнишний враг. Отвесив насмешливый поклон, девица выдвинула для Мири стул.

– Брысь отсюда, Евгения! – рявкнула хозяйка в недоумении от подобной выходки; девица, еще раз смерив Мири презрительным взглядом, отправилась к троице, праздно сидевшей на ступенях.

В пропахшей духами кухне Габриэлла стала еще ласковей: она привычными движениями приподняла меня с каталки и усадила на кресло, словно проделывала это каждый день. Затем, положив записку на стол, она стала с чувством разглаживать заломы, как будто это могло сблизить ее не просто с именами, но с их обладательницами.

– Я написала записку племянницам, – сказала она. – Не думаю, что жива их мать. Она, как и ты, была калекой, а такие, как известно, долго не протягивали.

Мири спросила хозяйку, прошла ли та Освенцим.

– Я тут отсиделась, – ответила Габриэлла. – Работу эту я не выбирала. Раньше портнихой была. Но кому нужны красивые платья в военное время? А об Освенциме я знаю от своих девочек. Две из них вернулись… из как его… из «Пуффа», что ли?

Мири мельком взглянула на девочек, сидевших на ступеньках, – из-за рюшей на застиранном нижнем белье они смахивали на облезлых попугаев. Она явно высматривала среди них Иби. Но не нашла.

– Я слыхала, в Освенциме ценились близнецы. Евгения рассказывала. – Габриэлла указала на мрачную девицу в синяках. – Говорила, что у близнецов был шанс выжить. Оставляя на станции записку, я была уверена, что мои племяшки мертвы. Но вот приходите вы с этой запиской в руках. Вы же не с плохими вестями явились?

Молчание Мири показалось мне странным. Ведь так просто было рассказать, что в ее обязанности входило присматривать за близнецами в Освенциме, пытаться сохранить жизни парам ценой собственной души. Но она промолчала. Я решила воспользоваться случаем и сказать за нее. Поэтому тоном моей сиделки я, как взрослая, спросила Габриэллу, как звали ее племянниц.

– Эсфирь и Серафима, – с грустью произнесла хозяйка, поглаживая записку.

Эсфирь и Серафима – эти имена всколыхнули воспоминания о первой ночи в «Зверинце». В воображении всплыла картинка, как они вытаскивают тело мертвой девочки из своей койки и забирают ее одежду.

– Смышленые девочки, – осторожно произнесла Мири. – Я была их врачом.

Возродившаяся надежда преобразила Габриэллу: глаза ее загорелись, щеки порозовели.

– Где они теперь? Могу я их увидеть? – Взгляд ее скользнул вокруг, оценивая количество переделок, необходимых для подобающего приема двух беженок.

Не успела Мири и рта раскрыть, как заговорила Евгения.

– Врач в Освенциме – это совсем не врач, – произнесла она со злобой. – Спросите ее, кому она подчинялась. Спросите, чем она там занималась.

В замешательстве от подобного выпада Габриэлла посмотрела на Мири. Напрасно глаза ее горели от стыда. Габриэлла протянула руку к руке Мири, но та лишь вздрогнула. Слезы беззвучно катились по ее щекам, при этом лицо не выражало никаких эмоций. Но эти слезы – она просто утопала в них. Одна за другой, они множились, сливаясь в реки. Как мне защитить Мири, гадала я.

Вдруг слова сами ко мне пришли. В тот момент они появились из какого-то потайного места в душе, о котором я и не подозревала. Я рассказала Габриэлле, что тоже знала ее племянниц. Хорошие были девочки, добрые. Последним их поступком могла бы гордиться любая тетушка. Оказавшись в «Зверинце», девочки тут же стали замышлять, как бы помешать Доктору Смерть. Планы эти занимали их постоянно. Каждый раз, подобно хитрым лисицам, они подбирались к доктору, услаждая его слух, его эго, потоками лести. Притворяясь, что любят то же, что и он, думают так же, как и он, девочки дождались удобного момента: оказавшись один на один с доктором в машине, они выхватили из карманов рукояти припрятанных хлебных ножей. Хоть замысел и не удался, в тот момент они были живее всех живых, а планы убить доктора – пусть глупые, пусть наивные – стали лагерной легендой. Я сказала, что думаю о них каждый день. Вспоминаю так живо, что в сознании они сливаются в одного человека, который будто и есть я сама.

Габриэлла поцеловала меня в макушку и горячо обняла – так крепко, будто прижимала не меня, а девочек, которых потеряла. Прикосновения ее были пронизаны глубоким горем, но голос звучал решительно.

– Благодаря тебе я смогу жить дальше, – прошептала она.

Казалось, Габриэлла никогда не разожмет руки, но вдруг она отпустила меня, прошлась взад-вперед по комнате, словно желая убедиться, что может продолжать. Тут ей в голову, верно, пришла идея, потому что она метнулась к шкафу у входа. Оттуда полетели всевозможные вещи: шарфы, зонты, шляпы, даже шиньон. Пробравшись через весь этот хлам в глубину шкафа, она достала и торжественно протянула мне то, чего в Кракове было не достать.

– Один солдатик оставил, – сказала она. – Недоросток, да к тому же доходяга – точно не вернется. Лучше уж пусть тебе достанутся, чем какому-нибудь пьянчуге.

Хоть и старенькие, костыли вдохнули в меня новую жизнь. С их помощью я могла ходить – или уж по крайней мере не только ковылять. Можно было продвинуть костыль вперед, затем подтянуть ногу – так, через несколько шагов я увидела, что это мне под силу. Пусть я останусь калекой, но зато смогу быстро передвигаться, приспосабливаться, действовать.

С костылями я могла лучше заботиться о Мири.

Выйдя из публичного дома, Мири спросила, откуда эта история о тайных замыслах, возмездии, жажде смерти Менгеле, и я рассказала, что она сидит во мне так глубоко, что я даже не знаю первоисточника, знаю только, что это правда или полуправда, – по крайней мере, ее тепло было настолько сильным и ощутимым, что отбрасывало тень, похожую на мою вторую половинку.

– Не забывай ее, – посоветовала Мири.

Так и вышло, что рассказ этот стал моим первым настоящим воспоминанием о сестре-близняшке, которая когда-то у меня была.

В утро перед расставанием меня разбудили лучи солнца, высветившие сквозь щели в заколоченных окнах ряды спящих на полу детей, укутанных в одеяла и тряпье. Слева от меня спала София, громко похрапывая, распластав руки на моей груди. Справа лежали костыли, увидев которые я вспомнила, что теперь могу сама уйти куда угодно и забрать с собой Мири.

Но в этот день они попытались передать меня Красному Кресту.

Едва открыв глаза, я увидела, как на кухне ведутся приготовления к отъезду. Мири и Отец Близнецов сидели на полу, разделенные кучей детской обуви. Мири законопачивала прорехи бумагой, а Цвиллингефатер перевязывал сверху бечевкой. В тишине, дрожащими руками, они чинили башмак за башмаком, явно расчувствовавшись перед близким расставанием. Взгляд Мири упал на вещмешки у дверей – один для Петера, другой для Отца Близнецов. Собравшись с духом, но не поднимая взгляда, Мири обратилась к Отцу:

– Цви, ты ни разу не усомнился в моих действиях. Почему? Другие… сколько мне приходилось слышать небылиц о себе, о том, что я сотворила. Все эти рассказы преследуют меня до сих пор.

Заткнув очередную прореху, она завязала узлом бечевку.

– Ты делала все, что в твоих силах, – просто ответил Отец Близнецов.

С этими словами он посмотрел на Мири в надежде, что она примет эту правду, согласится, но этого не произошло, и, нагнувшись, Отец стал расставлять рядами залатанные ботинки, будто хотел привести все в порядок. Когда он отвернулся, Мири воспользовалась моментом и проскользнула к двери. Заметив, что я не сплю, она знаком велела мне следовать за собой. Но Отец Близнецов не собирался воздерживаться от церемоний прощания. Подняв глаза от ботинок, он произнес именно те слова, которые она, как бывший врач, более всего хотела услышать.

– Дети будут по тебе скучать, – сказал он.

По глазам Мири было видно, что она поверила.

Протопав к выходу на костылях, я увидела, как возле камина Петер поднял голову – волосы у него на затылке взъерошились – и сонно покосился в мою сторону. К этому прощанию я готовилась загодя. «Когда мы в следующий раз увидимся…» – начала я, но не смогла закончить так, как хотела. Я не смогла сказать: Все наладится, я снова буду ходить, ты поправишься, все найдутся, мы будем на свободе, у нас будет родина, нас не будут истязать, морить голодом, нам не придется видеть боль.

Но тогда… тогда я не смогла закончить фразу.

Двадцать лет спустя у меня появится возможность договорить, но необходимость в этом отпадет. Уже взрослые, мы будем ожидать во дворике. Петер покажет фотографии жены, способной понять, почему после телефонного звонка он запирает на ночь двери на засов, зачем хранит под кроватью коробки с материалами о возможном местонахождении самого изворотливого преступника, сперва сбежавшего из Освенцима, затем переведенного в Гросс-Розен, снова бежавшего, теперь уже в Розенхайм, и нанявшегося рабочим на ферму: там он сортировал картофель, аккуратно раскладывая в кучки товарного вида клубни под началом самого фермера, а затем бежал в Бразилию, свое последнее пристанище, где писал мемуары, слушал музыку и купался в море.

Но речь не о нем, как бы он того ни желал.

Речь о Петере. Как предсказывала Мири, Петер оказался очень способным. До такой степени, что после войны не сразу сумел себя найти. Сбежав из-под опеки, он разъезжал по разным странам, будто не мог отрешиться от роли посыльного; скитания прекратились лишь после того, как он встретил женщину, не побоявшуюся создать семью с человеком, про которого ее родственники говорили: здоровье у него ни к черту, так что, дескать, не удивляйся, если ребенок ваш не выживет или, еще того хуже, родится уродцем, – чего еще ждать после опытов Доктора? Однако дети – два мальчика – появились на свет здоровыми и красивыми, очень похожими на отца. Я могла бы весь день разглядывать эту фотографию, но мы оказались во дворике совсем с другой целью.

Закончился суд над Эльмой. Нам разрешили посетить ее в тюрьме и напомнить о былых злодеяниях. Немецкий суд назначил Эльме пожизненное заключение и еще тринадцать лет. Приговор оказался суровее, чем другие, вынесенные в ходе процесса над преступниками из Аушвица-Биркенау: теперь Эльме было суждено умереть на холодном полу тюремной камеры.

Первым зашел Петер. Не знаю, что он ей сказал. Вернувшись, Петер не произнес ни слова, но кивком дал понять, что мне нужно войти. Он всегда знал, что мне нужно.

Клетка Эльмы была просторнее моей. Никто не вонзал иглы ей в хребет, никто не перетягивал веревкой лодыжки, никто не рассекал ее чрево, чтобы потом соединить края раны неопрятным швом и с детства лишить возможности материнства. Эльма была коротко острижена, но не обрита наголо. Одежда убогая, но нагота прикрыта. Эльму лишили свободы, но детства никто не отнимал, как она отняла мое. Даже сидя за решеткой, она жаждала отнять еще больше и при виде трости ухмыльнулась, словно бросая мне вызов. Одно было ясно: остаток дней бывшая лаборантка проведет под шум собственных мыслей. Ее не утешит ни зайде, ни мама, даже голубь не помолится о ней на подоконнике. Подобная кара выглядела вполне заслуженной. Эльму было не жалко, но все же вид ее внушал беспокойство. Уместно было бы дать ей пару советов, как выжить в этой клетке, но она бы не оценила. Вместо этого я предложила Эльме то, что ценила сама, – прощение. В ответ она лишь с отвращением плюнула в мою сторону. Я и это простила.

Прощение не вернуло мне родных, не утолило боли, не притупило ночных кошмаров, не ознаменовало ничего нового, но и не положило конец старому. Прощение позволяло повторять и признавать тот факт, что я все еще живу, доказывать, что их опыты, номера, пробы – все было впустую, ведь меня не уничтожили, а значит, недооценили детскую выносливость. Благодаря прощению стало ясно, что им не удалось стереть меня с лица земли.

Сказав Эльме слова прощения, я напомнила ей о тех, кто не имеет такой возможности. Перечислила их имена.

Петер был единственным из списка Отца Близнецов, кого мне довелось увидеть снова.

В тот день, когда я покинула заброшенный дом, мне и в голову не приходило задуматься о будущем всех тех невинных детей. Кто мог знать, где они окажутся, чем будут жить, о чем печалиться. Кому-то повезло осесть в новых городах и получить новые профессии, либо преуспев настолько, чтобы превозмочь прошлое, либо потерпев неудачу из-за постоянной пульсации в голове. Одни создавали семью с себе подобными, прошедшими нацистские лагеря смерти, другие так и не смогли вступить в брак, не имея за душой ничего, кроме ночных кошмаров. Кто-то смог обрести покой и свободу в кибуцах, иные добровольно легли под нож, чтобы только выжечь из памяти неизгладимые воспоминания, вырвать с корнем страдания, впечатанные Доктором.

Все они когда-то были детьми.

Когда приехал грузовик с настоящим красным крестом, я спряталась.

Было слышно, как санитары забирают детей. Одни кричали, брыкались, хватались за дверные косяки. Всем тридцати двум пришлось сдать хлебные ножи – лезвия со звоном падали в кучу на полу. Жаль, мне не удалось их припрятать, – риск был слишком велик. Я притаилась во дворе за сугробом, загородившись тележкой. Из моего укрытия было видно, как детей ведут к грузовику. Бодро шагала София, держа под мышкой подаренную куклу. Эрик и Эли Фаллингер будто вросли в землю, недоверчиво косясь на санитаров. Тройняшки Альденбурги прятались за спиной Мири, которая уговаривала их выйти к санитарам. На ее лице отражалась только скорбь. Она стала пересчитывать детей, выкликая имена, и обнаружила мое отсутствие. Начала меня звать. Санитары пытались ее успокоить, но Мири твердила, что в Кракове небезопасно, изо дня в день творятся разные бесчинства, с девочкой может случиться что угодно, ведь ей столько пришлось пережить, а она к тому же инвалид – легкая добыча для хулиганья.

Мири звала меня, пока не сорвала голос.

Жестоко было заставлять ждать ту, которая со мной нянчилась, тем более что она не на шутку нервничала, но я не могла высунуть носа, пока машина Красного Креста не уехала восвояси. Только теперь появилась возможность убедить Мири, что нам с ней надо держаться вместе. Выждав час, я встала на костыли, чтобы проникнуть в дом. Там было темно. Я зажгла свечу, но ходить с ней не смогла – руки были заняты. Поэтому, стоя посреди комнаты, я стала вглядываться сквозь тусклый свет. Мне хотелось сказать Мири, что теперь нужно все начать сначала. Но то была уже не Мири, даже не та Мири, которая вымаливала наше прощение. Она съежилась в углу возле клетки – в сознании, но с отсутствующим взглядом. Мне показалось, что игра, благодаря которой я воскресла, способна вернуть к жизни и Мири, помочь ей преодолеть желание смерти.

Я стала думать о рыбах. Сначала вид, потом род, а затем третья ступень иерархии – та, что интересовала меня больше всего.

Семейство – моя первая мысль.

Даже семейству приходит конец – второе, что пришло в голову. Но я гнала от себя эту мысль. Конечно, Мири будет жить просто потому, что она мне нужна, но, увидев, что ей не оторвать взгляд от того места, где еще недавно были ее теперь потерянные тридцать два ребенка, я поняла, что ей не жить, если я не начну действовать немедленно. Отбросив костыли, запинаясь, я шагнула навстречу помощи.

Отчаяние несло меня вперед – шаг, два, три, – потом я упала и закричала на весь город, на весь Краков.

Стася

Глава девятнадцатая. Священная завеса

Тут и там – потерянные, перевернутые вверх тормашками предметы: птичье гнездо на лужице льда, двойной медальон, свисающий с забора. Медальон я рискнула открыть: в одной створке – прядь волос, в другой – ржавчина. Понятно, какое чувство вызывала вторая створка. Чувство это посещало меня всякий раз, когда я читала вырезанные на древесных стволах многочисленные имена – имена любимых, имена тех, кого ищут родные. Моего имени среди них не было.

Здешние нищие утверждали, что нынче седьмое февраля сорок четвертого. И не требовали подаяния.

Согласно указателям, которым больше не было веры, находились мы в Величке, к югу от Кракова. Век бы не видать этого места, как и многих других. Уйдя из Познани, мы обнаружили, что все дороги заблокированы танковыми колоннами, которые преградили нам путь к Варшаве. Чьи это танки, советские или германские, никто из нас уточнять не пошел: тьма таила слишком много опасностей. Убеждая себя, что заторы вот-вот рассосутся, в любую минуту, мы пока двигались верхом на Коняшке и вскоре заплутали.

Коняшка злился, что мы выбрали кружной путь. Феликс ругал меня за это промедление. Обычно я легко признаю свою неправоту, но тогда никакой вины за собой не чувствовала. У нас, у всех троих – я это знала, – возникли колебания. Нашему хилому отряду не по плечу была поставленная задача. Поквитаться с Менгеле! Надо мной смеялся даже мой новенький пистолет, и патроны жутковато звякали в унисон.

Мой прицел тебя подведет, грозил пистолет. Мой прицел не отличается ни удобством, ни точностью, ни надежностью.

Но у тебя же есть пули, возражала я. И ты не один. Я с тобой. Все мы здесь – одна семья. Мы с Феликсом, согласись, уже многого добились как брат с сестрой.

Из что из этого? – переговаривались патроны. У Стаси подслеповатый глаз, а значит, и прицел будет никудышным – она промажет. Меня так и тянуло запретить пулям такие мысли. Нечего меня дергать, пусть лучше думают, как поразить нашего врага в сердце или в голову.

Тут патроны зафыркали. Чтобы сменить тему, пистолет обратил наше внимание на дым.

Дым над городом пахнул так, как положено дыму: немного сосной, немного бальзамом. Его шлейфы не выписывали приветствия, но и не смахивали на красное бешенство Освенцима. И все же кое-какое свидетельство указывало, что при вермахте таких, как мы, здесь поджидала опасность. На это свидетельство мы натолкнулись в поисках ночлега.

Почему никто его не защитил? Или защитники потерпели поражение? Та деревянная синагога – представляю, сколько пламени она видела. Мы бы, наверное, и не признали в своем убежище синагогу, если бы не опаленный парóхет – полог Ковчега Господня, из синего бархата, с вышитыми фигурами львов, замаранными сажей, но с поблескивающим венцом Торы, – валявшийся в отдалении на снегу и словно своей собственной властью предотвративший хищение. При виде парохета Феликс не издал ни звука, не произнес даже тех слов, которые произнес бы его отец-раввин; он просто бросился наземь, поцеловал священную завесу и, чтобы только оторвать от земли, обернул ее вокруг обугленного столба посреди развалин. Однако парохет снова упал, не оставив нам выбора: прошлось взять его с собой.

На полу, усыпанном осколками, чернели рухнувшие балки. Из всего строения уцелел единственный угол, куда мы и направились, привязав Коняшку к ближайшей опаленной березе. У Коняшки был такой вид, как будто одной своей статью он способен вернуть синагоге былое великолепие. Правда, у него торчали ребра, но зато в устремленном на нас пристальном взгляде метались черные искры, а когда ветер приносил малейшие шорохи, жеребец беспокойно прядал ушами. Его трогательная бдительность нас успокоила.

Укрывшись синим бархатом, мы оставались настороже. Вероятно, издалека можно было увидеть только обугленные стены, огнеглазого коня, переступающего с ноги на ногу, и едва заметную синеву нашего парохета. Казалось, нам ничто не угрожает. Я собралась поинтересоваться у Феликса, как отнесся бы его отец к тому, что мы используем парохет вместо одеяла: похвалил бы нас за стойкость или осудил за богохульство, но Феликс уже крепко спал.

И само собой, нести вахту выпало нам с Коняшкой. Феликс похрапывал, а мы, чтобы не уснуть, считали звезды. Впрочем, той ночью их было слишком мало, чтобы целиком занять мои мысли, и я обычным порядком усложнила себе задачу, придумывая для них имена, а потом и судьбы. Отсылала их в самые разные страны, которых сама никогда не видела, а когда судьбы складывались, я их перечеркивала: с какой стати у звезд должно быть будущее, когда у Перль его нет?

В конце концов, полагаясь на бдительность Коняшки, я решила, что и мне надо бы вздремнуть.

Такое простое и такое необходимое решение.

Должна сказать, что утром Коняшки на прежнем месте уже не было. Ничего другого мы не хватились, но кое-что потрясло нас сильнее, чем исчезновение коня. Там, где стоял, сонно кивая, наш бледный герой, начиналась красная полоса. Кровавый след змеился среди кострища и уползал в поля. Мы двинулись вдоль него, отмечая все остановки и возобновления пути, прошли с полмили – и оказались перед каменной пастью подземного хода. Вгляделись, но увидели только темноту.

– Не кончается, – заметил Феликс.

Трудно сказать, что он имел в виду: боль или кровавый след. Сжав мне локоть, он попытался меня оттащить, но не приложил серьезных усилий. Ему, как и мне, требовались ответы. Нас не останавливало, что искать их придется в глубинах соляной шахты, что красная тропа, не узкая и не прямая, приведет нас в соляную шахту, с виду – обитель зла.

Думаю, нас обоих ослепила эта бесконечная кровавая лента; точнее, ослепило нас ее сходство с нашими бесконечными утратами. Она выглядела как послание, хотя и влекла к средоточию ужаса. Я не рассчитывала найти в живых свою сестру, знала, что Коняшку похитила злая сила, но, как видно, решила, что меня влечет к пониманию и перерождению. Могла ли я думать иначе посреди такой красоты?

Действительно, вход в эту соляную шахту… вообразите, будто вы ступаете в наклонную воронку лилии; представьте, что скользите в несравненные светоносно-белые спирали. Спустившись по деревянной лестнице, мы сворачивали то в один мерцающий тоннель, то в другой; попадали в тупики крошечных келий, усыпанных блестками; спотыкаясь, протискивались в заиндевелые натриевые пещеры, где гнездились стаи летучих мышей. В тех подземных коридорах мы с благоговением разглядывали сердцевину нашего мира.

Но даже благоговение имеет свои пределы. В конце деревянной лестницы мы заметили, что лилия, внутри которой мы держали путь, источает нектар, привлекающий армии муравьев. Солдатики были одинаковы в своих униформах и своих горестях. Казалось, с потолка вот-вот протянется какая-нибудь светлая карающая десница и уложит их всех по очереди, словно серые костяшки домино. Но десница так и не появилась. Да если бы и появилась, Коняшку было уже не вернуть.

Ибо даже я, не великий специалист по костям, сообразила, глядя на их россыпи и на обрывки красной ленты, ведущие к водруженному на примитивную кирпичную подставку кипящему котлу, что в Варшаву нам не суждено въехать на коне, что милый Коняшка, служивший нам верой и правдой, столкнулся с невыразимой жестокостью, до боли знакомой нам самим.

Из глубин соляной шахты мой ужас долетел до центра Земли.

Есть такой сорт людей – они слышали столько воплей, всхлипов, криков, что стали к ним глухи, хотя соляная шахта усиливает громкость и дальность распространения звука. Именно так, вероятно, и случилось с этими солдатами вермахта. Их было шестеро; сидя на корточках тут и там, они подчищали свои тарелки и выпивали. Ни медведи, ни шакалы не вызывали у них интереса. Только один обернулся на нас посмотреть – тот, который помешивал в котелке мясное варево. Расхристанный, с безалаберным видом и выпученными оловянными глазами, которые выделялись на его лице, как медали за страшные злодеяния.

– Ты и сам коня свел, – прошептала я.

Определенно Коняшка сообщил это конокрадам. Известно ведь, что все животные в предсмертных муках разговаривают. Должно быть, он прокричал, что принадлежит нам, что мы втроем выполняем священную миссию, чтобы сохранить свою жизнь и отнять чужую, чтобы отомстить за Перль.

В бешенстве я ринулась вперед. Феликс попытался меня удержать.

Кашевар уже объелся кониной и накачался спиртным. Его повело в нашу сторону; он выхватил пистолет и сделал еще один шаг. Склонил голову набок и вперился в нас взглядом, не понимая, почему мы не пустились наутек. Судя по всему, наше поведение было для него внове, он отнесся к нам как к диковинкам, ниспосланным ему, чтобы развеять скуку и обреченность. Я знала, почему не убегаю. Мне нечего было бояться. Но Феликс – он-то с какой стати прирос к месту, будто у него не было выбора, кроме как стоять рядом со мной? Мы с ним опустили котомки, хотя нужно было подхватить их и бежать вверх по лестнице очертя голову. Солдат подступил еще ближе, чтобы осмотреть наши пожитки.

У нас были при себе три ножа, топорик, два пистолета и одна облатка с ядом для Менгеле. А сверх того горбушка хлеба, ломтик колбасы и комок ветоши для перевязки ран. В мешке с камнями лежала рояльная клавиша Перль. Мне не верилось, что это кого-нибудь заинтересует. Солдат с изумлением разглядывал оружие. Я беспокоилась не за себя, а за Феликса. Беги! – молила я одними губами. Он не внял.

– Целый арсенал, – отметил солдат. – Укокошить меня вздумали?

– Н-н-нет, не вас, – пробормотала я. – Мы настоящего фашиста ищем. Вы ведь сейчас не все заодно, правда? Так вот, мы вам стóящую наводку дадим. Можете выгодно сдать его хоть русским, хоть американцам. Так ведь? А в обмен вы, наверное, вернете нам оружие и отпустите? Этот тип – он будет для вас отличной добычей. Получше Гиммлера. Поболее Геббельса. Покруче самого Гитлера…

– Йозеф Менгеле, – не выдержал Феликс. – Она тебе толкует про Йозефа Менгеле.

Голос его даже не отразился от стен. Казалось, само эхо было в тот день на нашей стороне, хотя и следовало по пятам за солдатом, который изучал наше оружие, переворачивая его с металлическим лязгом, отдававшимся в соляных коридорах.

– Мы скажем, где его искать… только вы нас отпустите! – взмолилась я. – Кто его поймает, того объявят героем. За него награду дадут… после всех его злодейств за ним весь мир охотится.

На солдата эта речь не произвела ни малейшего впечатления. Он целился в нас из нашего же пистолета. Мы видели, что дуло подрагивает. Солдат переводил пистолет с меня на Феликса и обратно. Но в конце концов мишенью стал Феликс.

Мой друг, в котором уязвимость сочеталась с храбростью, на которого были устремлены мои мечты, который знал, как укротить зиму, сократить многие мили и приручить тоску. Мой брат. Мой близнец. Я знала, что привязалась к нему на всю жизнь. Хотела видеть, как он повзрослеет и в то же время останется мальчишкой. Хотела видеть, как начнут редеть его волосы, когда мои тронет седина, как закажу ему новые зубы, чтобы он мог жевать, – да что там говорить, я была готова жевать за него. Глядя на Феликса, я видела только хорошее.

Я шагнула вперед и загородила его собой в надежде принять на себя пулю. Мне пуля не могла причинить вреда. Только Феликс этого не знал и оттолкнул меня в сторону. Солдат вновь прицелился.

– А ну, раздевайтесь оба.

Пришлось нам сбросить шкуры Медведя и Шакала, внешние покровы, защищавшие нас в темень и холод, отгонявшие всякие сомнения в нашем истинном могуществе.

Бравада, заимствованная у этих зверей, испарилась. Как же больно было видеть наше плюшевое тепло в руках врага! Следом скользнуло мое платье, потом две кофты. И вновь я стояла голая, стыдливо прикрываясь руками, и тело мое, которое ничего не забыло, переняло обязанность Перль заботиться о прошлом и указало дорожку от уколов на моих предплечьях. Я воздела глаза к потолку соляной шахты, чтобы только не видеть ни себя, ни Феликса. Вероятно, он покрылся гусиной кожей; вероятно, обмочился от страха и явственно захлюпал носом. Когда он сбросил штаны, солдат захохотал над его пенисом и поддел кончик прикладом винтовки.

Я подумала: не иначе как этот вояка знаком с Таубе, прослышал, что нас всегда незаслуженно щадили, и решил исправить эту несправедливость. Никакого желания нас пощадить он не выказал. Как-то раз, в минуту безумства и смятения, Таубе тоже сорвался, однако тут же убрал ногу в ботинке с моей спины. Но этот солдат не испытывал никакого смятения: он уже решил, что с нами делать.

– Башмаки сбрасывай! – рявкнул он мне. – И носки заодно.

В левом носке у меня хранился яд. Я подумала, как поступили бы мстители, и, стягивая с ноги шерстяной носок, вытащила облатку и осторожно сунула за щеку.

Когда мы остались босиком, я начала разглядывать клочья Коняшкиной шкуры, разбросанные наподобие лоскутов. Как же я раньше не заметила, проехав столько миль верхом, что Коняшка был белым, как рояльная клавиша Перль? Сейчас это отметил мой здоровый глаз, и, как ни странно, впервые с того дня, когда Менгеле закапал мне свою отраву, больной глаз согласился. С него спала черная пелена. Оба глаза видели белизну. Без вариаций, без оттенков серого, без каких-либо погрешностей. Все было предельно ясно.

И вот что я увидела: солдат щупал то единственное, что осталось у меня на память о Перль: ее клавишу. Вытащил ее из моей котомки, с любопытством повертел в пальцах и отшвырнул.

Я не могла допустить, чтобы клавиша упала и зарылась в пыль. Перль не было в живых, причем по моей вине. У меня в голове пронеслось: если я не подхвачу эту клавишу, то и пусть мне достанется полной мерой – так и надо. Как была голышом, я бросилась в ноги солдату, поймала свое сокровище и заревела от счастья, хотя и получила ботинком под ребра. И еще раз. И еще. Облатка билась о зубы, резец грозил раздавить тонкую скорлупку. В руке я держала жизнь сестры, а во рту – смерть Менгеле.

Даже в этот миг я понимала, что важнее.

Прогремел выстрел; я решила, что ранена. Но нет, мне не суждено было попасть под пулю. На моих глазах Феликс, шатаясь, попятился и от боли забыл прикрывать свою наготу. Схватился за плечо, зажимая рану.

Переводя взгляд с Феликса на солдата, я, признаюсь, начала сходить с ума: на мгновение мне показалось, что передо мной стоит не какой-то убогий дезертир, а сам Доктор, Ангел Смерти, наделавший столько зла, что Земля уже низвергла его со своей поверхности.

Скорее всего, видение это объяснялось глубиной шахты: известно, что в недрах людям являются духи, фантомы и прочие иллюзии. Но вина лежала на мне. Пусть бы меня одну посетил этот призрак, но нет: множеству людей год за годом, десятилетие за десятилетием являлся один и тот же облик. Уже давно не дети, давно не пленные, они вечно ощущали на себе этот взгляд, будто на осмотре. Как, хотелось бы знать, он маскируется, гадали мы. А мир смотрел на нас как на безумных.

Вот и я определенно видела его в этой шахте.

Призрак исчез лишь после того, как я разглядела ранение Феликса. Менгеле такого бы не нанес – он располагал более выигрышными и эффективными способами причинять мучения. Его зверство было слишком выверенным и элегантным, чтобы он мог оставить на плече у Феликса кровоточащую рану, грубую, безобразную, нисколько не способствующую прогрессу науки.

Солдат повторно прицелился, но мы уже неслись вверх через две ступеньки, подгоняемые яростью солдата, который, чуть не ослепнув от злости, тоже затопал по ступенькам. В какой-то миг он поскользнулся и рухнул мордой на деревянные планки. Я задержалась дольше разумного, чтобы посмотреть, как он бессильно катится вниз, тряпичной куклой подскакивая на каждой ступеньке. Мне казалось, что зрелище поверженного врага способно переменить прошлое: вот-вот поезда развернутся вспять, синие цифры исчезнут, игла никогда не вопьется мне в вену.

Даже со стреляной раной мой друг бежал по лестнице резвее, чем я. Он то и дело подталкивал меня вверх всем своим потрясенным телом, чтобы без промедления увести меня от места гибели Коняшки. И ведь они снова убили любимое существо, обездолили нас, лишили защиты. Если мы и вырвались из их лап, я не могла считать это победой. И не видела смысла продолжать борьбу. С радостью проглотила бы ту пилюлю с ядом, будь у меня уверенность, что мне придет конец.

– Гляди! – ахнул Феликс, указывая дрожащим пальцем на небо.

Оттуда падали люди, человек десять – то ли друзья, то ли враги, но за спиной у каждого раскрылось облако уходящей зимы. Невзирая на ранение в плечо, мой друг заметил их первым. Его измученное лицо преобразилось от зрелища – и жажды – свободного полета.

Но под нами была лишь эта взрытая, проклятая земная твердь. У меня за щекой все еще лежала нетронутая облатка: она сулила избавление. Все остальное мы потеряли.

Прощай, Коняшка. Любимый наш. Невинней, чем Перль при нашем с нею появлении на свет. Ты был лучше, чем все лучшее в нас обеих. Вот бы этот мир стал похож на тебя.

Прощайте, топорик, и пистолет, и три драгоценных ножа. Вы были яростнее и острее, чем предначертано мне.

Бывайте, наши меховые покровы. Прощай, Медведь. Прощай, Шакал. Вы делали нам грозными и жизненными, вы гордо вписывали нас в Систематику Живой Природы, да так, как мне самой не под силу. С вашей помощью мы превращались в хищников – иногда без этого не выжить.

Голышом я пробивалась сквозь снежные заносы, подставляя плечо своему другу и направляя его к спасительному ряду отдаленных домишек. Мы ковыляли вперед, надеясь получить помощь, прикрыть наготу, залечить раны, а над головами у нас плыли парашютисты, легкие и свободные. От зависти я стала грозить им кулаком. Бездумно кричала, не задумываясь, кто меня услышит и кто снова начнет распоряжаться моим телом. Мы с Перль прошли через это не раз, и мне уже было все равно.

– Стася, – взмолился Феликс, – так ты долго не протянешь.

Это были слова пророчества, предостережения, любви.

О, если бы только я к ним прислушалась!

Перль

Глава двадцатая. Беглецы

Из больничного окна видно было, как они плывут в небе, словно пушинки одуванчика. Десантники – в тот вечер над пригородами Кракова я насчитала их ровно дюжину.

– Знаешь, кто это? – спросила доктор Мири.

Отвернувшись от окна и балансируя на костылях, я остановилась к ней лицом. Спросила, за кем прилетели десантники и почему выбрали именно воздушный путь. Мири затруднилась ответить: даже вблизи трудно определить, какие у людей намерения, но ей рассказывали, что участники еврейского подполья нередко выбирали такой способ передвижения, прячась в самолетах, перевозивших товары, секретные грузы и оружие.

Посмотреть на приземление мне не довелось: район сбрасывания находился вне поля зрения, но через три дня мне предстояло увидеть повторное использование белого парашютного шелка, длинные и мягкие отрезы которого попали в руки портнихи. Теперь по улицам в направлении кружевного балдахина, установленного для еврейского свадебного обряда, скользила невеста: в роскошном, по военным временам, наряде с рюшами и драпировками на тонком лифе; за ней с шорохом тянулся шлейф, похожий на туман. Две счастливые матери завели невесту под кружевную хупу. Если высунуться в окно, можно было даже услышать звуки празднества. Невеста семь раз обошла вокруг жениха. Семь благословений. Протяжный звон разбиваемого женихом стакана.

– Неужели люди еще играют свадьбы? – благоговейно спросила я.

Встав с кровати, Мири подошла к открытому окну, обняла меня и начала смотреть и прислушиваться вместе со мной.

– Люди играют свадьбы, – ответила она дрогнувшим голосом. – Сама не знаю, почему это меня удивляет.

За первым бракосочетанием последовало второе.

В заброшенном доме, когда мне казалось, что Мири покидает эту землю, мне казалось, что я опять в клетке, только в другой. Руки не слушались, перед глазами висела пелена. Все сделалось каким-то далеким и нереальным. Я даже не прихватила костыли, когда заковыляла на улицу искать подмоги. Мой голос намного меня опережал; на крик стали выходить жильцы близлежащих домов. Среди них оказался наш краковский хозяин Якуб, даритель луковиц. Только его я узнала, только ему доверилась. Указав пальцем на распахнутую дверь, я едва уследила, как он рванулся в дом.

Сомневаться не приходилось: он ее вынесет. Но видеть ее в таком состоянии было выше моих сил. Я и не смотрела. Даже когда Якуб занес Мири в карету «скорой помощи» и усадил меня рядом. Всю дорогу до больницы я просидела с закрытыми глазами. А потом заметила, что Мири отводит взгляд и от медиков, и от пациенток. Ее недуг ни для кого не был в диковинку, но Мири все равно стыдилась. Стыд не отступил даже после того, как ей оказали первую помощь, сняли основные показатели и дали койку. Наотрез отказавшись лечь, она примостилась на краешке, уставилась на занавеску, разделявшую помещение, и не шевелилась, пока медсестра не провела к ней Якуба.

Тот держался в высшей степени чопорно: с порога отвесил легкий поклон, как будто такая учтивость могла скрыть тревогу, но, с моей точки зрения, тем самым только выдал свои нежные чувства. Он оглядел палату, словно никогда не бывал в больнице, а затем попросил меня ненадолго оставить их наедине. Я, можно сказать, выполнила его просьбу: нырнула за разделительную занавеску и под ее прикрытием подслушала все, что хотела.

Придвинув стул, Якуб молча сел у больничной койки рядом со сгорбленной фигурой Мири. Он не вздыхал и даже не шептал. В его молчании сквозила утрата, слепящая и беспредельная, – утрата, которая понимала: один час из жизни выжившего не равен никакому другому часу; каждой своей минутой он связан с предысторией, которую не изменить, не восстановить, не исправить. Разделяя утрату Якуба, Мири заговорила о своей.

– Мой муж, – прошептала она, – не прожил в гетто и трех дней. Его застрелили на улице.

Я заглянула за край занавески. В палате стоял полумрак, но лицо Мири наполовину освещалось лампой.

– Потеряла я и обеих сестер. Орли скончалась в лагере через считаные месяцы. Иби отправили в «Пуфф». Но сперва он заставил меня собственноручно удалить им матки.

Она взглянула на Якуба, словно в ожидании. Но отклика не последовало. Якуб повесил голову.

– Естественно, меня тоже не пощадили. Но мне даже не хватило сил страдать. Все страдания были о моих детях. Ноэми, Дэниел. Не сосчитать, сколько раз я сожалела, что у них большая разница в возрасте, – иначе я выдала бы их за близнецов. Мне снится, будто я придумала, как устранить эту разницу. А просыпаюсь – и понимаю, что это невозможно. Утешаюсь лишь одним: по крайней мере, мои дети никогда не узнают, чем их мать занималась в Освенциме. – Здесь ее голос начал ускользать, как будто оторвавшись от мыслей.

Якуб попытался ей сказать, что в таком месте, где добро под запретом, она тем не менее творила добро. В таком месте, которое требовало от нее жестокости, она излучала только тепло, давала утешение умирающим, дерзкую надежду, которая…

Но она не слушала. Матери, говорила она… Она старалась сохранять жизнь матерям, этой цели подчинялись ее поступки.

Если бы не ты, жертв было бы намного больше, настаивал Якуб, но моя опекунша извлекала из его слов только горечь, невыразимую горечь.

– Беременная еврейка, – продолжала она. – Ему виделось в этом страшное оскорбление. Я предупреждала матерей: если тебя и твоего ребенка уличат, не пойдешь под расстрел. Ты не пойдешь в газовку. Такой конец сочтут для вас излишне мягким. Вас используют для опытов и для потехи, он положит тебя на операционный стол, возьмет инструменты и будет медленно, шаг за шагом взрезать, подталкивая к смерти. Но прежде чем убить, он заставит тебя смотреть, как ставятся опыты над твоим младенцем. Для Менгеле подобное зверство – редкое удовольствие: узнав, что в его распоряжении есть беременная, он заключает с охранниками пари насчет пола ребенка и в зависимости от этого они совместно планируют способ умерщвления. Допустим, говорят: если окажется девочка – бросим ее собакам. А если мальчик – положим его головой под колеса машины. О других зверствах я даже не могу говорить вслух. Им нет числа, это чудовищная изощренность, ее не описать словами. Одно я знаю точно: единственное рождение, какое он допускает, – это рождение новых страданий. Для каждой молодой матери и ее младенца он изобретает новый способ убийства – в Освенциме пытки применяют даже к неродившимся.

Она смежила веки, будто хотела отгородиться от этих воспоминаний. Но отгородиться не смогла. Мири открыла глаза и посмотрела на Якуба в упор с видом человека, способного только к признаниям.

– Не перечесть, сколько раз во имя спасения жизни матери… мне приходилось оперировать безотлагательно, на грязном полу барака, тупыми, ржавыми инструментами, без обезболивания. В одиночку я извлекала из нее жизнь… голыми, окровавленными руками и, глотая слезы, говорила себе под вопли матери: ты избавляешь эту живую душу, этого малыша, от величайших страданий. А в конце – только этому не было конца! – я заговаривала с матерью: «Твое дитя мертво, но вдумайся: у тебя есть силы, ты жива, и в один прекрасный день этот мир вновь откроет нам свои объятия, и у тебя еще будут дети. Каждый раз я повторяла одно и то же – не только для матерей, но и для себя. Это было чужое горе, но и мне доставалось одно лишь горе! Сколько раз я убивала крошечное будущее… прерывала его во имя другого будущего, чтобы только не позволить этому изуверу калечить и истязать. И все равно не могу себе этого простить.

Мири спрятала лицо в ладони. Но мы понимали, что она уже не хочет для себя никакого будущего.

У Якуба был такой вид, будто он своими глазами видел все, что она описала. Лицо его стало пепельно-серым, как от внезапной болезни, но он попытался взять себя в руки. Хотел ей сказать, что знает цену спасения жизни. Цена эта, говорил он, не исчисляется известными способами: ведь он сам, решая, кого спасать, одновременно решал и судьбу тех, кому отказывал в спасении. А для тех, кому отказывал, выбирал цвет, запах и жестокость смерти. День изо дня, шептал он, ему приходилось спасать собственную жизнь, а самую трепетную, самую дорогую, самую желанную спасти не сумел.

Тут, как видно, у него пропала способность говорить, потому что, приподняв край занавески, он подвел меня к моей благодетельнице. Не глядя в мою сторону, она обняла меня и прижала к себе, а я расплакалась и еще подумала: вряд ли кто-нибудь в целом мире может похвалиться такими крепкими объятиями.

Из палаты я видела, как в коридоре медсестры заговорили с Якубом. Всему есть своя цена, повторил он. И мне она хорошо известна. Я уверен, что вы и другие, работая здесь, видите наши отчаянные попытки выбросить из памяти все эти события, вы видите, как мы цепляемся за жизнь, покуда не начинаем цепляться за смерть, а когда и то и другое оказывается безрезультатным, начинаем сознательно приближать смерть воспоминаниями о тех, кого не сумели спасти, и когда воспоминаний оказывается слишком много – это невыносимо, а когда слишком мало – это еще хуже…

Тут одна из девушек вбежала в палату, тревожным стуком туфелек сообщая о своем намерении отвлечь меня от их беседы.

Медсестра поняла, что мне требуется. Она сняла с меня обувь и уложила рядом с Мири в кровать, на чистые белоснежные простыни, где я прижалась щекой к своей благодетельнице. Кровать как раз подходила по ширине для нас двоих. Я могла бы лежать там целую вечность, гладить Мири по голове, слушать истории медсестры и делиться с ней своими. Но она сказала, что рано или поздно мне придется уйти. Мне не полезно, продолжала она, оставаться там, где столько боли, и сейчас нужно подыскать для меня место, где боли нет.

– Разве есть такие места? – спросила я не столько для себя, сколько для Мири.

Да, в этом кроется особое безумие – желать клетки со всеми приметами карцера: когда в углу скребутся крысы, когда капает на голову, а собственные пальцы барабанят по решетке. Но по крайней мере, здесь есть хоть какое-то ожидание мук. Я могла логически рассуждать, какие у меня есть возможности умереть: от боли или от разрыва на части, мгновенно или медленно, постепенно, маленькими шажками – такими маленькими, что и разницы не почувствуешь между концом жизни и наступлением смерти. В том тесном пространстве у меня сохранялась стойкая определенность. А в больнице, где белоснежные простыни, надраенные полы и не грозит смерть от голода, я оказалась в подвешенном состоянии вечной неопределенности. Все хорошее, чистое, изобильное вновь и вновь напоминало мне, как быстро меня можно раздавить, без малейшего предупреждения. Растоптать, лишить сил в мгновение ока, и предвидение этого убивало всякое желание бороться за жизнь. Зачем бороться, если полноценным человеком станешь только после смерти!

Я не знала, смогу ли ощутить себя полноценным человеком после больницы. По крайней мере для одной из нас выписка была не за горами, потому что медсестра выдала нам по чемоданчику. Нетрудно догадаться, что я стояла на очереди первой. Мне никогда будет не собраться, призналась я медсестре, получив этот подарок. Та терпеливо объяснила, что Мири серьезно больна и не сможет меня опекать. Я вежливо запротестовала: это мне теперь впору опекать Мири.

Сестру это не убедило. Она просто сложила две пары носков и аккуратно убрала их в чемоданчик. А потом оставила меня наедине с этим ненавистным предметом.

Как это было странно – получить в свое распоряжение настоящий чемодан. Мы ведь стали мешочниками, сооружали себе котомки из дырявых свитеров или грязной дерюги. Их удобно было носить за спиной, да и полезность свою они доказали в полной мере. Но чтобы настоящий чемодан! Взяв его за ручку, я словно оказалась не одна. А среди людей и стен. В какой-то пыльной коробчонке. У меня вспотели ноги, в ушах раздались крики, а в груди поднялась паника.

Мири, видевшая все то же, что и я, привлекла меня к себе.

– Считай, что ты в безопасности, – прошептала она, а потом весь вечер выцарапывала булавкой четкую монограмму «Дж. М.», причем с таким рвением, что едва не продырявила кожу.

Пусть лучше останется дырка, приговаривала она, чем память. Я не спорила: Мири предстояло вычеркнуть из памяти больше, чем другим, а для этого следовало проложить в сознании широкие полосы забвения. Но я надеялась, что в голове у нее все же останется местечко для памяти обо мне. Совсем узкий промежуток, чтобы после нашего расставания она когда-нибудь решила бы меня разыскать.

Пока Якуб и Мири беседовали, я смотрела в окно. Парашютов на этот раз не увидела, но небо на глазах окрашивалось другим оттенком голубого, что предвещало скорый конец холодов. Я сверилась с листком бумаги, полученным от дежурной медсестры. Он был расчерчен на квадратики, маленькие клетки, каждая из которых равнялась одним суткам. Мы прожили половину февраля. Интересно, моя Бесценная об этом знает?

Мири с Якубом переговаривались вполголоса, чтобы не выдавать своих планов. Якуб заявлял, что время тревог еще не кончается, но приобретает несколько иной вид: трудности нынче другие, но и решения тоже: он и сам мог подвести детей к принятию решения, уникального и блестящего. Желательность такого сценария подтверждало и руководство Красного Креста: из числа подопечных Мири отобрали одиннадцать кандидатов на участие в этой программе. Естественно, среди них оказалась и Перль – не откажется же она от этого исхода в безопасность? Да и сама доктор поддерживает разработанный план, так ведь?

Мири не разделяла восторгов Якуба. Она пробормотала что-то нечленораздельное – я сумела разобрать только свое имя. Произнесенное с тоской – во всяком случае, так мне послышалось. А может, я это придумала. Но, отвернувшись от окна, я поймала ее взгляд, устремленный в мою сторону – на мои никчемные ноги.

В Палестину, настойчиво продолжал Якуб. Через Италию, где могут подстерегать некоторые опасности, требующие скрытных действий, а оттуда – на пароходе, где для всех желающих места, конечно, не хватит, но уж близнецов-то возьмут на борт, это точно. Заслышав это, Мири совсем сникла; голос ее, и без того тихий, еле шелестел.

– Это бегство… наша единственная надежда? – спросила она. – По сей день?

Мне был знаком этот тон. Я слышала, как прохожие, озираясь, точно так же спрашивали друга, безопасно ли сейчас возвращаться к нормальной жизни.

– Почему бы не рискнуть? – прошептал в ответ Якуб. – Бывают ли такие минуты, когда ты действуешь без оглядки? Да, самое страшное кончилось… мы свободны. И пока кто-нибудь не решил, что свобода нам не нужна, что война продолжается, что еще остается неопределенность…

Этот аргумент выдвигали сторонники «Брихи», организаторы переправки в Палестину. Тогда мы этого не знали, но от заключения мира нас отделяло целых три с лишним месяца. И кто мог гарантировать, что оно состоится восьмого мая, а не в июле и не в следующем году? Во время февральской оттепели, тягостно движущейся к весне, многие рассматривали бегство в другие, более гостеприимные пределы как оправданный риск.

– Там ей будет спокойнее, чем здесь, – заверял Якуб. – Уж об этом я лично позабочусь.

Если существует такая вещь, как переломный момент, то наступил он, по всей вероятности, именно тогда.

Потому что моя заступница не стала дальше протестовать, а я и вовсе помалкивала, и мы втроем негласно решили мою судьбу. Мне предстояло отплыть в Италию, а там пересесть на совсем другой пароход, принимающий на борт свое особое море: море людей с выколотыми номерами на руках – детей и стариков, выживших и беженцев, которые – все до единого – стремились к началу новой жизни, обещанной мне Якубом.

Я опять попала в клетку, хотя и совершенно непохожую на ту, что знала раньше: в ней нам с Софией предстояло болтаться среди гуманитарных грузов, таких как перевязочные материалы, лекарства, консервы, упаковки чая. Итак, когда настал день моей выписки, в госпиталь доставили деревянный короб. Можно сказать, роскошный по сравнению с теми, какие вообще бывают. Чтобы не привлекать лишнего внимания, на покрытую лаком крышку вишневого дерева не нанесли никакой еврейской символики. Внутри поместился бы взрослый человек небольшого роста. Я могла свернуться калачиком и забиться в угол. При виде моего тайника Мири разрыдалась. По ее лицу покатились слезы, крупные, словно камешки. В силу своей привычки она старалась спрятать их за пологом волос.

– Это же гроб! – вырвалось у нее.

– Сундук, – поправил Якуб.

– Что я, гробов не видела? – возразила Мири.

Это только для пересечения границ, заверил Якуб. В дне просверлены отверстия, так что задохнуться невозможно. Одновременно со мной планируется переправить и других детей, с которыми я сдружилась на пути в Краков. Нам придется помалкивать, но каждый будет знать, что он не один, а это, сказал он, большая поддержка.

В кузове грузовика разместились одиннадцать из тридцати двух моих компаньонов. Со времени нашей последней встречи прошла всего неделя, но это были уже не те ребятишки, которых я знала. Лица округлились, круги под глазами исчезли. У Софии в волосах появилась новая ленточка. Близнецам Блау сделали стрижку. Один из Розенов обзавелся очками. Хотя все по-прежнему были в обносках, чувствовалось, что никто не остался без внимания. Я заметила, какое лицо было у Мири, когда она придирчиво изучала эти перемены и явно сокрушалась, что сама не приложила к ним заботливую руку, но для всех у нее нашлись улыбки, вопросы насчет предстоящего путешествия. Меня она усадила в углу кузова, где я с комфортом опиралась на гроб-сундук.

Я получила из вечно дрожавших рук Мири подарок, при виде которого осознала бесповоротность нашего расставания. Она не собиралась со мной ехать – ни сейчас, ни, по всей вероятности, впредь.

Как и все мы, эти туфли для степа были от разных пар. Одна – больше и новее другой.

Но я лишь отметила, что одна туфелька розовая, а другая белая. Не знаю, как Мири не обратила на это внимания. Возможно, после службы у Менгеле она возненавидела зацикленность на симметрии. Не знаю. Но на носках и каблуках обеих туфелек были аккуратные металлические набойки. Мири начистила их до блеска и с гордостью расправила шнурки. Вручая мне свой подарок, Мири пообещала, что мы еще увидимся.

– В Италии? – уточнила я.

– Если к тому времени я поправлюсь.

– А если нет?

– Ну, когда-нибудь же я поправлюсь, – заверила она.

И добавила: мы обязательно сходим вместе поужинать и обновим эти туфельки. У меня вертелось на языке, что это туфли для танцев, а я даже ходить не могу, не то что танцевать, но она с таким подъемом говорила о нашей следующей встрече, что я промолчала. Убрала туфли в короб и отводила глаза, пока Мири клялась, что мы расстаемся не навсегда.

Грузовик увозил меня все дальше. Фигура Мири стала уменьшаться, потом туман скрыл лицо. Расстояние между нами увеличивалось, а я пыталась сохранить в памяти ее глаза, нос, губы, подбородок. Пока она полностью не пропала из виду, я прощалась с каждой ее черточкой и приказывала себе радоваться, что смогла с ней проститься и сказать о своей любви. Вся моя нежность устремлялась к Мири. Она не стала мне матерью, отцом, сестрой, Самым Главным Человеком, но я мечтала вырасти похожей на нее. По натуре она была доброй, но трудности воспламенили в ней это качество, и уязвимость сочеталась в ней с храбростью. Мири познала страдания, а теперь хотела познать и возрождение.

Не могу сказать, верила ли она, что нам суждено встретиться. Более того, не могу сказать, рассчитывала ли она прожить хотя бы час после моего отъезда. Но хочу верить, она понимала, что просто обязана выздороветь, чтобы я могла увидеть ее вновь, целой и невредимой. А со мной на руках это было немыслимо, хотя она многое бы отдала, чтобы я осталась рядом. В этом не было самоотречения. В этом была любовь, мечта о моем будущем.

Вряд ли ее часто посещали мысли о собственном будущем. Наверняка она не ждала, что судьба уготовила ей процветание. Что в Америке ее ждет рай земной, что ей позволят заниматься врачебной практикой в какой-нибудь больнице, что она своей неслышной поступью будет входить во множество палат, глядя в глаза беременным женщинам. Что она будет мыть руки, натягивать перчатки и обращаться к будущей матери, а про себя молить: Боже милосердный, об одном прошу: помоги мне принять настоящую, всамделишную жизнь – младенца, о котором не скажут «выживший». И тысячи сделают свой первый вдох у нее на руках.

Нет, в ту пору о таком она даже мечтать не могла. Побывав во власти зла, мы зачастую перестаем понимать, кто мы такие и на что способны. Наша встреча произошла десятилетие спустя в приемном покое манхэттенской больницы, куда меня привезли на обследование. Я узнала ее мгновенно, хотя и увидела со спины: по плечам рассыпались спутанные кудри, а сама она по привычке слегка приподнималась на цыпочки, как будто готовясь по первому зову бежать на помощь. Готовая к нашей встрече, она невольно назвала меня Стасей, и я с минуту, если не больше, уговаривала ее не извиняться за эту оговорку, которая осталась у меня в памяти как теплота, которой много не бывает.

Стася, прошептала она, будто в поминальной молитве.

А потом на правах матери-сестры, которой она для меня стала, прошла со мной в смотровой кабинет, где, пока меня раздевали и укладывали на кресло, немного понукала медсестер и наказывала врачу обращаться со мной как можно бережнее. Когда осмотр моих внутренностей закончился, я целый час отлеживалась на кушетке в отдельной комнате ожидания, вновь переживая обе свои девичьи ипостаси: одну – избранной жертвы, другую – интактной половинки, и, когда наконец появился доктор, чтобы обсудить со мной поступившие результаты, я взяла Мири за руку.

Мири сидела рядом, пока мне объясняли суть проведенного обследования и рассказывали о невыявляемых недугах, которые подтачивали мое здоровье. С нею вместе мы услышали о недоразвитии ряда моих органов: из-за голода почки у меня остались совсем детскими и весь мой организм застыл на пороге взросления по той причине, что жил когда-то человек без души, который собирал коллекцию детей и притворялся, будто любит тех, в ком находил особинку, расхваливал их и медленно умерщвлял. Внутренние органы, загубленные его беспрокими руками, не отвечали потребностям моей взрослой жизни.

Тут Мири обо мне заплакала. У нее хлынули слезы, которых у меня больше не осталось. Сидела она неподвижно и лишь в какой-то момент спросила о моих чувствах, а когда я не ответила, Мири лишь произнесла мое имя, и Стасино тоже. Посторонних глаз она не стыдилась; ей хотелось поведать всем и каждому, что он со мной сделал; сейчас в ней ничего не было от той женщины, которая заставила себя стоически перенести наше расставание в Кракове.

В ту пору я думала, что у меня остались от нее только туфли для степа. Но когда меня для пересечения границы силком запихнули в гроб, в носке одной туфли я нашла записку. В ней я ожидала увидеть прощальные слова. Думала, Мири будет виниться, рассказывать про свои недуги, помешавшие ей отправиться со мной в бегство.

Но та давняя записка, которая плакала расплывшимися буквами?

Там ни слова не говорилось о ее жизни, утрате, горестях. Там говорилось только обо мне. И когда мы, дети, попали в засаду, когда из-за движения танковых колонн попали не в тот город, а потом не в ту деревню, я говорила себе: если мне удалось выжить, то причиной тому не моя сила воли, не баклага воды, не кусок хлеба, не компания Софии и других близнецов, которые тряслись вместе со мной в кузове. И даже не придуманная нами система связи, позволявшая нам условным стуком сообщать из своих сундуков, куда мы залезали при пересечении границ и в преддверии опасностей: один раз – «Я жива»; два раза – «Я жива, но задыхаюсь»; три раза – «Я жива, но зачем?».

И только рассказ Мири о той Необыкновенной Половинке, которая меня любила, только те подробности – ее игры, ее пристрастие к ножу, как она побуждала меня танцевать, – только это поддерживало во мне жизнь в течение трех суток пути, пока наш грузовик не остановили двое дезертиров вермахта, которые были настолько одержимы желанием найти средство передвижения, что не погнушались выбросить Якуба с водительского места. При их приближении Якуб велел нам залезать в сундуки. Почуял ли он приближение своей смерти – не знаю. Я только услышала пистолетный выстрел и удар тела о землю. И еще я слышала, как всхлипывает лежащая рядом София. Грузовик набирал скорость, и я сказала, что нам нужно только дождаться, когда солдаты сделают остановку, а как только грузовик затормозит, мы все вылезем, добежим до ближайшей деревни и найдем другой путь к спасению. София напомнила, что я на костылях. Я напомнила, что мы с ней – близнецы, хотя каждая пережила утрату. И заверила, что общими усилиями мы с ней добьемся своего, – так всегда говорила моя Необыкновенная Половинка.

И с этого момента я, не имевшая рядом никого, с кем можно разделить обязанности, все взяла на себя. Я взяла на себя надежду и риск, безрассудную решимость и упрямую веру в то, что в очередной раз сумею выкарабкаться.

Прямо в сундуке я надела туфли для степа и стала выжидать, когда можно будет пинком откинуть крышку и выброситься.

Стася

Глава двадцать первая. Еще не вечер

Какого приветствия ожидала я от развалин Варшавы? Там, где должна была закончиться жизнь Менгеле, чтобы наша жизнь могла начаться заново, слышно было только, как харкают на тротуар, прочищая легкие от пыли, приезжие из деревень. А посмотреть на нас: оружие наше пропало, меховые шубы отобрали. Едва ли не нагие, совершенно беззащитные, мы обрядились в пеньковые мешки, выпрошенные на придорожной ферме, обмотали голые руки и ноги подобранными на обочине шерстяными тряпками и обулись в огромные, не по размеру, башмаки; мой друг содрогался при каждом шаге и постоянно крутил головой, разглядывая рану на плече, откуда в мою ладонь выскользнула пуля. Двумя пальцами я под его вопли извлекла эту пулю из тела, сокрушаясь, что мой собственный недуг нельзя исцелить таким же быстрым, хотя и кровавым, способом. Никогда больше не возьмусь лечить других, сказала я себе. Сейчас мои мысли занимало только умерщвление, и Феликс думал о том же. Мы с ним сообща изобретали новые, неуклюжие пытки. Сызнова набрали мешок камней, чтобы метать в череп истязателю, сжимали под мышкой импровизированные пики, заостренные так, чтобы легко пронзали грудную клетку, и считали, что наша ярость в конце концов преобразует эти убогие средства, когда мы отыщем Менгеле, затаившегося в углу Варшавского зоопарка.

Варшава не признала наши орудия уничтожения: она была слишком поглощена собственным восстановлением, чтобы отвлекаться на таких, как мы. Но хотя наше появление осталось незамеченным, я надеялась, что город примет на себя нашу миссию. Так же как и мы, город был разрушен. Его изуродовали рвы и завалы, пустыри были расчищены, кварталы сравнивали с землей, пока город не превратился в один сплошной подвал, в гробницу, в зал ожидания, где телефон отвечал только «прощайте», но я видела, что люди повсеместно выбивались из сил, чтобы поднять его из руин, чтобы согреть своим дыханием обломки поваленных синагог. Родные места придавали им силы: они сумели сделать так, чтобы с деревьев не облетела листва, чтобы раскрывались цветочные бутоны, а черепа чтобы оставались глубоко под землей, откуда их не могли выкопать собаки. Зато у нас были таланты пришельцев-мстителей. Местные жители доверили городу жить, а мы пришли, чтобы совершить казнь. Только с убийством Менгеле деревья могли сохранить листву, чтобы цветы могли раскрыться, а черепа – спокойно спать.

Опускались лиловые сумерки; в воздухе затикали, обращаясь к нам, невидимые часы, напоминая, что время не ждет. Через пару шагов до меня дошло, что это всего-навсего стучит мое сердце, но послание от этого не изменилось. Темп ускорился, когда мы, завернув за угол, увидели красноармейца, который резал яблоко пилкой для ногтей, а сам прислонялся к стене рядом с метлой.

Я подумала: неужели эта метла настолько молода, что не видела ничего, кроме пепла и обломков? Солдатик выглядел таким веселым и беззаботным, что я решила, будто все закончилось.

– Вы его уже поймали? – спросила я.

Боец взглянул на меня поверх пилки.

– Гитлера? – уточнил он.

– Да нет же, – сказала я. – Другого. Ангела Смерти… вы его нашли?

– Не понял вопроса, – бросил он. – Ты как-то… это… не по-русски…

Ясное дело, все он понял. Чтобы вытянуть из него ответ, я на всякий случай показала жестами, как будто играя в «живую природу».

Попыталась руками изобразить личность из рода немецких промышленников, любовно именуемую в семейном кругу Беппо. Это было несложно. Привстав на цыпочки, я надулась, подкрутила воображаемые усы, выдернула волосок и отправила в рот по примеру Менгеле, известного этой гнусной привычкой. Без труда изобразила и причастность его к медицине: запахнула белый халат, вонзила шприц, извлекла внутренний орган, сшила вместе двоих мальчиков, посадила в клетку лилипута. Сложнее оказалось показать степень жестокости. Мне не удалось передать его мерзость и низость, звериное пренебрежение к живым существам во всем их многообразии.

Да, здесь меня ждал такой же провал, как в скотовозке, где я тщилась изобразить амебу. Неудивительно, что солдатик недоуменно помотал головой. Я извинилась за такое путаное объяснение. Сделала еще одну попытку. Включила в нее все. Опыты, общую боль, «Зверинец», ночи, дни, запах. Трупы, сброшенные во рвы, служившие отхожими местами. Я старалась изо всех сил, но сознавала, что непосвященный никогда не поймет этого до конца.

Солдат и не понял. Я зашла с другого бока. Поскольку правда о Менгеле могла стать известной только через его жертв, я начала писать на земле список. Внесла туда все известные мне имена. Внесла Перль. Внесла себя, но потом вычеркнула. Боец наклонился над списком, пробежал глазами имена, пожал плечами, отдал Феликсу недоеденное яблоко и заспешил вглубь развалин, где промелькнула миловидная девушка, которая собиралась развешивать белье на руинах мясной лавки.

– Ты даже не пытался меня поддержать! – возмутилась я.

– Неправда, – с набитым ртом ответил Феликс. – Все время рядом стоял.

Я предположила, что он вообще не желает обращаться за помощью к посторонним.

– Точно, – признался он. – Хочу, чтобы мы с тобой были вдвоем. Это не чье-нибудь, а наше с тобой дело – прикончить этого гада.

Мне нечего было возразить. И мы продолжили поиски среди руин. Из-под завалов вылезали какие-то мужчины с нимбами из пыли и сажи. Сажа, смешанная с пеплом и пылью, покрывала и лица, но под слоями грязи сквозила решимость. Они, эти люди, пели песни городу, курсируя с тележками туда-обратно. Дети сидели с ведрами на опрокинутых крылечках. Кошки недоверчиво косились на людей и сигали прочь, чтобы не угодить в жаркое. С уцелевших домов свисали, отгоняя злую силу, традиционные пучки полыни.

У Феликса возникло странное ощущение родства со здешними местами, насколько это возможно в павшем городе. По его словам, здесь у него раньше жила тетя, улицы были ему знакомы, и он уверенно показывал дорогу. Мы подобрали какое-то рванье на смену нашим дерюжным мешкам, нашли носки и разрозненную обувь. У прохожих, если те соглашались остановиться, спрашивали, где тут зоопарк. В ответ на такой вопрос каждый только мотал головой. До войны мы с удовольствием слушали крик бакланов, говорили одни. До войны мы любовались, как резвятся зебры, отвечали другие. Но теперь все сходились на том, что зоосад можно узнать разве что по его руинам.

Нам попадались вывески. Они рассказывали о несостоявшихся судьбах, о судьбах исковерканных или прерванных, о судьбах, ведущих в лес. Тут – птичник, лишившийся пернатых. Там – слоновник с опустевшими бассейнами. Дальше, среди зелени, могли бы водиться и великолепные тигры. Не сверкали на солнце павлиньи хвосты, не гоготали гуси, павианы не гоняли мартышек. Не охотилась рысь.

Где прежде властвовало царство животных, виделся только хаос: раскуроченный ров, клочья меха, прилипшие к отогнутым прутьям решеток. В фазаньем вольере ветер гонял вырванные книжные страницы; к нечистотам прилипли туристские карты. Бассейн для белых медведей накрыло ковром из отбросов и мха. Львиную долю львиного павильона засыпало осколками снарядов. В обезьяннике болтались веревочные петли, забывшие о пальцах приматов и похожие на виселицу.

Обведя пальцем отпечаток чьего-то копыта, я легла рядом, прямо на землю. Интересно, хоть раз, хоть кому-нибудь вообще удался побег? Отпечаток копыта, похоже, затруднялся с ответом.

Я пришла сюда в поисках Менгеле, это так. Но надо думать, еще и в поисках жизни. Впрочем, я до этого додумалась лишь после того, как ее не увидела.

По левую руку от следа копыта я высмотрела маленький холмик, свежий земляной бугорок и, разбросав землю, сунула туда руку. Что я ожидала нащупать на дне воронки? Рука мечтала нащупать руку; ей хотелось найти мою сестру, которая терпеливо отсиживается в варшавском подземелье. Но пальцы уперлись в жестяную крышку, и я вытащила стеклянную банку, полную имен.

Как семена, я высыпала содержимое на землю – узкие, пожелтевшие бумажные полоски. Александр и Нора. Мойше, и Самуил, и Берил. Агана, Ян, Рина, Зайдель, Варфоломей, Элиша, Хая, Израиль. Имени Перль там не оказалось. Феликс, глядя на имена, скорбно причитал. Я была ему благодарна, так как у меня больше не оставалось сил для скорби. Откуда нам было знать, что это имена детей, вывезенных еврейским подпольем, детей, получивших новые имена и биографии, новые адреса и лица, детей, хоронившихся под любыми предметами быта – под рулоном ткани, под кучей лекарств, под залежами бутылок. Эти дети жили в складках материнских юбок, под половицами, под кроватями, за фальшпанелями, чтобы в один прекрасный день вернуться к жизни. Но Феликс машинально фиксировал своей рукой имена и закапывал банку сызнова, давая мне наставление вывести их из спячки.

Мы крадучись исследовали клетки и вольеры, не понимая, где мог затаиться Менгеле.

Я уж подумала, что он овладел искусством мимикрии, позаимствовав основные навыки у кого-нибудь из обитателей зоопарка, у невинного создания, некогда считавшего, подобно мне, что в нем возможно отыскать крупицу доброты. Такой оптимизм больше подошел бы хамелеонам. Но Менгеле – тот был о себе слишком высокого мнения, чтобы маскироваться под камень, пыль, землю. И все же я с каждым шагом все тверже верила, что он вот-вот выскочит у нас из-под ног, бросится наутек из какой-нибудь норы. Я ступала с величайшей осторожностью. Одну руку держала в котомке с камнями, а другой приготовилась показать издевательский жест.

– За деревьями проверь, – шепнула я.

Но Феликса не заинтересовали мои советы. Пожав плечами, он запустил самодельное копье в березовую рощицу. Осмотрел свою котомку с камнями и начал вынимать их один за другим так бережно, словно это была кладка птичьих яиц. Затем он лег на землю, подставил лицо свежему ветру, уставился в вечернюю облачную высь и со странно отрешенным видом завел игру, в которую мы играли давным-давно, на футбольном поле.

– Не вижу среди вас ни одного эсэсовца, – обратился он к собирающимся кучевым облакам.

Я заметила, что время сейчас неподходящее. Пообещала, что мы непременно устроим привал и займемся чтением облаков, но прежде должны отыскать Менгеле. А убить можно и потом. Сейчас достаточно запереть его в тигриной клетке и вернуться позже, чтобы он прочувствовал на своей шкуре всю нашу злонамеренность.

– Что-то я устал, – не шелохнувшись, заявил Феликс.

За все время наших скитаний он впервые пожаловался на упадок сил. Мне доводилось видеть, как Феликс буквально заставляет себя передвигать ноги, поднимать голову, открывать глаза, проглатывать кусочки съестного, но на изнеможение он никогда не сетовал. Я встревожилась. Пощупала ему лоб. Феликс отшатнулся.

– Нам нужно выспаться, а утром со свежими силами продолжить поиски, – бодро сказала я. – А то останемся в дураках, если при поимке будем ни на что не способны. Как говорил твой отец-раввин…

– Никакой он не раввин, – мрачно выдавил Феликс. – Я соврал.

Признание было адресовано мне, но обращался он к облакам.

– Ладно уж, прощаю, – сказала я. – Мне ведь тоже лгать приходилось. С тех пор, как ушла (пропала? исчезла? не стало?) Перль. На самом деле я даже сейчас подвираю… то есть мне и раньше случалось врать. И нередко.

Феликса мои откровения нисколько не утешили. Из глаза у него вытекла слезинка и покатилась по лицу. Он даже не пытался ее смахнуть.

– Такого брехуна, как я, еще сыскать надо, – выговорил он. – Отец у меня был пьяницей, уголовником, без гроша в кармане. Мы с ним ночевали в склепах, на задворках, где только могли укрыться. До вторжения немцев он вообще не дожил. А мать… она давным-давно умерла. Как это приключилось – не знаю. У меня еще брат был… После смерти отца нашел себе подругу, она добрая была, пустила нас к себе жить…

Тут я сказала Феликсу, что он не обязан продолжать. Мы же не собираемся выяснять, кто из нас больше наврал. Мы собираемся выяснить, кто из нас лучше сумеет расправиться с Йозефом Менгеле, Ангелом…

Феликс резко сел, вызывающе скривив рот:

– Не перебивай! Мы жили здесь, в Варшаве. Прямо за этим зоопарком. Видишь вон тот дом? Когда-то он был наш.

Я посмотрела в ту сторону: не дом, а разворошенное осиное гнездо. Скелет с внутренностями наружу. Тут до меня дошло, откуда Феликс так хорошо знает город, вплоть до названия каждой улицы, и с какой стати ему кивают прохожие. Мне оставалось только повторить, что я его прощаю и что эти вымыслы ни на что не влияют. Одного я не поняла: с какой целью он делал вид, будто попал сюда впервые…

Отводя глаза, Феликс объяснил:

– Я думал, тебе понравится зоопарк. Увидишь зверей и снова захочешь жить, а может, даже со мной вместе. Я думал… если дать тебе такую возможность, такую надежду, ты не будешь больше твердить про бессмертие. Да он всех пичкал этими россказнями! Всем талдычил эту фигню, пойми. Такой брехун – я ему в подметки не гожусь!

Не знаю, что отразилось у меня на лице, но подозреваю, что глупость – и только. Я слишком долго надеялась, что другие простят меня, оставшуюся в живых. За какой-то миг до этого я еще верила, что во мне живут годы детей и матерей, минуты скрипачей, землепашцев, профессоров, всех беженцев, не успевших вернуться из бурлящей страны, куда забросила их война. Но глаза мне открыли не науки, не Бог, не искусство или разум. А простой мальчишка – предатель, друг, брат, который мечтал показать мне тигра.

– Хотя бы сейчас до тебя дошло, что это вранье? Как ты могла купиться? Менгеле надирал нас всех, до самого последнего… не тебе одной пачкал мозги.

При этих словах я тоже опустила копье. Выронила котомку, обреченно громыхнувшую камнями. Камни приняли мою сторону. Камни не молчали, они соглашались, что да, я была дурой, но ведь Менгеле считал меня особенной, Менгеле выделял меня из всех, говорил, что я – не девочка, а сокровище, единственная достойная.

Мой друг скривился от жалости:

– Стася, мне даже в голову не могло прийти, что ты этому веришь…

Видя, что я совершенно убита, Феликс бросился ко мне и зачастил: дескать, мне просто нужно хорошенько выспаться, а дальше обрести семью – возможно, приемную – и новую страну проживания, у которой есть будущее. Его примирительный тон раздосадовал меня еще больше. Я зажала уши ладонями, отгородившись от этих благодушных речей, и отняла руки лишь для того, чтобы залезть в котомку. Камень улетел в сторону дома-скелета, просвистев мимо уха Феликса.

Его лицо? Своей грустью оно давало понять, что мы с Феликсом уже стали семьей.

Я метала камни один за другим. Не для того, чтобы поразить свою мишень, а просто чтобы не таскать больше эту тяжесть. Метала их в уцелевшие оконные проемы, щерившиеся осколками. Мне на радость, камни добивали стекло. Особо преуспел в этом последний: он довершил атаку с благородным, почти музыкальным звуком. Что было тому причиной, подсказал мне только выкрик живой мишени:

– Клавиша! – завопил Феликс.

Я заглянула в котомку. Действительно, моя рука сама собой, в небрежной, безрассудной ярости ненароком выбросила принадлежавшую Перл клавишу от рояля. Феликс ринулся за ней к дому, я бросилась следом.

Не знаю, посетило ли Феликса узнавание этой развалюхи, но с порога он настороженно обвел взглядом стены. И у меня на глазах прицельно растоптал валявшуюся у входа фотографию в рамке. С нее на меня смотрел совсем юный Феликс. Близнец его тоже смотрел на меня. Я не определила, задолго ли до отправки обоих в менгелевский «Зверинец» был сделан этот снимок. Притом что отрочество братьев было нелегким, мне показалось, что в свое время оба отличались безупречной внешностью: одинаково широкие улыбки, одинаково зачесанные на пробор волосы, широко посаженные, лучившиеся надеждой глаза.

Мне трудно было переварить это прошлое, но нам предстояло двигаться дальше.

Нас встретил хаос гостиной, где на креслах и диванах лежал слой цементной пыли и фарфоровой крошки. Мародеры разворотили половицы, вытащили из буфета посуду. Хотя в доме все было перевернуто вверх дном и порушено, развалины, вопреки обыкновению, не выглядели жалкими: дом противостоял тем, кто явился его сокрушить.

По лестнице, испещренной оставленными в пыли следами, мы поднялись наверх, где трепетали противомоскитные сетки. В летнее время такие крепились над каждой кроватью, но мародеры их сорвали и вывозили в грязи. Тюль с оборками и драпировками призрачной метелью бился над полом и мебелью. В поисках белой клавиши мы стали рыться в этой тюлевой пене, то и дело натыкаясь на острые углы, и вдруг Феликс резко остановился:

– Слышишь?

Я ничего не услышала.

– Женщина… кричит, – сказал он. – Прислушайся.

И тут этот крик долетел до нас, как зов, и мы, помедлив у лестницы, бросились наверх, в темноту.

– Это в гостиной, – определил Феликс. – Похоже, кто-то мучается от боли.

Плач сделался громче. Я слушала – и чувствовала, что отчуждаюсь от своего тела. Клянусь, плач этот был мне знаком, причем с самого рождения; когда-то он приводил меня в отчаяние, но сейчас дал надежду.

– Это Перль, – сказала я Феликсу.

И вдруг, как будто откликом на мои слова, что-то грохнуло, содрогнулось, ударило по фортепианной клавиатуре. Оттолкнув с дороги Феликса и даже не прихватив свечу, я бросилась вперед по осколкам стекла, удерживаемая только протянутыми руками мебели.

В гостиной стояло пианино. Непотревоженное. Тут подоспел и Феликс, который загородил от меня инструмент.

– Кого принесло ко мне в дом? – требовательно спросил он.

Ответом были только рыдания. Они без труда распознавались как женские, причем вызванные неведомыми мне ощущениями. Когда мы подкрались к пианино, я увидела их источник: фигуру, завернутую в одеяла. Феликс двинулся к ней, но остановился на расстоянии.

– Ты должна посмотреть, Стася, – прошептал он.

Это была цыганка. Ссутулившись, она привалилась к пианино сбоку, но подняла к нам лицо. При виде этой сцены я и думать забыла о фортепианной клавише Перль. Даже не поискала ее глазами. Женщина поникла; она чем-то напоминала лепесток, изо всех сил цепляющийся за чашечку цветка.

– Она умирает? – ужаснулся Феликс. – Потому и дышит со стоном, да?

Я бы не сказала, что услышала дыхание смерти. Оно правда выдавало муки, но совсем другие, хотя и столь же переломные. Сомнений не было: у меня никогда в жизни не вырывалось такое дыхание. Да и у Перль тоже. Эти стоны, страдальческие и вместе с тем небезнадежные, таили в себе проблеск будущего, как будто перед женщиной маячил какой-то свет. Но я не стала делиться своими мыслями с Феликсом. Потому что при виде этой жалкой фигуры меня захлестнула ненависть. Вместо моей сестры здесь оказалась чужая тетка, загнанная, изгнанная. Как и я, понесшая утрату. Рыданий почти не осталось. Я не могла знать, что прочила ей судьба – дом, мужа, ребенка – и сильно ли это отличается от того, что прочилось мне; и к слову: не числит ли моя судьба за собой долгов?

Ища рану, Феликс откинул верхнее одеяло, и женщина выдохнула с какой-то пугающей мощью. Она замахала на нас руками, умоляя подождать, а потом сунула руки за спину и вытащила огромный кривой нож. Это лезвие само по себе выглядело чудом; забыв обо всем на свете, мы не сводили с него глаз и поражались непредвиденной женской силой. Сомневаться не приходилось: кто вооружен таким клинком, тот намерен поквитаться с Йозефом Менгеле. Изможденная, вся в испарине от боли, она пристыдила нас обоих своим боевым духом.

Мы не скрывали своего впечатления. Вот если бы, сказали мы, если бы только у нас был такой нож в дебрях «Зверинца».

Она пришла в замешательство, нахмурилась, и со лба потекли капли пота.

– Да мы не об этом, – спохватился Феликс. – Этот городской зоопарк тут ни при чем. Мы о другом – о том, который…

Женщина резко выдохнула. Сперва я подумала, что от отчаяния. Но когда частые выдохи последовали вереницей, мне стало ясно: это от боли и спазмов. Несчастная жестами попросила Феликса к ней нагнуться. И с церемониальной торжественностью вложила в его немытую руку длинный клинок.

– Примите мою благодарность, – сказал Феликс, когда к нему вернулся дар речи. – Клянусь: настанет день, когда я убью им фашиста – в вашу честь.

Женщина вновь повесила голову, судорожно выдохнула и – о чудо! – по-девчоночьи засмеялась. Судя по всему, она распознала и оценила пару слов: «убью фашиста», хотя ни одно не имело отношения к ее насущным пожеланиям. Мало этого: она захлопала в ладоши, как будто мы разыграли перед ней сценку, просительным жестом согнула палец, а потом указала на свой живот.

– У нас у самих нет… – начала я, но это уже не играло никакой роли, потому что женщина, подняв край рваного свитера, обнажила живот, но, в противоположность нашему опыту, не впалый от голода, а совсем наоборот, непостижимо круглый, каких мы не видывали. В пупочной области чувствовалось какое-то шевеление. Пульсация жизни – вот что это было.

Я подсела к ней, взяла за руку. Не из фамильярности, а из страха упасть в обморок. И женщина целенаправленно потянула мою ладонь куда-то вниз живота. Она вела себя поучительно; ее просьбу невозможно было спутать ни с чем другим. Феликс ухватил меня за локоть и попытался оттащить.

– Ты ее убьешь, – прошептал он.

Я объяснила женщине, что не сумею воспользоваться ножом так, как она просит. Она с улыбкой повторила свой жест. Ей не терпелось просветить меня, добиться продолжения: ей хотелось показать мне роды.

Пришлось повторить, что я не выдержу такого зрелища. Но у меня тут же возникло сомнение в собственных словах. Эта женщина – она умирала, покидала этот мир, унося с собой еще не начавшуюся жизнь, которая не обязана ничего знать о страданиях, выпавших на нашу долю. Жизнь, в которой есть место нормальному детству. Разве не было у меня обязательств перед этой новой жизнью?

– Ведь потом себе не простишь, – предостерег Феликс.

Мои мысли обратились к манипуляциям Менгеле. Однажды, лежа в смотровом боксе, я увидела, как он взрезает чрево какой-то женщине. Процедура не рядовая, исключительно в качестве одолжения одному знакомому, объяснил он. Уж не знаю, о каком одолжении шла речь, если новорожденный был тут же выброшен в ведро, и это было представлено как благотворительный акт, хотя у меня на глазах кесарево сечение превратилось в настоящую вивисекцию. В одночасье мне преподали наглядный урок. Постаравшись забыть лицо несчастной матери, я сохранила в памяти шрамы от таких родов – расположение, длину, изгиб – и знала, что такие разрезы могут с легкостью погубить ребенка, а не только произвести его на свет.

А потом я погрузила лезвие в ткани, как того хотела роженица, как подсказывала мне память и как никогда не сделал бы Менгеле – бережно, собрав всю оставшуюся способность любить. Женский крик прекратился и раздался новый.

При всех моих помыслах о мщении руки у меня впервые в жизни были в крови. На глазах у нас с Феликсом взгляд женщины померк, тело обмякло.

По-моему, она успела заметить, что ребенок подвижен. У него было такое забавное личико: креветочно-розовое, старческое. А иначе почему она умерла с улыбкой?

Передав нож Феликсу, я объяснила, как перерезать пуповину. Пускай, думала я, он возьмет на себя ответственность за это заключительное сечение.

– И куда мы с ним? – спросил Феликс.

Я стерла с младенческой кожи послед плавучего мира. Новорожденный разительно отличался от лагерных младенцев. Трагедия заключалась не в том, что его пытались убить, а в том, что никто в этом доме не знал, как заставить его жить.

С утра младенец, которого я несла на руках, запищал. Раз за разом переходя через улицы, я несла Малыша туда, где лучше. Ему требовались заботливые опекуны, которые могли бы поставить его на ноги, чтобы он не рос сиротой. Я знала, что Феликс воспротивится этому плану, а потому сбежала украдкой, пока он еще спал. В силу своей любви к невозможному мой спутник наверняка стал бы требовать, чтобы мы взяли несчастного кроху на свое попечение. А я не хотела, чтобы меня склонили к такому решению. Поймите: когда я, укачивая Малыша, наблюдала, как Феликс роет могилу для матери-цыганки, у меня появились другие планы на будущее.

Он схоронил ее рядом с тем местом, где лежала стеклянная банка, полная имен.

Новорожденный знать не знал о похоронах, но наверняка проникся моими мыслями, когда я, помолчав над свежим холмиком, пристроила в изголовье павлинье перо – за неимением надгробного камня. Как только перо сдуло ветром, Малыш расплакался. Плакал он не только от горя: таким способом он заявлял о себе. Ему хотелось, чтобы его считали человеком из плоти и крови, а я уважала скорбь как ничто другое, и он это чувствовал. Для такого крохи план был вполне здравый, но мне, огрубевшей девчонке, было не до сантиментов.

Посмотрев на кареглазое личико, я рукавом стерла с него сонливость и понадеялась, что моя аккуратность послужит заменой любви, но ребенок довольно забулькал, потому что воспринял этот жест как знак сердечности. Он уже считал, что мы – родные. А во мне всколыхнулась жалость: пробираясь сквозь обломки, я несла его на вытянутых руках, чтобы расстаться с ним навек.

На ходу я мысленно перечисляла все, что осталось позади. Когда-то я была подопытным кроликом Менгеле. А теперь мне, как видно, предстояло стать подопытным кроликом для разоренных войной, распавшихся на части, обескровленных стран… Сможем ли вновь превратить их в свои родные края? – всех волновал этот вопрос. Конечно, в этом отношении не я одна стала подопытным кроликом. Нас было множество; оставалось только гадать, многие ли сделают тот же выбор, что и я.

Понимаете, облатка, полученная мною от мстителей – предназначенный для Менгеле яд, который я вынесла за щекой из глубин соляной шахты, – хранилась у меня в носке. Повсюду находилась при мне, шепталась с моей лодыжкой, которую сосуды и нервы связывали с сердцем. Вопреки моим ожиданиям яд не вселял в меня ужаса, а, наоборот, странным образом утешал. Продукт нашего времени, он знал про мою боль. И оказался мудрее меня: его химический состав витал над землей столетиями, куда только его не заносило, с кем только он не расправлялся. Время от времени он пытался выскользнуть из моего рваного носка, но я запихивала его обратно и шла дальше. Расстояние до приюта сокращалось, и я хотела досконально оценить этот путь: хотя город лежал в пыльных руинах, это был последний город, который мне светило увидеть, и я вбирала в себя все, что только можно, – старушку, которая сдувала пыль с фотографий, детей, собирающих в кучу стреляные гильзы, витрину с остановившимися часами и моим отражением.

Я внушила себе, что часы остановлены в память о нас с Перль. Уберечь сестру я не сумела, но верила, что разыщу ее после смерти. Перль сама этого хочет, говорила я себе, и не только потому, что скучает. Она ждет меня по той причине, что понимает, сколь невыносима для меня мысль о бегстве Менгеле, который остался безнаказанным, недосягаемым, неподвластным правосудию. Если мне и не суждено было встретиться с сестрой, я не смогла бы жить после своего провала.

А если жизнь после смерти все же существует, мы сможем по-новому разделить между собой обязанности.

Перль возьмет на себя надежду на то, что мир никогда не забудет, как с нами поступил.

Я возьму на себя надежду, что больше такое не повторится.

Никто не будет обзывать нас чужекровками. В той жизни отпадет надобность в этом слове.

В конце концов я добралась до цели. На железную стойку ворот кто-то надел красную рукавичку, напоминавшую пронзенное сердце. Мощеная дорожка вдоль уцелевших приютских стен была разворочена; в земле копошились дождевые черви; выдернутые с корнями розовые кусты указывали шипами на красную дверь с тусклой, но все еще грозной железной колотушкой в виде льва. Обмахнув дверной коврик от росы, я положила на него Малыша. Жестокости в этом не было: я проверила, плотно ли он завернут в материнское одеяло. Ребенок, похоже, был доволен жизнью: он тихонько кряхтел, потрясая кулачком. Я взяла его большой палец и сунула ему в рот. Это самое большее, что можно для него сделать, подумалось мне, но Малыш тут же расплакался. Я развернулась, чтобы поскорее выйти за ворота на улицу, забиться в укромный угол и проглотить яд, но бросилась вниз по ступеням, не разбирая дороги, и налетела на какого-то мужчину. Он шел без пальто, в ветхой одежде и прохудившихся башмаках. Головы у него не было – то есть ее загораживала советская газета с кричащими заголовками. Я извинилась. Он тоже. Правда, запнулся на полуслове. А потом схватил меня за руку, на которой был выколот номер, и выронил газету.

С первой полосы на меня смотрело лицо, знакомое мне, как никакое другое. Оно плыло среди моря других лиц за колючей проволокой плена.

На газетную страницу упала капля, грозившая размыть это лицо. Подумав, что начался дождь, я подняла газету с земли – и услышала рыдания.

Вы можете усомниться: как я узнала человека по рыданиям, если за все годы, проведенные рядом с ним, вообще не слышала, чтобы он плакал? Зато смеялся он много, это правда, а перед своим исчезновением все чаще срывался на крик отчаяния, когда пытался договориться с прочими обитателями гетто: все вроде бы хотели творить добро, но, как только доходило до дела, никто не желал прислушиваться к другим. Как бы то ни было, здесь, на ступеньках приюта, его рыдания положили конец нашей долгой разлуке.

– Ты жив, – только и смогла выговорить я.

Отец прижал меня к груди. Его тело сотрясали всхлипы, отчего он мог бы показаться мне совсем чужим, но нет: ко мне вернулись воспоминания о человеке, который знает, что такое искать и добиваться цели, отметать все сомнения, так и норовившие его сломить. Папа никогда не поддавался сомнениям – по крайней мере, с тех пор, как Перль и я с ним познакомились. И теперь в отцовских глазах светилась доброта, и уже известная мне, и грядущая. Нас ждали дни, которые надо видеть, истории, которые надо слышать, и оружие, с которым надо проститься. Малыш, свидетель нашей встречи, лежал в корзине на крыльце тихо, совсем тихо. Говорят, новорожденные не видят. Неправда. Могу засвидетельствовать, потому что в папиных объятиях я и сама сделалась новорожденной.

С появлением отца мир открылся для меня заново. При виде столь сильно изменившегося родного лица я ощутила себя найденышем, которого спасло чудо, нежданное счастье. На меня снизошло благоговение; теперь и впрямь начался дождь, который смешивался со слезами. Как удивительно, думала я: после всего, что нам выпало, дождь остался простым дождем! Некоторые истины непреложны; вот вам и доказательство. И еще одна непреложная истина: мой отец выжил, прижал меня к груди, и я слушала, как бьется его сердце! Оно не знало, что тут можно сказать.

Папа и сам лишился дара речи. Он гладил меня по лицу перебинтованной рукой – рукой, которая, невзирая на все беды, помнила черты Перль так же твердо, как и мои. Когда он легонько ущипнул меня за кончик носа, я расплакалась.

И сквозь слезы попыталась рассказать, что зайде больше нет, но смогла лишь выдавить: Папа, наклонись ко мне, пожалуйста, у тебя в бороде листик застрял.

Попыталась рассказать, что мамы больше нет, но лишь повторяла: Мама, мама…

Попыталась рассказать, что Перль, нашей Перль, моей Перль… но он не дал мне закончить и обнял еще крепче. Я чувствовала, как шевелятся у моей макушки его губы, – отец заговорил.

– Какое счастье, что я тебя нашел! – сказал он. – В статье сказано, что детей разбросало кого куда. По большей части их направляли в лагеря для перемещенных лиц. Некоторых – в приюты. Из Гросс-Розена. Из Маутхаузена. Я ехал от одного до другого две недели, поезда без конца останавливались… рассчитывал получить какие-нибудь сведения в Лодзи, а оказался в Варшаве. И надо же – встретил тебя именно здесь!

Папа засмеялся, и новорожденный тоже – по-своему, конечно. У меня не получалось смеяться вместе с ними. Я пристально разглядывала фотографию в газете, которую отец теперь сжимал в руке.

– Это не я, – вырвалось у меня.

Я обращалась не столько к папе, сколько к лицу сестры, которая с затравленным взглядом плыла по воздуху над местом своих мучений на руках одного из немногих наших заступников.

– А мне казалось, ты, – сказал отец. – Выражение лица… твое.

Его по-прежнему трясло, но при этом он боялся шевельнуться; так мы и стояли под дверью приюта, охваченные радостью, до которой мало кто дожил.

– Не слышу тебя, папа, – прошептала я. – Оглохла на одно ухо.

Это было не совсем так. Мне просто хотелось, чтобы он повторил эти слова. Упрашивать его не пришлось. Он не скрывал своего счастья и не разжимал объятий.

– Мне казалось, это ты, – повторил он, еще теснее смыкая руки. Удары его сердца говорили о нашей утрате то, чего не мог рассказать голос. – Посмотри на выражение лица, – шептал он.

И сжал меня так, что едва не задушил. Ощущение было такое, словно ребра сомкнулись стенкой, но почему-то ни боли, ни удушья не наступило. Папа, врач от Бога, мог дышать за меня – пусть не так безупречно, как дышала за меня Перль, но все же, и я стала думать, что при нашей с ней встрече… даже не верится, что такое могло прийти мне в голову. «Передайте моей сестре, что я…» – так она сказала.

Перль спаслась. Во всяком случае, она сбежала из клетки, о которой рассказывал Мирко. В клетке ее вынесли из тех же ворот, в которые мы когда-то вошли вместе. Что с ней сталось после этого, я знать не могла, но предполагала, что она, стараясь воссоединиться со мной, двигает ногами быстрее, чем кто бы то ни было.

Мне следовало закричать от радости, пуститься в пляс, но воздать должное этому священному открытию было выше человеческих сил. Я взяла на руки ребенка, и мы с папой вернулись в зоопарк, где стали поддевать ногами голыши и смотреть, как они со своим каменным презрением летят навстречу дождю. По очереди держа новорожденного, мы беседовали как друзья, которые вместе смотрят в будущее. Папа рассказывал мне про концлагерь Дахау, куда давным-давно бросило его гестапо. В его истории были такие подробности, каких мама так и не узнала. Потому что больного ребенка, к которому вызвали отца среди ночи, не существовало в природе; существовало еврейское движение Сопротивления, и папа состоял в его тайных рядах. С маминого согласия он, рискуя жизнью, переправлял в гетто через городскую черту оружие, и в ту ночь риск оказался слишком велик; его выследили, избили, а потом… он не хотел об этом вспоминать, но могу себе представить, как его швырнули в кузов грузовика или в поезд и мчали все дальше и дальше от нас, пока не привезли в такое место, которое, подобно многим другим, бахвалилось, что там «труд освобождает».

Я рассказала, что сообщили нам в гестапо: дескать, он по своей воле бросился в Вислу.

– Никогда бы на такое не пошел! – воскликнул отец.

А затем, повесив голову, признался, что изо дня в день, пока не увидел в советской газете то прекрасное изображение, планировал свести счеты с жизнью – правда, с помощью веревочной петли, а не речных вод. Именно эта последняя оговорка – с помощью петли, а не воды – открыла мне глаза: со мной рядом сейчас находился не прежний наш отец, а совсем другой, сломленный человек, более не считавший, что дочку надо посвящать в ужасы этого мира с осторожностью, мало-помалу: ведь они сами бросались в глаза, как свежий шрам у него на лбу.

Папа расспрашивал, что происходило со мной, с нами обеими, с Перль. Отвечать было выше моих сил; я только призналась, что здоровье не позволит мне взять на себя заботу о найденыше, хотя он и рассчитывает войти в нашу семью. У меня нарушены и зрение, и слух. Поднять ребенка я не смогу – проку от меня мало.

Тогда отец развернул свою бесценную газету так, чтобы я смотрела прямо в лицо сестре. Она принадлежала нам обоим, хоть это и было всего лишь изображение.

– Мы найдем ее живой, – поклялся он. – Без тебя она бы не покинула этот мир.

К нам постепенно возвращался привычный способ общения, пусть и видоизмененный. Наша прогулка и то оказалась внове. Сколько мне помнилось, мы впервые шагали бок о бок. Я знала, что с моего согласия он посадил бы меня к себе на плечи, чтобы весь город видел: Януш Заморски по-прежнему не просто мужчина, но семейный человек, отец двух дочерей, которых обожает, невзирая на все их различия.

Но сажать меня к себе на плечи, как раньше, он не решился: надумай он передвигаться со мной по городу таким причудливым способом, кто мог бы поручиться за безопасность Малыша?

Вы, наверно, догадались, что папа сразу потянулся к этому младенцу, оценив с позиций опытного врача и ширину грудной клетки, и стабильную работу легких. Кто бы мог подумать, восхищенно приговаривал он, теребя Малыша, что это дитя военного времени.

Понятно, что этому ребенку не грозило остаться на коврике под дверью приюта, пока мой отец имел право голоса. Но я не хотела брать его на себя. Во всяком случае, не хотела, пока рядом не было Перль, потому что одно лишь ее возвращение могло доказать, что моя жизнь продолжается. Малыш, кажется, разглядел мои мысли, как умеют только новорожденные: он тут же приосанился и разинул ротик, деликатно показывая, что неплохо бы сейчас подкрепиться. Я нехотя признала, что ребенок – само очарование, но даже его милые повадки не смогли развеять моих сомнений. По дороге я решала, как нам быть дальше.

– Папа, он есть просит. – Я указала на раскрытый детский рот. – Надо его как-то покормить.

У нас с отцом всегда были в ходу шутливые сделки и пари. Если хочешь положиться на меня, сказала я, если хочешь, чтобы я пристроила ребенка, то сделай кое-что в обмен. Что же? – удивился он, ожидая начала игры. Но мне было не до шуток.

Пожалуйста, забери у меня облатку, попросила я, и закопай там, где я не смогу ее найти.

Мы вели список; мы вычеркивали названия. Названия приютов, лагерей беженцев, монастырей – в то время мысли обращались именно к таким местам. Незнакомый фермер вызвался повозить нас по соседним с Варшавой городам. За неделю мы обследовали Зомбки, Зеленку и Марки.

– Не встречалась ли вам девочка, – начинал отец, подталкивая меня вперед, – в точности похожая на эту?

– Девочек мы много видели, – говорили на это монахини, чиновники, монахи, постовые.

– У нее вот такой номер выколот, – бормотала я и вытягивала руку.

– Нам это ни о чем не говорит, – отвечали они, глядя в пространство, и нередко там зависали.

– Есть и другие особые приметы, – продолжала я. – Если у нее сохранились волосы, то она носит голубую заколку. Если у нее сохранились ноги, то коленки бугристые. Хоть раз такую повстречаешь – ни с кем не спутаешь. Пропустить невозможно… если, конечно, вы ее видели.

Они улыбались и советовали нам обратиться туда-то и туда-то. Наверняка ваша девочка отыщется, повторяли нам. А под конец добавляли: если жива.

– Конечно жива, – отвечали мы, указывая на фотографию. – Вы только посмотрите на это лицо!

После этих бесконечных посещений нам оставалось лишь вновь и вновь разглядывать газетное фото. Нашу Перль держала на руках доктор Мири; по обе стороны от них высились ограждения, словно это был какой-то сад, обнесенный проволокой. При внимательном взгляде чувствовалось, как напряжены руки доктора, какая морозная стоит погода. Как только мы возвращались в дом Феликса, газета поселялась в отцовском комоде, рядом с нашим оружием. Папа прибрал его к себе, отметив, что я слишком часто поглядываю в ту сторону. Нужно соблюдать определенные правила, сказал он мне, причем для моего же блага. И был прав. Если я смотрела на фотографию с утра, то потом не могла есть. Если вечером – не могла спать. Поэтому мои встречи с Перль происходили в дневное время. У меня мутнело в глазах, и нетрудно было представить, что она тоже смотрит на меня.

Вот для чего придуманы слезы, думала я.

В первый день марта я призналась отцу в своей дурацкой доверчивости по поводу бессмертия, которое посулил мне Менгеле. К этому признанию меня подвигла погода – на редкость ясный выдался день. В клетках и вольерах поднимали свои венчики крокусы. Вернулись птицы. Строения начали приходить в себя. Малыш, которому мы нашли кормилицу, округлился и окреп. Подавленная всей этой красотой, я невольно сникла и выложила свои тайны – в полной уверенности, что папе станет за меня стыдно. Но он заверил меня, что я просто старалась выжить. А затем позвал Феликса, чтобы рассказать нам один случай.

– Я остался в живых исключительно благодаря одному проклятию. Нет, даже не одному, а множеству, – начал отец. – Когда меня увезли из Лодзи, нас, арестантов, гнали по проселочным дорогам, через поля. Нам нередко встречались переодетые евреи. Я твердил себе: будь у них возможность, уж они бы нам помогли. И не важно, что эти люди вовсе не давали повода для таких мыслей. Я отводил глаза. Опасался, что под моим взглядом они себя выдадут и волей-неволей попадут в наши ряды. Настал день, когда я понял, что умираю с голоду; нас гнали через поле, принадлежавшее некоему священнику. Крестьяне копали картошку и грузили на телегу. На телеге восседал еврей. В отличие от других приспособившихся, этот человек не потрудился обстричь пейсы. При виде колонны арестантов он перекрестился, будто ужасаясь от нашего приближения. У него получилось неумело; я даже удивился, как он до сих пор себя не выдал. Но следующий его шаг показал, что находчивости ему не занимать: сунув руку себе под зад, он пошарил по дну телеги, вытащил картофелину и с проклятиями запустил в мою сторону! Потом еще и еще. С каждым проклятием он бросал мне картошку. Так продолжалось, пока мы не вышли на дорогу, и нам стало ясно: эти проклятия сохранят нам жизнь.

Меня так и тянуло спросить, правильно ли отец истолковал тот случай, но я не хотела выдавать своих сомнений и покосилась на Феликса. Он и задал мой вопрос. Папа не одобрял подобных уловок, но тем не менее ответил.

– По его лицу все было видно, – сказал он. – Такие проклятия – это благословения-перевертыши. Он хотел, чтобы мы поймали картофелины и выжили.

Он потеребил кончик носа, как всегда делал в минуты задумчивости, а потом опустил голову на руки, и прямо передо мной оказался свежий шрам, прорезавший его лицо и голову.

– Знаю я эти проклятия Менгеле… в них не было ни тени благих намерений. Но хочу сказать, что ты поступила правильно, когда уверовала в его проклятия… невзирая на их лживость и ханжество… и перевернула по-своему, чтобы остаться в живых. Понятно?

Да, я поняла. И солгала отцу, сказав, что рассказ о картофельных проклятиях послужит мне утешением. Как и ему самому – но это до меня дошло через много лет, когда папа вытянулся на смертном одре; болезнь заволокла пеленой его взгляд, и на глазах у нас с Феликсом отец воздел руки, словно пытаясь что-то поймать. Пальцы его зашевелились с удивительным проворством, несвойственным умирающему, а незрячие глаза стреляли по сторонам, дабы не упустить священный полет картофелины.

Папа всеми силами старался поднять наш дух, но вскоре мы поняли, что он и сам сломлен. В Лодзь он отправился без нас, не представляя, что там найдет. А когда приехал обратно, несколько дней только качал головой. В Варшаве мы познакомились с другими беженцами: все они возвращались из лагерей, которых вообще не должно было существовать в этом мире.

– Вы, случайно, не встречались с Перль? – спрашивал их отец, подталкивая меня вперед.

Нет, отвечали ему.

Увлеченный планами восстановления Варшавы, отец пообещал задержаться, чтобы помочь Феликсу привести в порядок дом. Но умелые отцовские руки оказались не приспособлены к выравниванию стен и ремонту комнат. Для них привычнее были пальпация, обработка ран, применение лекарственных препаратов. А Феликс был на «ты» с топориком, ножом, пистолетом, легко засыпал, подложив под голову вместо подушки камень, и мог походя, не хуже меня, сочинить любую небылицу, но, увы, реставрация домов не входила в число его умений. И все же оба решили восстанавливать дом – по примеру города.

У меня на глазах эти двое, весело перекликаясь, шаркали по комнатам с киянками и сносили остатки стен. Я устраивалась где-нибудь с Малышом, а они прилаживали каменные плиты, возились с дверными ручками, и мне порой казалось, что стройку они затеяли для того, чтобы хоть немного отвлечься от мыслей о местонахождении Перль. Они брались за молотки и гвозди, но вскоре начинали вздрагивать от каждого стука и прекращали работу. Звуки ремонта зачастую напоминают войну, напоминают плен: грохот, падение кирпичей, горы обломков.

Что до меня, то я не прохлаждалась без дела, а занималась с Малышом по системе Отца Близнецов, по системе зайде, по учебнику анатомии. Я решила по меньшей мере обеспечить ему определенные преимущества, развить в нем живой ум, чтобы он, если вдруг станет когда-нибудь подопытным, оказался не хуже многих. Нужно было как можно раньше научиться словам, пока слова не обесценились. Каждому слову, целиком, отвести свое место. Я целыми днями заучивала наизусть какие-нибудь тексты, чтобы в случае повторной отправки в лагерь можно было использовать слова и для отвлечения, и для поддержания сил. «Не было моря, земли и над всем распростертого неба, – твердила я в память Мирко, – Лик был природы един на всей широте мирозданья, – Хаосом звали его»[3].

А Малышу в качестве первого слова я нашептывала: Перль, Перль, Перль… Как будто считала, что вернуть ее поможет лишь самое невинное заклинание. Выкликнут детские уста ее имя – и она уже будет перед нами танцевать. На голове – корона из вереска. На ногах – настоящие туфельки.

Спору нет, Варшава расцветала. Малыш плакал так, что впору было поливать липы. Да и я не отставала, хотя при подступлении слез убегала к осиному гнезду, чтобы отговариваться укусами осиного роя, если кто-нибудь случайно заметит мое опухшее, болезненное лицо. Впрочем, окружающие видели мою боль довольно часто. В основном те, которые приходили в зоопарк. В его строениях со множеством укромных уголков и гротов обосновалось в свое время еврейское подполье. Теперь сюда зачастили беженцы, искавшие сыновей и дочерей, которые прятались в этих барсучьих норах, пока не находилась возможность переправки в другое место. На розыски пускались главным образом матери. Проходя мимо нас, они останавливались, просто чтобы взять на руки ребенка, и, заглядывая в его карие глаза, давали мне советы. Наказывали пеленать потуже и купать почаще, чтобы он не смахивал на дикого зверька.

Всякий раз, когда я купала Малыша в отведенном для этого ведре, жизнь мальчугана обретала для меня реальность. Он был так беззащитен, этакий смуглый тонкошеий утенок. Во время его купания меня мучил вопрос: когда он вырастет и начнет расспрашивать о матери, что я ему скажу – как она сама заставила меня ее убить? Как направляла мою руку с ножом? Я пыталась придумать более изящную, картинную смерть. К примеру, на снегу. К примеру, без режущих предметов. Но в Варшаве воображение мне изменило. Не знаю, кто взял его себе; оставалось только надеяться, что оно не будет досаждать кому-нибудь другому так, как досаждало мне. Я и сама мечтала о придуманной смерти. После войны для меня в этом мире не осталось места. Давным-давно, говорила я себе, мне было достаточно жить во имя родной души. Без нее я оставалась всего лишь подопытным кроликом сумасшедшего, неудачливой мстительницей, девчонкой, уцелевшей вопреки здравому смыслу.

Папа видел мою скорбь. Говорил, что надежда не потеряна. Говорил, что страна дала трещины, где можно затаиться, и Перль, вполне возможно, отсиделась в самых незаметных уголках. Повторял это ежедневно, когда мы наведывались в приют проверить, не доставлена ли туда моя сестра. Но у окна не стояла похожая на меня девочка; у ворот никто не напевал, как я.

– Если она не найдется… – начала я как-то раз по дороге домой.

Но закончить фразу не успела. У меня в мыслях возникла неожиданная поправка, когда рядом со мной появился бродячий пес, который тут же улегся под ноги моему отцу. Это была дворняга, заскорузлый, страшный кабыздох. По лапам было видно, что пес прошел долгий путь – вероятно, кого-то искал. Вот и в нас он учуял такие же стремления.

Отец решил, что собака меня приободрит. И не ошибся. Дворовый пес отличался верностью, его лай звучал как пистолетные выстрелы. Стоило кому-нибудь заговорить со мной на повышенных тонах, как он начинал грозно рычать. Такая собака, поделилась я с Феликсом, подошла бы для Менгеле. Феликс не стал спорить.

– Хорошо, что он будет знать только один зверинец, – ответил Феликс. – Но не другой.

Мы вместе наблюдали, как пес роет подземные ходы через звериные клетки. Это было его любимое занятие; оставалось только надеяться, что он не выкопает ядовитую облатку, зарытую во дворе моим отцом. Я точно знала, что сама, найдя в соответствующем настроении этот белый кругляш, не смогла бы удержаться от искушения вечностью.

Феликс замечал, что меня не покидает это искушение. Он тоже твердил, что Перль вернется. Вполне возможно, говорил он, что она просто ждет, когда в зоопарк привезут зверей. Говорил, что жена директора зоопарка планирует посетить территорию и что, по слухам, до возрождения зоопарка уже недалеко. Скоро в каждый домик войдет всякой твари по паре. Я в нетерпении бродила среди клеток и старалась не вспоминать о других знакомых мне клетках.

Но в тот день, о котором я хочу рассказать, в Варшаву доставили не диковинное животное, а гроб. Я не видела, как его выгружали на тротуар. Не слышала рыданий поднявшей крышку директрисы приюта.

Я гуляла в полях с ребенком и с моим приблудным псом, которого пыталась воспитывать. Он любил попрошайничать, вставая на задние лапы, и у меня никак не получалось отучить его от этой привычки. В те легкоуязвимые дни ходить на задних лапах не годилось. Поэтому я взялась учить его танцевать. Когда у пса это получалось, мне слышался дедушкин смех. Вот уж не думала не гадала, что когда-нибудь услышу, как смеется зайде, но сейчас слышала это, словно наяву: и фырканье, и шлепанье по колену. Ничего призрачного, ничего памятного в этих звуках не было, но слышались они яснее ясного. Одного этого хватало, чтобы продолжать дрессуру. При виде этого собачьего вальса у меня вновь пробуждались мечты.

В тот день мы как раз и упражнялись в полях, пока Малыш, равнодушный к цирковому искусству, резвился на травке. У нас, можно сказать, даже музыка была. Где-то вдалеке мостили улицу, и камни пели на разные голоса. Их звон разносился над городом и поднимался по веткам яблони-кислицы. Тут и там мощно перекликались скворцы, трепеща от напряжения, как дождевые капли на оконной раме.

Под эту музыку камня, птиц и дедова смеха пес и постигал азы хореографии.

Я настаивала, чтобы он побольше занимался. Настанет день, внушала я ему, когда кто-нибудь заметит твои таланты и пригласит сниматься в кино. И тогда нас ждет блестящее будущее, ты согласен? Мой пес не соглашался. Он терпеть не мог заниматься, прямо как Перль, и не проявлял ни малейшей склонности к искусству. Но ради меня готов был даже танцевать, и я аплодировала ему после каждого удачного поворота или вращения.

Впрочем, перестав хлопать, я все равно слышала аплодисменты. Кто-то бил в ладоши у меня за спиной. Я покраснела. Было бы чем гордиться: собачьи танцы. Это занятие для одиночек, печальная круговерть.

Однако, посмотрев через плечо, я увидела себя. Точнее, девочку, сильную и нынче уже не одинокую. Девочка выглядела куда счастливее, чем я могла бы вообразить. Она с улыбкой хлопала в ладошки, пес в танце двинулся к ней и заюлил у ее ног, забыв о выступлении. Девочка хлопала. Невзирая на то, что опиралась на костыли.

Вам когда-нибудь приходилось видеть лучшую часть себя вблизи? С такого небольшого расстояния, о каком вы и мечтать не могли после разлуки? Если да, то вы наверняка понимаете, какая это радость. Сердце мое рвалось из груди, язык онемел от счастья. Селезенка сообщала легким, что те проиграли спор: я же вам говорила, ликовала селезенка, а мысли, мои розовые мысли устремлялись в будущее, которое я считала потерянным.

Она опустила костыли, и мы сели спиной к спине, позвоночником к позвоночнику, как в игре из раннего детства.

Признаюсь: я подглядывала, что она рисует.

Подглядывала не для того, чтобы жульничать, а просто потому, что это моя сестра. Я должна была ее видеть. Уверена: вы поймете.

Перль

Глава двадцать вторая. И нет конца

Нарисовали мы несколько маков. Изобразили их в виде тугих бутонов, которые, возможно, никогда не расцветут, нарисовали в честь мамы и зайде, а потом добавили речку, в честь папы. Нарисовали поезд, пианино, лошадь. Нарисовали детей, которые родятся у Стаси, а еще детей, которые никогда не родятся у меня. Нарисовали пароходы, увозящие нас из Польши, и самолеты, доставляющие нас обратно. Шприц рисовать не стали, костыль тоже, а субъекта, который искалечил наши судьбы, – тем более. Зато нарисовали небеса – они будут хранить нас до конца дней, и деревья – под ними будут сидеть две девочки, которым, скорее всего, не суждено жить без надлома, и лишь когда рисунок был закончен, моя сестра заговорила.

– Давай попробуем еще раз, – сказала Стася.

Мне не пришлось подхватывать ее фразу. Я знала, что она имеет в виду: нам предстояло заново учиться любви к этому миру.

Благодарности

Хочу поблагодарить:

Джима Ратмена – за его щедрый вклад в мою писательскую деятельность и годы вдохновения, озарившие путь к этой книге.

Ли Будро, несравненного, героического редактора, – я по-прежнему благоговею перед ее искренней поддержкой любых мечтаний, печалей и душевных порывов, которые нашли отражение в этой книге.

Всех потрясающих сотрудников издательства Little, Brown and Company, литературного агентства Sterling Lord Literistic, а также моих зарубежных издателей.

Фонд Дэвида Берга – за любезную поддержку, а также моих учителей и коллег в Колумбийском университете.

Пранава Бехари, Адама Каплана, Стивена О’Коннора, Лидию Миллет, Джойс Полански, Карен Расселл, Джорджа Санчеса, Руди Браун: прочувствовать ваше влияние и дружбу – это чудо.

Семейства Конар, Круз, Ким и Со. Бабушку и дедушку. Джонатана и Коко. (За то, что взяли на себя смешное и будущее.)

Моих родителей, чей оптимизм и внимание к красоте позволили мне сохранить себя. (Особое спасибо папе за поле маков, подаренное мне, когда я в нем больше всего нуждалась.)

Филипа Кима – за дарование, животных и анекдоты. Не понимаю, как кто-то пишет без тебя.

А дальше у меня просто не хватает слов. Но я должна попробовать отблагодарить Еву и Мириам Мозес за их вдохновляющую сестринскую любовь и искренность девичьего духа. И я должна попробовать еще раз отблагодарить Цви Шпигеля, Гизеллу Перль, Алекса Дикеля и бесчисленное множество безымянных свидетелей, чьи истории подтолкнули к написанию этих страниц. Эта книга живет только на фоне ваших воспоминаний.

От автора

На создание этой книги меня вдохновило необыкновенное произведение Лусетт Маталон Ланьядо и Шейлы кон Дикель «Дети пламени». Я очень многим обязана также следующим публикациям:Nomberg-Przytyk’s Auschwitz: True Tales from a Grotesque Land;Borowski’s This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen[4];Mozes Kor and Mary Wright’s Echoes from Auschwitz: Dr. Mengele’s Twins;Lustig’s Children of the Holocaust;Wiesel’s Night[5];Ackerman’s The Zookeeper’s Wife;Eisen’s Children and Play in the Holocaust: Games Among the Shadows;Cohen’s The Avengers;Lowenthal Felstiner’s To Paint Her Life: Charlotte Salomon in the Nazi Era;. Gisella Perl’s I Was a Doctor in Auschwitz;Jay Lifton’s The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide;Levi’s The Truce, If This Is a Man, The Periodic Table, and The Drowned and the Saved[6];the works of Paul Celan[7].

Сноски

Публий Овидий Назон. Метаморфозы. Перевод С. В. Шервинского.

Песня Варшавского гетто. Музыка Д. Покрасса, слова Г. Глика.

Публий Овидий Назон. Метаморфозы. Перевод С. В. Шервинского.

При переводе на английский сборника Тадеуша Боровского на обложку было вынесено название рассказа «Добро пожаловать в газовую камеру». Аналогичный русский сборник, выпушенный в 1989 г., остался под авторским названием «Прощание с Марией».

Эли Визель. Ночь.

Примо Леви. «Передышка», «Человек ли это?», «Периодическая система», «Канувшие и спасенные».

Стихотворения и проза Пауля Целана.